

Ирма КУДРОВА

ВЕРСТЫ,  
ДАЛИ...

Марина  
Цветаева:  
1922-1939



Ирма КУДРОВА

*ВЕРСТЫ,  
ДАЛИ...*

*Марина Цветаева:  
1922-1939*



Москва  
«Советская Россия»  
1991

8P2  
K88

Художник А. Е. Цветков

**Кудрова И. В.**  
K88 Версты, дали...: Марина Цветаева: 1922—  
1939.— М.: Сов. Россия, 1991.— 368 с.: ил.

Путь к своему читателю Марины Ивановны Цветаевой — одного из самых ярких поэтов XX века — был долг и труден. 17 лет провела она в эмиграции, но так и не стала эмигранткой по духу, не прижилась на чужбине. Романтическая и трагическая муза Цветаевой не проста для восприятия, ей нужен читатель талантливый и неравнодушный, а такой читатель, как признавалась сама Марина Ивановна, есть только в России. Предлагаемая книга — одна из первых, где рассказывается о творчестве и судьбе замечательного поэта.

K 4603020101—029 69—90  
M-105(03)91  
ISBN 5—268—00946—X

8P2

© Издательство «Советская Россия», 1991 г.

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ АВТОРА ЭТОЙ КНИГИ

Современный советский читатель открыл для себя Цветаеву в 60-е годы. Сорок лет отделило выход в свет сборника «Версты» (последнего изданного в России при жизни поэта) от «Избранного», появившегося на наших книжных прилавках в 1961 году. Этот маленький томик в твердой серой обложке еще можно было легко купить — в отличие от последующих изданий, исчезавших из продажи в самый день их появления.

Достоевский ввел в обиход странную, на первый взгляд, формулу: полюбить жизнь прежде ее смысла. Мне кажется, нечто подобное произошло в нашем отношении к стихам Цветаевой. Чем завоевала нас эта поэзия? Что именно покорило уже в самых первых стихотворных подборках, появившихся в альманахах «Литературная Москва» и «Тарусские страницы»? И даже еще раньше — в рукописных списках конца пятидесятых годов? Ответ не слишком-то прост. Еще и сейчас он

требует размышлений. хотя с тех пор опубликовано немало статей, посвященных Цветаевой, в театрах идут спектакли, поставленные по ее пьесам, на литературных вечерах звучат ее стихи и проза.

Задолго до осознания того, что же именно привнесла Марина Цветаева в нашу духовную жизнь, мы подпали под ее обаяние, а говоря ее словами, под ее *чару*. Может быть, просто ощутили масштаб и яркую необычность личности, вдруг вступившей с нами в общение...

Конечно, не случайно прорыв в замалчивании творчества этого поэта произошел в годы нашей общественной оттепели. Почему не раньше? Только ли потому, что Цветаева — «из эмигрантов»? В самом деле, то было клеймо, и опасное — в те и в еще долгие годы позже. Но к нему присоединился и другой «минус», именовавшийся... «формализмом». Именно так многие годы подряд называли стилистику обновленного русского стиха, прощаемую, кажется, одному Маяковскому. Третья вина Цветаевой была в ее трагическом конце. Самоубийство в Елабуге, через два года после возвращения на Родину, бросало тень на престиж самого счастливого в мире общественного устройства.

Нынешнее молодое поколение может, пожалуй, скептически отнестись к этим пояснениям, настолько очевидна теперь их нелепость. И пусть так отнесется — ведь это будет означать, что времена иезуитской «охранительной логики», на невежестве возросшей и на невежество рассчитанной, стремительно уходят в прошлое.

И все же, справедливости ради, надо оговориться: «классовое чутье» не обманывало блюстителей

нашей идеологической чистоты. С поэзией и прозой Цветаевой в наше сознание влилась мощная струя такой освобождающей дух независимости, такой убежденности в праве человека на внутреннюю свободу, на выбор своего пути, без оглядки на какие бы то ни было авторитеты, что оборонительные редуты цензоров разного ранга вовсе не выглядят бессмысленными. Было чего опасаться. Цветаевские стихи и цветаевская проза зазвучали явственным противовесом фальшивым идеологическим ценностям, которые загоняли нас всех в отмеренное пространство разрешенного и поощряемого.

Я думаю, что читательский отклик на Цветаеву, быстро переросший в то, что можно назвать даже модой, был еще и откликом российской души на *своего* поэта, близкого ей всем своим складом — страстным, безоглядным, безмерным, поэта, которому всегда была тесна мечта о сиюминутном благополучии, а «тяга небесная», словами самой Цветаевой, неизменно сильнее «тяги земной».

«Мой настоящий читатель — в России», — утверждала она, живя во Франции. И упрямо повторяла: «Печатайся я в России — каждый нашел бы свое». И вот мы перед фактом, где бы ни искать ему объяснений: изданий Цветаевой в течение последних тридцати лет не найти на прилавках, несмотря на то что не только московские, но и периферийные издательства уже несколько лет печатают ее произведения многотысячными тиражами.

Строго говоря, время для написания полной биографии Цветаевой еще не пришло. Продолжают обнаруживаться новые ее письма, объявятся, быть может, новые мемуаристы, откроется в двухтысячном году ее архив, хранящийся в ЦГАЛИ... Но припел горячий интерес к личности и судьбе поэта, чей голос так долго не доходил до наших ушей, поэта, трагически ушедшего из жизни чуть не полвека назад.

Не задаваясь целью исчерпать этот интерес, книга знакомит читателя с Мариной Цветаевой времени расцвета ее таланта, времени создания ее вершинных произведений как в поэзии, так и в прозе. Таким временем стали годы, проведенные Цветаевой на чужбине.

Ей было двадцать девять, когда она уехала из России. Сорок семь исполнилось через три месяца после возвращения на Родину. Эмиграция оказалась тяжким для нее временем, а под конец и трагическим. Неуют чужака, «метека», инородца среди аборигенов, изоляция от российского читателя, трудности быта — год от году это требовало все больше сил противостояния, преодоления. И все-таки, все-таки... Трудно отделаться от невольно возникающего вопроса: не оказались ли, несмотря ни на что, эти годы выигранными у судьбы? Пусть в нищете и непризнании, но сколько создала она за эти семнадцать лет! Не оттянула ли чужбина трагедию, разразившуюся в ее семье в 1939 году, едва она пересекла границу родной земли? Слишком многие судьбы оставшихся в России литераторов (и не только литераторов, конечно!) заставляют нас теперь задавать этот вопрос. «Писателю там лучше, где ему не мешают

писать (дышать)», — утверждала Цветаева в 1925 году. И через десять лет, уже в 1935-м: «Родина в иные часы на столько же опаснее чужбины, на сколько опаснее возможного несчастного случая — верная смерть...»

Ограничив биографическое повествование временем жизни поэта на чужбине, автор не дает последовательного изложения всех семнадцати лет, год за годом.

Семь глав книги — семь локальных временных отрезков, рубежных в судьбе Цветаевой 20 — 30-х годов. Желание увидеть жизнь поэта не извне — хроникой событий, а изнутри — через лейтмотивы личностных проблем и жизненных коллизий — вот авторские стимулы, определившие построение книги. В ней нет ссылок на источники: книга писалась не для специалистов-филологов. И читателю придется поверить автору на слово, что ни одна подробность, которая здесь встретится — портрета или пейзажа, диалога или обстоятельств, — не придумана, любая имеет документальное обеспечение. (Как, впрочем, склонны иные специалисты переоценивать порой это «обеспечение»! Можно подумать, что наши признания, даже если мы делаем их в письмах нашим лучшим друзьям, всегда соответствуют истине! Сколько пришлось бы сделать оговорок! Но это так, к слову.)

Борису Пастернаку Цветаева посвятила много прекрасных стихов. Напомню читателю одно из них. Спустя годы оно обрело особенное звучание, явно выходя за рамки личного поэтического послания. Версты, дали, мили разделили в послерево-



люционные годы не только двух прекрасных поэтов. Крутые исторические события 1917 года расслоили и развели по разным концам земли множество замечательных людей России, разлучили надолго, а то и навсегда, с родиной. Прочтем это стихотворение — как бы эпиграфом к книге.

Рас-стояние: версты, мили...  
Нас рас-ставили, рас-садили,  
Чтобы тихо себя вели,  
По двум разным концам земли.

Рас-стояние: версты, дали...  
Нас расклеили, распаяли,  
В две руки развели, распяв,  
И не знали, что это — сплав

Вдохновений и сухожилий...  
Не рассорили — рассорили,  
Расслоили...

Стена да ров.  
Расселили нас, как орлов-

Заговорщиков: версты, дали...  
Не расстроили — растеряли.  
По трущобам земных широт  
Рассовали нас, как сирот.

Который уж — ну который — март?!  
Разбили нас — как колоду карт!

*24 марта 1925 года*

## *Глава первая*

**БЕРЛИН,**

*лето*

**1922**

### 1

День 11 мая 1922 года в Москве был серым и неуютным. В пелене облаков, плотно накрывших город, не проступало ни пятнышка весенней синевы. В половине шестого вечера от перрона Виндавского вокзала отошел поезд, увозивший среди других своих пассажиров худенькую молодую женщину с усталым лицом и ранней проседью в коротко стриженных волосах. Рядом с ней, прощаясь с пасмурным городом, стояла у окна большеглазая девочка, ее дочка, странно называвшая мать по имени: Марина.

Поезд шел до Риги, и Рига была уже «заграницей». Тут мать и дочь сделали остановку. Молодой предупредительный попутчик, оказавшийся сотрудником Наркоминдела, помог им отнести вещи в камеру хранения, а потом предложил свои услуги добровольного гида по городу. Услуги были приняты. Но вечером мать и дочь уже сели в другой поезд, на этот раз берлинский. Проснувшись наут-

ро, девочка не отходила от окна, дивясь непривычным пейзажам, ровно разграфленным полям и огородам, черепичным крышам домов, опрятным нарядам крестьян. Города выглядели тоже странно. «Аккуратность! аккуратность — вот чем потрясали воображение города Германии после такой привычной глазу и сердцу великой неприбранности тогдашней Москвы, со всеми ее территориальными привольями и урбанистическими своевольями, со всей невыразимой гармоничностью ее архитектурных несообразностей...»

Так полвека спустя вспоминала свои впечатления тех дней дочь Марины Цветаевой Ариадна Эфрон. Но сохранились и драгоценные свидетельства ее тогдашнего дневника. Девятилетняя Аля описала, в частности, как поезд их прибыл в Берлин в яркий солнечный день 15 мая, во второй половине дня; неторопливо проехал по трем вокзалам, остановился на четвертом. «Наконец сходим на Шарлоттенбурге. Берем носильщика зеленого цвета, он тащит наши вещи вниз по лестнице, и вот мы в Берлине. Черепичные крыши, свет, цветы, скверы. Вот и наш извозчик. Садимся, кладем вещи, прощаемся с нашим спутником. Мама что-то говорит извозчику, и тот едет. Я рассматриваю город. Дома высокие и очень широкие. Много лавок, газетных киосков, продавщицы цветов в шляпках, дамы, кафе, модные магазины. Народу много. Вот и Прагер-плац. <...> Вынимаем вещи, как вдруг из подъезда выходит сам Эренбург. «А-а, Марина Ивановна!» — «Здравствуйте, Илья Григорьевич, вот и мы».

Так началась чужбина.

Можно ли было предположить в этот залитый

солнцем майский день, что жизнь вдали от Родины растянется на долгих семнадцать лет?.. Утром следующего дня в Прагу ушла телеграмма, извещавшая об их прибытии мужа Цветаевой Сергея Яковлевича Эфрона.

Ко времени приезда Цветаевой Берлин уже получил репутацию негласной столицы русской эмиграции. Мощная волна революции и гражданской войны занесла сюда несхожими путями множество россиян, принадлежавших к са-



М. И. Цветаева

мым разным слоям общества. По подсчетам историков, в начале 20-х годов их оказалось здесь почти сто тысяч. В западных берлинских кварталах возник некий «город в городе»: от Прагерплаца до Ноллендорфплаца звучала русская речь. Стремительно нараставшая инфляция поощряла тех, кто сумел вывезти из России свои сбережения, вкладывать их в разные предприятия, не слишком оглядываясь. Один из цветаевских корреспондентов, вспоминая спустя много лет это время, называл его временем расцвета коммерческого донкихотст-

ва. Чуть ли не каждый день в «русской» части города открывались новые рестораны, кафе, кондитерские, мастерские. Возникло множество издательств, несколько журналов, выходили три ежедневные русские газеты, пять еженедельников. По инициативе неутомимого, несмотря на преклонные годы, поэта Н. М. Минского (некогда организовавшего в Петербурге «Религиозно-философские собрания») оживленно функционировал «Дом искусств». Его еженедельные собрания проходили по пятницам в большом кафе на Ноллендорфплац. В год приезда Цветаевой на литературных вечерах русской колонии выступали Андрей Белый и Алексей Толстой, Ремизов и Пильняк, Есенин и Северянин, Саша Черный, Ходасевич, Эренбург, Шкловский, Лидин, Чириков; позже, когда Цветаева уже уехала в Чехию, — Пастернак и Маяковский.

Летом 1922 года в среде русских литераторов, художников, издателей, оказавшихся здесь, жива была еще иллюзия единства соотечественников. Решительного размежевания на собственно эмигрантов и приехавших на время «туристов» не произошло. Вплоть до осени этого года упорно отстаивал свою беспартийную платформу «Дом искусств». Максим Горький (он тоже в Берлине) привлек к сотрудничеству в издаваемом им журнале «Беседа» Владислава Ходасевича, появившегося в Берлине в конце июня. Издательство Ладыжникова выпускало горьковские произведения — и сборник речей эсера Виктора Чернова, бывшего члена Временного правительства; на обложках книг издательства Гржебина стояло: «Москва — Петербург — Берлин». Книги, вышедшие в Берли-

не, свободно продаются в начале 20-х годов в магазинах Советской Республики. Авторы, живущих в Москве и Петрограде, вербует на свои страницы литературное приложение к газете «Накануне». За неделю до приезда Цветаевой в Берлин здесь была помещена, к примеру, рецензия Павла Антокольского на цветаевский сборник «Разлука».



И. Г. Эренбург

Обострение отношений внутри «русского Берлина» еще только-только созревает. Оно обнаружится открыто месяца через три после отъезда Цветаевой в Прагу. А пока русские живут здесь со странным призрачным ощущением: множество знакомых лиц оказались вдруг перенесенными в чужие интерьеры...

Одну из двух своих комнат в пансионе на Прагерплац Эренбурги отдала Цветаевой. И тем самым она оказалась в эпицентре «русского Берлина». Ибо по вечерам «Прагердиле» — кафе, разместившееся на той же маленькой площади, что и пансион, — как магнитом стягивало соотечественников. За кружкой пива или чашечкой кофейной бурды, высокопарно именуемой «мокко», обсуждались последние новости, книги, издательские

планы и просто сплетни. Настороженно слушали тех, кто только что приехал из России. Мемуаристы утверждают, что летом 1922 года политические темы возникали здесь довольно редко, — в это с трудом верится. В воспоминаниях Ариадны Эфрон «Прагердиле» охарактеризован как «скромный провозвестник всех будущих Монпарнасов эмиграции, где за столиками «решались судьбы» мирового и отечественного искусства, а также самого отечества и всего мира; заключались издательские договора; завязывались и развязывались деловые и личные отношения, вспыхивали ссоры и наступали перемирия...».

У Эренбурга здесь был свой облюбованный стол — «штамштиш». Он приходил сюда с утра и садился за пишущую машинку. Сутулящийся, со спутанными длинными волосами и трубкой в зубах, он в это лето пожинал лавры успеха первого своего романа «Хулио Хуренито», только что вышедшего. Не всем одинаково нравился роман, не всем нравился сам Эренбург, но молодежь, собиравшаяся вечерами вокруг его стола, смотрела на тридцатилетнего метра с почтением: ведь он был еще и автором двух книг о поэзии революционной Москвы и рецензентом, постоянно выступавшим на страницах русско-берлинской периодики. А вскоре на книжных прилавках появился и новый поэтический его сборник «Звериное тепло».

На следующий день после приезда Цветаевой за стол Эренбурга садится молодой человек. Он на три года моложе Ильи Григорьевича, его имя Абрам Григорьевич Вишняк. Но все зовут его именем издательства, которое уже несколько лет, несмотря на молодость, он возглавляет — «Гели-

кон». «Геликон» красив, предупредителен, у него репутация страстного поклонника поэзии. Эренбурги в большой дружбе с ним и его женой.

И в тот же день, в том же кафе вечером — другая встреча. Ее Цветаева описывает через двадцать два года: «Берлин, Pragerdiele на Pragerplatz. Столик Эренбурга, обрастающий знакомыми и незнакомыми. Оживление издателей, окрыленные писателей. Обмен гонорарами и рукописями. (Страх, что и то и другое скоро падет в цене.) Сижу частью круга, окружающего.

И вдруг через все — через всех — протянутые руки — кудри — сияние:

— Вы? Вы? (Он так и не знал, как меня зовут.) Здесь? Как я счастлив!.. » Протянутые руки, кудри, сияние принадлежат Андрею Белому. Он бурно радуется встрече с Цветаевой, хотя тесной дружеской близости между ними прежде не было.

Две эти встречи во многом определили самочувствие Цветаевой в берлинские дни. Обе оставили свой след в ее творчестве: первая — в стихах этого лета и в эпистолярной прозе «Флорентийские ночи»; вторая — в блестящем эссе «Пленный дух». Первая непоправимо омрачила долгожданную встречу с мужем, вторая осталась самым светлым воспоминанием о днях, проведенных в Берлине.

В тот вечер, 16 мая, засидевшись в кафе допоздна, Белый заночевал у Вишняка и перед сном получил в руки тоненькую книжечку, изданную три месяца назад. На обложке ее стояло: «Марина Цветаева. Разлука». Нехотя Белый раскры-



вает маленький изящный сборничек — и с первых же строк оказывается под чарами удивительных стихов.

Все круче, все круче  
Заламывать руки!  
Меж нами не версты  
Земные — разлуки  
Небесные реки, лазурные земли,  
Где друг мой навеки уже —  
Неотъемлем.

Наутро, так же внезапно исчезнув, как и появился, Белый оставит для передачи автору конверт с запиской. «Позвольте мне высказать глубокое восхищение перед совершенно крылатой мелодией Вашей книги...» — прочла Цветаева в первых ее строках. А еще через пять дней еженедельник «Голос России» поместит на своих страницах обстоятельный отклик на «Разлуку» того же Андрея Белого. Рецензия была озаглавлена «Поэтесса-певица».

«Берлинский период» Цветаевой продлился всего два с половиной месяца и оказался плотно насыщен разноликими впечатлениями. Уже на четвертый день по приезде Цветаева выступила в литературном кафе с чтением стихов — своих и Маяковского. А через две с лишним недели темпераментно включилась в спор, вспыхнувший вокруг письма Корнея Чуковского, опубликованного Алексеем Толстым в литературном приложении к газете «Накануне». Цветаева сочла поступок Толстого более чем легкомысленным. Ибо Чуковский со всей безоглядностью частного письма, вовсе не рассчитанного на публикацию, не просто упоминал множество имен петроградских литераторов,

но и характеризовал их политические настроения. И первой реакцией Цветаевой была мысль о тех, кому там, на родине, после этой публикации могли грозить весьма реальные неприятности. Седьмого июня на страницах «Голоса России» появилось ее резкое «Открытое письмо А. Н. Толстому». Упрекая писателя в безответственности предпринятого шага, Цветаева формулировала тезис, которому сама никогда не изменяла. «Есть над литературными дружбами, частными письмами, литературными тщеславиями,— писала она,— круговая порука ремесла, круговая порука человечности».

На пяточке «Прагердиле» все сближались быстро, и Цветаеву, не слишком легко сходившуюся с людьми, втянуло в водоворот новых знакомств. Одним из самых прочных оказалось знакомство с молодым критиком Марком Львовичем Слонимом. К этому времени он успел уже дважды с похвалой отзываться о цветаевской поэзии на страницах эмигрантской периодики. Познакомил их в одном из кафе на Курфюрстендамме Саша Черный, и с первой же беседы они расположились друг к другу. Слоним почти год уже жил в Праге; Цветаева забросала его вопросами о городе, куда ей предстояло теперь ехать.

«Она говорила не громко, но отчетливо,— пишет Слоним в своих воспоминаниях,— опустил глаза и не глядя на собеседника. Порою она вскидывала голову, и при этом разлетались ее легкие золотистые волосы, остриженные в скобку, с челкой на лбу. При каждом движении звенели серебряные запястья ее сильных рук, несколько толстые пальцы в кольцах, тоже серебряных, сжимали длинный деревянный мундштук: она непрерывно

курила. Крупная голова на высокой шее, широкие плечи, какая-то подобранность тонкого стройного тела и вся ее повадка производили впечатление силы и легкости, стремительности и сдержанности. Рукопожатие ее было крепкое, мужское.

В кафе мы просидели долго. М. И. рассказывала о своей голодной жизни 1918—1920 годов на московском чердаке с двумя дочерьми. <...> Я был в то время литературным редактором пражской «Воли России»: сперва ежедневная газета, она стала затем еженедельником, и мы собирались в ближайшем будущем превратить ее в ежемесячный журнал. Я предложил Цветаевой дать нам стихи и по приезде в Прагу зайти в редакцию в центре города, на Угольном рынке. Ей очень понравилось чешское звучание — Ухельни Трх, — и впоследствии она часто спрашивала меня с лукавым смешком: «Ну, как у вас там — угольный торг или политическое торжище?» Услыхав, что редакция находится в пассаже XVIII века с ходами, сводами и переходами и занимает помещение, где в 1787 году Моцарт, по преданию, писал своего «Дон Жуана», в комнате с балконом на внутренний двор, М. И. совершенно серьезно сказала: «Тогда я обещаю у вас сотрудничать». Я предупредил ее о политическом направлении журнала — мы были органом социалистов-революционеров. Она ответила скороговоркой: «Политикой не интересуюсь, не разбираюсь в ней, и уж, конечно, Моцарт перевешивает». Я до сих пор убежден, что именно Моцарт повлиял на ее решение...»

Андрей Белый то исчезал из «Прагердиле», то появлялся в кафе снова. Это был тяжкий для

него жизненный час: час разрыва с любимой женщиной и час глубочайшего разочарования в недавнем учителе — философе-антропософе Рудольфе Штейнере. Терзало его и другое: может быть, острее и болезненнее, чем кто-либо из русских, оказавшихся тогда в Берлине, он мучился мыслями о России, временами ему казалось, что родина потеряна навсегда. Сиротливый посреди



Андрей Белый

многолюдства «русского Берлина», он предстал Цветаевой человеком, казалось, утратившим последние остатки земного равновесия и земного притяжения. Она узнавала в нем до боли знакомое по себе самой: беспомощность и почти катастрофическую неприспособленность к той обычной жизни, в которой с легкостью ориентируется нормальный человек. Узнавала незащищенность сердца — и опасную его открытость стихиям бытия. Он принял ее готовность слушать его часами. Они гуляли вместе по берлинским улицам в сопровождении молчаливой Али, заходили в зоопарк; Цветаева навестила его в Цоссене, под Берлином, где он тогда обитал. Само присутствие Марины Ивановны рядом его явно успокаивало. «Может

быть, никому я в жизни со всей и всей моей любовью не дала столько, сколько ему, — писала она позже в «Пленном духе», — простым присутствием дружбы. Сопутствием на улице. Возле».

Измученный Белый оценил это сполна. Его сердечное доверие обрушилось на Цветаеву с непредсказуемостью горного обвала. В письме, которое он напишет ей 26 июня, «глубокоуважаемую Марину Ивановну» — из первой записки — сменило проникновенно нежное обращение, с каким адресуются только к очень близкому человеку:

«Моя милая, милая, милая, милая Марина Ивановна, — пишет Андрей Белый спустя пять недель после их первой встречи в «Прагердиле». — Вы остались во мне как звук чего-то тихого, милого: сегодня утром хотел только забежать, посмотреть на Вас и сказать Вам: «спасибо»... Эти последние особенно тяжелые, страдные дни Вы опять прозвучали мне: ласковой, ласковой, удивительной нотой: доверия, и меня, как маленького, так тянет к Вам. Так хотелось только взглянуть на Вас, что когда был на вокзале, то сделал усилие над собой, чтобы не вернуться к Вам на мгновение, чтобы пожать лишь руку за то, что Вы сделали для меня...» «И прежде еще, в Москве, я поразился, почему от Вас веет — теплым, ласточкиным весенним ветерком. А как Вы приехали в Берлин и я Вас увидел, так совсем повеяло весной. А вчера? <...> Когда я появился вечером — опять повеяло вдруг, неожиданно от Вас: щебетом ласточек и милой, милой, милой вестью, что какая-то родина — есть и что ничто не погибло. Голубушка, милая, — за что Вы такая ко мне?..»

## 2

Седьмого июня в Берлин приехал из Праги Сергей Яковлевич Эфрон. Дату эту сохранила дарственная надпись, сделанная Цветаевой на экземпляре сборника «Разлука», он был подарен мужу — как сказано тут — «в день встречи». А в поздних воспоминаниях А. С. Эфрон мы прочтем, как опоздали мать и дочь к приходу поезда, как отчаялись при виде уже безлюдного перрона и опустевших вокзальных помещений — и вдруг услышали издали окликавший их знакомый голос: Сергей Яковлевич бежал к ним с другого конца площади. «Долго, долго, долго стояли они, намертво обнявшись, и только потом стали медленно вытирать друг другу щеки, мокрые от слез...» Такой запомнила эту встречу дочь.

Четыре года разлуки пролегли между ними.

В последний раз они виделись в январе 1918 года. Эфрон приезжал тогда в Москву на несколько дней с юга: он уже связал себя с белым движением. С тех пор они узнавали друг о друге только из редких писем, доходивших раз в полгода с какой-нибудь случайной оказией. Но даже в радостный день получения письма неизбывная тревога не исчезала: слишком уж долго известие добиралось до адресата — и слишком густо насыщен был каждый час эпохи угрозой последнего расставания.

...Их семейная жизнь, в которую они вошли совсем юными — Марине исполнилось в ту пору девятнадцать, Сергею на год меньше, — была безоблачной недолго. Всего три первых года. Тогда радость совместности затмевала все, обоим казалось, что судьба подарила им неслыханную удачу. Солнечный день 5 мая 1911 года,

когда они впервые увиделись на берегу Черного моря, в Крыму, в Коктебеле, в гостях у Волошина, — этот день, воспоминание о нем, скрепляет их узы как клятва, которую они оба и спустя многие годы были не в силах расторгнуть.

В ноябре 1917 года их разлучили революционные события, разразившиеся в стране. Сергей уехал на Дон, где формировались первые части белой армии: так понимал он тогда свой долг русского офицера. Цветаева осталась с двумя дочерьми в Москве. Старшей, Але, было пять, Ирине не исполнилось и года. Сестра Ася жила в Феодосии, отрезанная от севера гражданской войной; со сводными братом и сестрой у Марины уже давно не было близких отношений. И Цветаевой, неумелой и непрактичной в делах хозяйственных, приходится в одиночку справляться со сложными проблемами быта, а они угрожающе тяжелеют с каждым месяцем. Друзей, правда, много — молодая Цветаева весела, общительна и гостеприимна. Ее квартиру в Борисоглебском переулке охотно посещают и молодые актеры-студийцы, и художники, живущие неподалеку, во флигеле «Дворца искусств», что на Поварской улице; с удовольствием заходит сюда на час-другой стареющий Бальмонт... Но к лету 1919-го многие разъедутся и обратно в Москву уже не вернутся. И страшная осень этого года застанет Цветаеву наедине с катастрофой вплотную придвинувшегося голода. В отчаянии она делает непоправимый шаг: отдает дочерей в Кунцевский детский приют, где им обещают полное обеспечение. Но уже через несколько недель приходится забрать домой тяжело заболевшую Алю; два месяца девочка нахо-

дится между жизнью и смертью. А 2 февраля 1920 года умерла в приюте Ирина. Цветаева одна как перст с непереносимой болью в сердце — да и кто бы мог смягчить это терзание? Пройдет еще несколько месяцев, и резко изменится голос Цветаевой-поэта. Из ее стихов навсегда уйдет прозрачная легкость, певучая мелодика, искрящиеся жизнью, задором и вызовом победоносные интонации Мариулы и Кармен. Новая тональность созревала постепенно, но именно двадцатый год стал временем, подготовившим «поворот русла» в цветаевском поэтическом творчестве. И решающими оказались вовсе не литературные влияния или сугубо формальные поиски...

Знаменательный вечер 20 ноября 1920 года Цветаева коротко описала в своей тетрадке. Она была в Камерном театре на премьере «Благовещения» Клоделя, когда в антракте на освещенную авансцену перед закрытым занавесом вышел режиссер. Он объявил о только что полученном чрезвычайном известии: гражданская война закончена! Войска Врангеля окончательно разгромлены, остатки Добровольческой армии сброшены в море! Посреди бурно зашумевшего зрительного зала, разом вставшего и в ликование грянувшего «Интернационал», Цветаева не могла заставить себя шевельнуться. Окаменение, столбняк овладели ею, как всегда при сильном потрясении, все равно — радостном или скорбном. Оглохшая и ослепшая, она летела зегзицей туда, в Крым, к полегшим в последних боях и к «сброшенным в море». Убит? Жив? Ранен?..

Через несколько дней родятся первые строфы ее «Плача Ярославны»:



Буду выпрашивать воды широкого Дона,  
Буду выпрашивать волны турецкого моря,  
Смуглое солнце, что в каждом бою им светило,  
Гулкие выси, где ворон, насытившись, дремлет...

Спустя три месяца, в конце февраля 1921 года, получил разрешение на временный выезд за границу Илья Эренбург. Это был первый человек, к которому Цветаева могла броситься со своей мольбой: узнать о судьбе мужа, разыскать его, если уцелел. Эренбург обещал сделать все возможное. Он увез с собой ее отчаянное письмо к Сергею Яковлевичу. «Если Вы живы — я спасена, — писала Цветаева. — Мне страшно Вам писать, я так давно живу в тупом задеревенелом ужасе, не смея надеяться, что живы, — и лбом — руками — грудью отталкиваю то, другое. — Не смею. — Все мои мысли о Вас. Не знаю судьбы и Бога, не знаю, что им нужно от меня, что задумали, поэтому не знаю, что думать о Вас. Я знаю, что у меня есть судьба. — Это страшно. — Если Богу нужно от меня покорности — есть, смирения — есть, — перед всем и каждым! — но отнимая Вас у меня, он бы отнял жизнь...»

Уехав из Москвы, Эренбург надолго застрял в Риге, затем — через Копенгаген и Англию — приехал в Париж; оттуда был внезапно выслан, переехал в Бельгию. Между тем Цветаева считала недели, укрепляясь в самых мрачных предположениях. В мае Алю увезли на несколько недель в деревню Зайцевы, Борис Константинович и Вера Николаевна. Оставшись без горячо любимой дочери, Марина с трудом справлялась со страхами и тревогой; надежда на добрую весть от Эренбурга стремительно таяла. Временами ей казалось —

она писала об этом в одном из писем, — что все в Москве давно уже знают о гибели мужа и только не решаются сообщить ей об этом. В мае под ее пером возникают строки стихов цикла «Разлука». Весь цикл позже получил посвящение «Сереже». Но если прочесть внимательнее восемь его стихотворений, ясно: Цветаева готовилась в эти дни к другой разлуке, с дочерью — и с жизнью.

Тихонько  
Рукой осторожной и тонкой  
Распутая пути:  
Ручонки, — и, ржанию  
Послушная, зашелестит амазонка  
По звонким, пустым ступеням расставанья...

Еще раньше, в начале 1920 года она обронила в письме к Вере Звягинцевой: «Если С. нет в живых, я все равно не смогу жить...» Спустя год она не рассталась с этой навязчивой мыслью. Теперь преодолеть ее было еще труднее, чем прежде:

Не крадущимся перешибленным зверем, —  
Нет, каменной глыбою  
Выйду из двери —  
Из жизни...  
...В тот град осиянный,  
Куда — взять  
Не смеет дитя  
Мать.

Цикл был закончен 20 июня. Через пять дней начат следующий — «Георгий». Напряжение не отпускает Цветаеву. Кажется, — как только она отложит перо, настанет время необратимых решений... 26 июня создано первое стихотворение, 28-го — еще два, 29-го — еще два, 30-го — еще одно. Как всегда, когда она захвачена сильным

чувством, стихи льются неукротимым ливнем. Святой Георгий на белом коне, в красном плаще, копьём пронзающий гада, кроткий Георгий, затравленный сворой... Нет сомнений: это — портрет того же Сережи, только вознесенный теперь уже на икону. 1 июля — еще стихотворение! И оно стало последним в цикле. Стихотворение-апофеоз, сплошь на непомерных и разностильных уподоблениях, сплошь на восклицательных знаках — строгого суда критики оно не выдержит. Это скорее черновик, зафиксировавший все пришедшие в голову варианты; на следующий день из них половина была бы, наверное, отброшена...

Но следующего дня не понадобилось. Безмерным сосредоточением на мысли о муже Цветаева вымолила у судьбы его жизнь. Во всяком случае, именно так считала она сама. Вечером того же 1 июля она держала в руках письмо из Константинополя. Чудо свершилось: Эфрон был жив.

Он уцелел в последних крымских боях; ему удалось сесть на корабль, доплывший до турецкого берега; он пережил страшную голодную и нищенскую зиму в галлиполийском лагере под Константинополем. Письмо Эренбурга нашло его там в июне. Илья Григорьевич пока лишь упоминал о письме Марины, обещая выслать его, как только получит отклик и точный адрес. Но кажется, будто Сергей Яковлевич уже прочел строки жены — так явственно слышна в их письмах переключка. «Милый мой друг — Мариночка, — писал Эфрон. — Сегодня я получил письмо от Ильи Г., что Вы живы и здоровы. Прочитав письмо, я пробродил весь день по городу, обезумев от радости. — До этого я имел кое-какие вести от К. Д. (Бальмонта. —

И. К.), но вести эти относились к осени, а минувшая зима была такой трудной.

Что мне писать Вам? С чего начать? Нужно сказать много, а я разучился не только писать, но и говорить. Я живу верой в нашу встречу. Без Вас для меня не будет жизни, живите! Я ничего не буду от Вас требовать — мне ничего не нужно, кроме того, чтобы Вы были живы...»



С. Я. Эфрон, весна 1917 г.

До их встречи пройдет еще почти год. Но именно этот летний московский вечер, когда, наконец, Цветаева держала в руках странички, исписанные знакомым почерком, перечитывая их и с трудом осознавая свое возвращение к жизни, — именно этот вечер предопределил другую разлуку. Долгую семнадцатилетнюю разлуку с Россией.

Какие могли быть колебания? Бывший белый офицер не мог вернуться в красную Москву. Отложить встречу до неясных лучших времен?.. Выбора не оставалось.

Получить разрешение на временный выезд из Советской России с началом нэпа было уже несложно. Процедура упростилась особенно для

женщин, детей, стариков и больных. Но на паспорт, визу, билеты нужны были деньги — и деньги большие. В октябре 1921 года Цветаева в письме Эренбургу называет сумму, необходимую, чтобы доехать до Риги: десять миллионов. «Для меня это все равно, что: везите с собой Храм Христа Спасителя. Продав С[ережи]ну шубу (моя ничего не стоит), старинную люстру, красное дерево и две книги (сборник «Версты» и «Феникс. Конец Казановы»), с трудом наскребу 4 миллиона, да и то навряд ли: в моих руках и золото — жесть, и мука — опилки. Вы должны понять меня правильно: не голода, не холода боюсь, а зависимости. Чует мое сердце, что там, на Западе, люди жестче. Здесь и рваная обувь — беда или доблесть, там — позор...»

Между тем в ее тетрадах — сокровища: залежи неопубликованной лирики, рукописи поэм и стихотворных пьес! Ее творческая плодовитость уникальна, она пишет стихи в любых обстоятельствах, голод и холод — не помеха, стихи — ее отдушина и спасенье. «Вам необходим отвод: ежедневный, чуть ли не ежечасный. И очень простой: тетрадь», — писала Цветаева позже Пастернаку. Это сказано изнутри собственного опыта. Но интерес к самоизданию у нее всегда был слаб — ибо требовались для этого импульсы уже не творческие.

Первые два ее сборника вышли давно: «Вечерний альбом» — осенью 1910 года, когда Марина еще была гимназисткой последнего класса; «Волшебный фонарь» появился в самом начале 1912 года, как бы подарком к собственному замужеству. С тех пор тетради ее разбухали от стихов, число тетрадей множилось, но новых книг Цветаева не

издавала. Теперь же сама нужда заставляет ее заняться издательскими хлопотами. Она подготавливает к печати поэму «Царь-девица», пьесу «Феникс», составляет поэтические сборники. И — знаменательно! — трем из них дает одно и то же название: «Версты». В один войдут стихи 1916 года, в другой, поменьше, — тщательно отобранные стихи четырех лет — с 1917-го по 1920-й. Но за бортом оставалось еще множество, и, уже уехав из России, Цветаева попыталась издать третьи «Версты» в Берлине. Издание почему-то не состоялось.

Чем так притягивало ее это слово — «версты», начинавшее уже исчезать из русской речи? Не тем ли, что оно давало простор воображению — и зрительному и ассоциативному? Впрочем, в дневниковых ее записях 1919 года есть размышление, проясняющее вопрос. «Время не мыслишь иначе, как: расстояние. А «расстояние» — сразу версты, столбы. Стало быть: версты это пространственные годы, равно как год — это во времени — верста».

Отъезд из России обрел реальные очертания только к весне 1922 года. В это время Эфрон жил уже в Праге. Он приехал туда из Константинополя в ноябре 1921 года, после целого месяца путешествия в холодном товарном вагоне вместе с такими же, как он, бывшими участниками Добровольческой белой армии. Чешское правительство Масарика предложило русским беженцам приют, денежное пособие и возможность продолжения учебы — среди «добровольцев» были сотни недоучившихся студентов.

Однако ехать в Прагу прямо из Москвы было невозможно: дипломатических отношений между

Советами и Чехословакией тогда не существовало. Единственным реальным местом встречи оказывался Берлин.

## 3

С приездом Сергея Яковлевича семья переселилась в другую гостиничку — «Траутенаухауз», неподалеку от Прагерплаца. О днях, проведенных Эфроном в Берлине, известно немного, но вот эпизод, рассказанный Романом Гулем в его мемуарной книге «Я унес Россию».

Двадцатилетний Гуль был в те дни сотрудником крупнейшей русской газеты, выходившей в Берлине. В прошлом участник знаменитого «ледового похода» 1918 года, он ушел от белых, по его словам, с ненавистью; но и красные были ему непонятны, он хотел одного: чтобы никто ни в кого не стрелял. В Берлине он уже написал и издал в 1921 году книгу, так и называвшуюся «Ледовый поход», — она принесла автору известность и удостоилась похвалы Максима Горького и Андрея Белого.

Гуль успел немного подружиться с Цветаевой в первые же ее берлинские недели. Среди многоцветной толпы русских, собиравшихся по вечерам в «Прагердиле», Гуль выделил Марину Ивановну сразу — непохожестью на остальных. «Она никак не была литератором, — отмечал он, вспоминая их встречи, и берлинские и более поздние. — Она была каким-то Божьим ребенком в мире людей. И этот мир ее своими углами резал и ранил...» Он запомнил, как уверенно и свободно она себя чувствовала в своем простом синем ситцевом платье и грубых ботинках; соседство нарядных

дам в кисее и лакированных туфлях-«лодочках» ее ничуть не смущало...

Когда приехал муж, Цветаева не преминула свести вместе двух бывших белогвардейцев. Гуль так описывает эту встречу: «Эфрон был весь еще охвачен белой идеей, он служил не помню уж в каком полку, в Добровольческой армии, кажется в чине поручика, был до конца на Перекопе. Разговор двух добровольцев был довольно странный. Я в белой идее давно разочаровался и говорил о том, что все, что было, неправильно зачато, вожди армии не сумели сделать ее народной, и потому белые и проиграли. Теперь я был сторонником замирения России. Он — наоборот — никакого замирения не хотел, говорил, что Белая армия спасала честь России, против чего я не возражал. <...> М. И. почти не говорила, больше молчала. Но была, конечно, не со мной, а с Эфроном, с побежденными белыми...»

Это важное свидетельство. Важное тем, что, в частности, оно противоречит характеристике настроений Сергея Яковлевича, данной в поздних воспоминаниях Ариадны Эфрон: последняя утверждала, что отец ее в это время уже отошел от «белой идеи». Но в мемуарах Ариадны Сергеевны, увы, немало и других неточностей; они заставляют вспомнить, что в те давние месяцы Але еще не исполнилось и десяти лет... Отход от «добровольческого» пафоса отныне пойдет у Эфрона действительно стремительными темпами. Но ему еще предстоит многое пережить и обдумать. И вполне возможно, что беседа с Гулем оказалась толчком, ускорившим этот процесс.

Отец в те дни запомнился дочери молчаливым,



задумчивым, каким-то отъединенным от шумного прагердильского застолья, что, вообще говоря, не слишком похоже на общительного, веселого и остроумного Сергея Яковлевича; но как раз этому свидетельству поверить легко. Эфрон уехал обратно в Прагу довольно скоро, может быть, уже недели через две — и уехал один. Отъезд продиктован был — читаем в тех же воспоминаниях — необходимостью готовиться к экзаменам в университете. Может быть, и так. Но отчего нельзя было заняться тем же в Берлине? Конечно, Сергей Яковлевич мог поехать вперед и для того, чтобы, скажем, найти жилье для семьи. Или прозондировать вероятность получения чешского «пособия» для Цветаевой. Но легко допустить и другие — горькие мотивы, укоротившие столь долгожданное свидание Эфрона с женой.

Если позже Цветаева вспоминала дни, проведенные в германской столице, с неприятным чувством и признавалась в одном из писем, что вырвалась из Берлина, как из тяжелого сна, то главной причиной тому явились отношения, сложившиеся с Вишняком-«Геликоном». Начавшись с увлеченных бесед о поэзии, они еще до приезда мужа вовлекли Цветаеву в состояние сердечной смуты, которая всегда захватывала ее совершенно врасплох.

Думалось: будут легки  
Дни и бестрепетна смежность  
Рук... Взмахом руки,  
Друг, остановимте нежность!  
Не поздно еще!

В рассветные щели  
— Не поздно еще! —

Нам птицы не пели...

Сюжет отношений оказался краткосрочным и, может быть, не заслуживал бы упоминания. Исчерпался он недели за три — дальше оставался лишь шлейф горечи. Но и все пребывание Цветаевой в Берлине было краткосрочным. И слишком уж не вовремя этот сюжет возник. Вспыхнувшего увлечения не погасил даже приезд из Праги Сергея Яковлевича. Впрочем, мы мало что об этом знаем. В нашем распоряжении, в сущности, единственный материал, не слишком проясняющий ситуацию. Это «Флорентийские ночи». Так назвала Цветаева в начале 30-х годов рукопись, составленную ею из девяти женских писем и одного мужского, ответного, — рукопись предназначалась для несостоявшейся публикации. Имена корреспондентов здесь, правда, отсутствуют, прямой автобиографизм прикрыт. Но нет сомнений: в основу легли берлинские письма Цветаевой Вишняку, вытребованные Мариной Ивановной у адресата осенью того же двадцать второго года. Редактировались ли тексты писем? Достоверно мы этого не знаем, однако главное, конечно, сохранено.

«Флорентийские ночи» — хроника любовного увлечения. Но внешних событий здесь нет, и скорее это хроника размышлений, дневник противоречивых чувств, монолог, почти не рассчитывающий на отклик. Мы услышим здесь мотивы, которые будут иметь долгое эхо в цветаевском творчестве. Кажется, впервые обозначилась в этих письмах тема человека с иссушенным сердцем и «вялой» кровью; человека, не способного воспринимать ни саму жизнь, ни искусство непосредственно и целостно — душой, открытой для боли и радости. Мотивы эти поведут нас и к стран-

ному цветаевскому «Гамлету» — велеречивому и обделенному благодатью живых страстей (цикл стихов 1923 года) и к герою поздней поэмы «Автобус» — «интеллектуальному гастроному»...

В этой некстати вспыхнувшей влюбленности не было ни малейшей угрозы ни для чьих супружеских уз. Цветаева отлично осознавала пределы своей «одержимости», и все же загадка чужой души, всегда ее притягивавшая, не отпускала ее на волю слишком быстро.

Атмосферу психологической реальности тех дней лучше всего воссоздает лирика июня и июля. Почти вся она замешена на дрожжах этой неожиданно разразившейся истории. Когда сравниваешь жизненный повод и поэтический отклик у Цветаевой, всегда изумляешься мощной многозначности эха. Какое богатство реакций, как просторны параметры мира, рожденного злосчастным эпизодом! Стихи радостные и горькие, исполненные боли и самоиронии, размышлений о жизненной тщете, о тяжком бремени лжи, о любовном собственничестве... Около тридцати стихотворений написано за два месяца, и среди них есть несколько совершенно замечательных. Но публикует их автор только спустя шесть лет, когда «поводы» будут окончательно изжиты и спасительная ирония бесследно смоеет горечь пережитого.

В 1923 году, в Берлине, выйдет из печати сборник «Ремесло», объединивший стихотворения, созданные за год до отъезда из России. Когда книга появится в продаже, она приведет в недоумение читателей, восхищавшихся цветаевской поэзией прежних лет. Нервная сжатость стиха, напряженность, жесткость, затрудненность



месло» отразило рождение новой стилистики. Она еще будет оформляться, совершенствоваться, меняться — но к прежней манере Цветаева уже не вернется никогда.

В конце июня Цветаева неожиданно получила письмо от Бориса Пастернака. Длинное, сбивчивое, написанное на едином порыве волнения и щедрой благодарности. Как оказалось, Пастернак только что купил и прочел «Версты», тот самый сборник, в который Цветаева включила стихи 1918—1920 годов, — он вышел в Москве в самом начале года. Теперь Борис Леонидович радовался и горевал: радовался несравненному таланту, вдруг ему открывшемуся, горевал, что «оплошал и разминулся» с самой Мариной Ивановной. «Как странно и глупо кроится жизнь! — писал Пастернак. — Месяц назад я мог достать Вас со ста шагов, и существовали уже «Версты», и была на свете та книжная лавка в уровень с панелью, без порога, куда сдала меня ленивая волна теплого плоившегося асфальта! И мне не стыдно признаться в этой своей приверженности самым скверным порокам обывательства: книги не покупаешь потому, что ее можно купить!!!»

Они были знакомы давно. Рядом сидели на литературных вечерах. Совсем недавно, в апреле, вместе шли за гробом Татьяны Федоровны Скрибиной. Но ни ему, ни ей не дано было тогда предчувствия — кем станут они друг для друга. Чтобы родилась их взаимная сердечная преданность, оказались нужны не просто встречи, иное: нужно было однажды вслушаться в тот поток странной ритмической речи, которая возникала под их пером

в таинственный час творчества. Ибо тогда они всего открытее обнаруживали сокровенный мир, которым оба жили и дышали.

В Москве Цветаева так же проглядела поэзию Пастернака, как и он — ее поэзию. Ошеломленная письмом, она теперь впервые внимательно прочла его стихи — сборник, вышедший в Берлине, «Сестра моя жизнь».

...Начало июня 1922 года. В германской столице стоит изнуряющая жара. Дышать можно только на балконе, когда оттуда уйдет солнце. Два дня подряд Цветаева не может оторваться от книжки, с ней на груди просыпается поутру. «Я попала под нее, как под ливень,— записывает она в своей тетради.— Ливень: всё небо на голову, отвесом: ливень прямо, ливень вкось,— сквозь, сквозняк, спор световых лучей и дождевых,— ты не при чем: раз уж попал — расти!— Световой ливень». Эти строки вошли в первую в ее жизни статью о поэзии: она так и назовет ее — «Световой ливень». Статья была написана в пять дней, сразу же по прочтении пастернаковского сборника, — и, кажется, главным образом для того, чтобы справиться с волнением, которое пробудил в ней неожиданно услышанный голос.

Так входит в жизнь Марины Цветаевой поэт и человек — Борис Пастернак. Отныне он будет годы и годы присутствовать в ее судьбе — как и она в его. Их привязанности друг к другу суждено было родиться тогда, когда между ними пролегли не просто версты, но границы. И случится так, что семнадцать лет чужбины станут для Цветаевой временем разлуки не просто с Россией — с Борисом Пастернаком.

## Глава вторая

### ЧЕХИЯ, 1923

#### 1

«Цветаевские» места в окрестностях Праги поразительно живописны. Если сесть на электричку в Праге на Смиховском вокзале, дорога до Вшепор займет меньше получаса. Но красота за окнами начнется не сразу, а после Радотина. Вдали появятся гряды высоких темно-зеленых холмов, набегающих друг на друга; изредка прильнет почти вплотную к поезду мерцающий срез такого холма — и тогда окажется, что это, собственно, скала, густо поросшая на вершине деревьями. Но вот поезд с грохотом пересекает мост над широко разлившейся здесь речкой Бероункой. Она поблескивает в лучах утреннего солнца, плакучие ивы свисают над водой, рыбацья лодка замерла недалеко от берега. Сколько тут неба! Как подчеркнута даль то придвигающейся, то убегущей к горизонту грядой холмов! Один из берегов реки рядом с мостом круто переходит в склон, черепичные крыши домов нарядно краснеют среди густой зелени холма.

Проезжаем Чернощице, теперь смотрите внимательно в левое окно: скоро мелькнет на пригорке шпиль костела, он будет хорошо виден из вагона. Это и есть Горние Мокропсы. Так назывались эти места в то время, когда здесь жила Цветаева, — теперь это Вшеноры первые. От станции Вшеноры туда надо пройти ровно километр асфальтовой дорогой, вдоль железнодорожного полотна, — и потом



1924 год

подняться вверх. Вот и костел. Вокруг него — маленькое старинное кладбище. А сразу позади начинается улочка, которая ползет влево вверх, еще выше; она называется по-чешски «В халупках». Вот туда нам и надо. Пройдем несколько добротных каменных домов с красивыми ухоженными двориками. Одноэтажная «халупка» под номером 051 и будет та, в которой больше полувека назад жила Марина Цветаева. Конечно, дом много раз ремонтировался, его расширили пристройками, и теперь это уже не последний дом в деревне, как было тогда. Появились новые улочки, еще выше взобравшиеся на холм. Улочки покрыты асфальтом, как и дорога внизу, около



многих домов стоят чистенькие яркие легковые машины. Асфальт и машины придется мысленно из картины исключить. И наоборот — вообразить себе местных хозяек в шляпах, а мужчин в цилиндрах — так одевались здесь по торжественным дням в те давние времена. С вершины холма открываются такие красоты, что дух захватывает. Недаром Цветаева почти силком затаскивала сюда всякого гостя, приехавшего из Праги ее навестить. Видны отсюда и Бороунка, и рельсы железнодорожного полотна, и Дольние Мокропсы по ту сторону реки, и Вшеноры, где Цветаева жила последний свой чешский год — до отъезда во Францию.

Эти места со странными, смешными для русского уха названиями приютили в начале 20-х годов русских эмигрантов, попавших в Чехословакию самыми разными путями. Снять жилье в Праге было баснословно дорого — и там селились лишь немногие избранные. Здесь быт был, конечно, куда как неустроеннее, зато цены доступнее.

Поселенцы и хозяева нелегко приживались друг к другу. Мешал не только языковой барьер. Русские плохо приспособлялись к непривычной регламентированности жизненного уклада чехов: слишком уж много правил и запретов! Когда при расчете с хозяевами выяснялось, что надо отдельно платить за пользование хозяйской лампой или за сидение на клеенчатом диване, — это казалось диким. Но, в свою очередь, и русские в глазах чешских домовладельцев, привыкших сдавать пражанам свои комнатки на летнее время, были странным и несуразным племенем. Беспечным племенем, наделенным непонятной страстью



Горние Мокропсы. Дом, в котором жила Цветаева

чуть не всякий свободный вечер ходить друг к другу в гости и засиживаться допоздна; устраивать пикники и пирушки в дни получек, а неделю спустя, как шутила Цветаева, «впадать в задумчивость»...

В домике, который теперь числится под номером 051, Цветаева прожила почти год — с ноября 1922 до сентября 1923 года. «Год жизни — в лесу со стихами, с деревьями, без людей» — так подытожила она позже, уезжая из этих мест и с благодарностью оглядываясь. В самом деле, год оказался малолюдным и прошел в такой дружбе с холмами и особенно с лесом, до которого было здесь рукой подать, что позже, все годы, прожитые во Франции, Цветаева будет тосковать о нем, гуляя по

замусоренным окраинам медонского леса. Никогда больше у нее не окажется такого приволья для прогулок, как в этот год, — даже во Вшенорах, потому что там она уже не будет так свободна: рождение сына существенно изменит весь жизненный распорядок.

А пока — она с наслаждением бродит лесными и горными тропками, с Алей и одна, спускается вниз, к Бероунке, то сужающейся, то широко раздвигающей берега, поросшие высоким папоротником. И когда видят издалека ее легкую фигуру, шагающую решительно и ритмично, в грубых тирольских башмаках, кажется, что идет юный странник-послушник. Вблизи, правда, Марина уже давно не выглядит юной. Приятель и сокурсник Эфрона Николай Еленев, впервые увидев ее после шестилетнего перерыва, поразился перемене ее облика. В стриженных волосах — проседь, кожа лица потемнела, в глазах исчез блеск...

В тот день после первого обмена приветствиями Цветаева протянула Еленеву большую кастрюлю, обернутую газетной бумагой.

— Я принесла вам каши. Мы сварили ее слишком много. Я подумала: не выбрасывать же...

Кашу приняли, но сам этот жест показался Еленеву диковатым: денег, правда, и у него с женой было в обрез, но делиться кашей... Только позже он понял, что то был жест человека, перенесшего страшное время 1919 года и уже не способного выбросить даже корки хлеба.

Новые знакомства поначалу не были слишком обширны, но все же ко времени приезда жены Эфрон почти год прожил в Чехии и успел обрести достаточным кругом друзей. Сестры Рейт-

линггер в Праге, молодые Еленевы в Мокропсах, семья писателя Чирикова во Вшенорах были первыми, кто появился теперь в окружении Цветаевой.

Четыре дня в неделю Сергей Яковлевич слушает лекции русских профессоров-эмигрантов на философском факультете старинного Карлова университета в Праге. В эти дни он живет вместе с другими русскими студентами в предоставленном им общежитии «Свободарна», напоминающем казармы. Здесь у него своя «кабинка», отделенная от других тонкой перегородкой, не доходящей ни до цементного пола, ни до потолка. В кабинке — койка, только позже появятся стул и стол. Но когда жена и дочь задерживаются в Праге, они ночуют в общежитии — в «Свободарне» всегда находятся пустующие кабинки.

Цветаева, впрочем, приезжает в город не часто — раз или два в месяц. На Смиховском вокзале ее встречает обычно Катя Рейтлингер, веселая, преданная двадцатидвухлетняя русская студентка, много сделавшая для Эфронов в их чешские годы. Она страстно любила цветаевские стихи еще в России, и вдруг оказалось, что однокурсник сестры Юлии женат на той самой Цветаевой!.. Осенью 1922 года Эфрон привел в гости к сестрам Рейтлингер жену и дочь. Знакомство Катю не разочаровало, но она не могла не почувствовать как настороженную колючесть Марины, так и ее бесконечную усталость. И все остальные годы, оставаясь верным другом семьи, радостно помогая всем, чем могла (а обстоятельства сложились так, что могла), Катерина Николаевна всегда испытывала в присутствии Цветаевой сложную смесь трепетного преклонения и опаски.

В Праге Катя Рейтлингер стала почти бессменным поводырем Цветаевой — ведь в любом городе, кроме Москвы ее юности, Марина беспомощна и пуглива. Она не может сама найти нужного адреса: на каждом перекрестке стоит в растерянном раздумье. Уличные переходы для нее мучение, даже на маленьких улочках она со страхом вцепляется в руку попутчика, едва завидев вдали одинокий автомобиль. Теряется она и в магазинах: она близорука, не знает чешского языка, да и денег всегда в обрез, а надо сообразить, где можно дешевле купить необходимое...

Только доведя Цветаеву до порога редакции журнала «Воля России», разместившейся неподалеку от старой ратуши, Катя может спокойно идти по своим делам. Здесь эстафету покровительства принимает Марк Слоним, с которым Марина познакомилась еще в Берлине. Редакция занимает всего одну комнату в доме на крохотной площади Ухельни Трх — по преданию, именно здесь был выстроен в давние времена первый дом Старого Города. Сотрудники «Воли России» к Цветаевой относятся с неизменным дружелюбием, хотя, кроме Слонима, здесь мало кто понимает ее стихи. Не понимают, но верят и даже почитают — а главное, безотказно печатают. И исправно, без напоминаний, платят гонорары...

Трудно сказать, когда именно удалось выхлоптать Цветаевой так называемое «чешское иждивение» — ежемесячное пособие, которое правительство Масарика назначило широкому кругу русских писателей и ученых, оказавшихся в эти годы в Чехии. На одну студенческую стипендию Эфрона прожить втроем было, конечно, невозможно. На

пропитание хватало, зато приобретение платья и обуви будет не по карману все чешские годы. Хорошо еще, что в Берлине Любовь Михайловна Эренбург почти силком заставила Марину купить простое платье крестьянского покроя. В нем мы и видим Цветаеву на фотографии, сделанной той же Катей Рейтлингер, — Марина рядом с мужем и дочерью. У Али тоже всего два платья, их приходится непрерывно латать, и потому любимый сюжет ее фантазии — кошелек с двумя миллионами, случайно найденный на дороге. Еще больше, чем платьев, Але хочется книг — много разных книг! Но книги дороги...

В воспоминаниях Ариадны Сергеевны Эфрон тем не менее этот первый год жизни в Чехии окрашен почти что в идиллические тона. Отец в зимние вечера читает вслух при свете керосиновой лампы Диккенса или Гоголя, родители, сменяя друг друга, рассказывают нескончаемую сказку засыпающей дочери, утром Марина хлопчет



Площадь Ухельни Трх  
в Праге, где располагалась  
редакция  
журнала «Воля России»

вокруг мужа, готовя ему завтрак и провожая по понедельникам до самого поезда... Все это достоверности, опирающиеся на дневниковые записи Али. Еще со времен Москвы она обязана ежедневно — это чуть ли не главное в ее домашнем обучении! — заполнить три-четыре странички дневника.

Но живая достоверность многомерна. Самый тонкий наблюдатель не разглядит извне всех ее пластов.

«Я живу по стольким руслам!..» Это признание много раз повторяется в цветаевских письмах. К нему стоит прислушаться.

## 2

Конечно, в Чехии Цветаева переводит дух после четырехлетней изнурительной борьбы за хлеб и тепло домашнего очага. После четырехлетней, не отпускавшей ни на день тревоги за жизнь мужа. Она не может не ощущать облегчения, как от сброшенной с плеч глыбы. Муж уцелел, он рядом, он делит, насколько может, тяготы и хлопоты нового нелегкого быта...

Но понадобилось совсем немного времени, чтобы стало ясно: на смену прежним испытаниям шли другие. За четыре года разлуки Цветаева, конечно, не могла забыть, что семейная ее жизнь в предреволюционные годы уже не была идиллической, но издали, в разлуке, казалось, что теперь, может быть, все будет иначе. И в письме Волошину примерно через год после встречи с мужем на чужбине (10 мая 1923 года) она напишет: «Встретились мы с ним, как если бы расстались вчера».

Приходится предположить, что, как и «вчера», семейная совместность оказалась непроста. И Цветаевой снова пришлось убедиться, что сама она мало пригодна для домашнего счастья. Встреча с мужем с самого начала очертила некие неодолимые грани.

Всего через месяц с небольшим после приезда в Чехию написано стихотворение «Берегись...», в нем знаменательны начальные строки:

Но тесна вдвоем  
Даже радость утр.  
Оттолкнувшись лбом  
И подавшись внутрь...

Характерны полушутливые признания Цветаевой, сделанные в одном из писем спустя два года: «Живу домашней жизнью, той, что люблю и ненавижу,— нечто среднее между колыбелью и гробом, а я никогда не была ни младенцем, ни мертвецом!» И еще через две недели — в письме тому же адресату — Марина не ленится переписать длинную цитату из учебника археологии. Это место отчеркнул и показал жене Сергей Яковлевич («наконец-то догадался, кто я», — с удовольствием комментирует Цветаева): «Апачи выказывают особенное отвращение ко всему, что походит на дом. Они только в исключительных случаях строят хижины из легких ветвей и кустарника, когда же становится слишком холодно, то отыскивают углубление в земле или же строят из земли, камней и листьев род котла <...>, скорчившись садятся в него совсем голые, большей частью в одиночку, и встают только на другой день, когда солнце согреет их окоченевшие члены...»



Что бы мы ни знали о «романах» Цветаевой, часто воплощавшихся лишь в письмах и стихах, она была правдива, когда говорила о себе как о человеке протестантского долга, всю жизнь прожившем в «вольной неволе». Сергей был ее «доля», ее судьба. Заботиться о нем, делить вместе беды — это и называла сама Марина: верность. «Долю и волю», «дорогую несвободу» в лоне семьи она будет обсуждать в одном из писем Пастернаку 1926 года. И там же, глухо, не договаривая, признаётся в глубочайшей неутоленности сердечного чувства...

Никакие внешние перемены и переезды не имеют власти над мощным творческим импульсом Цветаевой. 31 июля — отъезд из Берлина, 1 августа — приезд в Прагу, поиски жилья, ночлеги в чужих домах, перетаскивание вещей, непривычный быт в незнакомой стране... Но уже 5 и 6 августа написаны первые стихотворения цикла «Сивилла», с сентября начнутся циклы «Деревья», «Бог», «Заводские».

Двенадцатого октября поток стихотворений прекращается: Цветаева принимается за поэму «Молодец». Почти три месяца неотрывно она погружена в работу, которая захватывает ее целиком. И когда работа эта завершена, Марина чувствует себя полностью обновленной. Далеко позади остаются сердечная тяжесть и уязвленность, вывезенные из Берлина вместе с памятью о «геликоновском» эпизоде. Некоторое время спустя она напишет Пастернаку: «А знаете, Пастернак, Вам нужно писать большую вещь. Это будет Ваша вто-

рая жизнь, первая жизнь, единственная жизнь. Вам никого и ничего не станет нужно. Вы ни одного человека не заметите. Вы будете страшно свободны. Ведь Ваше «тяжело» — только оттого, что Вы пытаетесь: вместить в людей, втиснуть в стихи. Разве Вы не понимаете, что это безнадежно, что Вы не протратитесь. (Ваша тайная страсть: протратиться до нитки!)»

Нет сомнения, что мы слышим здесь голос только что обретенного опыта, голос освобождения. Работа над большой поэмой, а затем над эссе «Кедр» возвращает Цветаеву на твердую почву своего собственного «сивиллиного» дела. Теперь она уже полностью излечена от берлинских разочарований, ниточка душевной зависимости от них окончательно перегорела.

Цитированное письмо Пастернаку адресовано не в Россию, а в Берлин. Роковым образом Цветаева и Пастернак разминулись — всего на две недели. Хлопоча летом 1922 года в Москве о визе в Германию, где жили тогда его родители, Пастернак был, видимо, уверен, что встретится с Цветаевой; в ее ответном письме из Берлина было сказано: «Я здесь надолго». Борис Леонидович и сам собирался пробыть в Берлине полгода или год — спокойно поработать, издать сборник стихов в берлинском русском издательстве. Но ко времени его приезда в Берлин Цветаева уже уехала.

Теперь они были отделены друг от друга всего несколькими часами дороги — и тем острее ощутили горечь разминовения. Первое письмо Бориса Леонидовича из Берлина Цветаева получила в ноябре. Она ответила дружески тепло и, среди

прочего, как бы утешая себя, писала: «Я не люблю встреч в жизни: сшибаются лбом. Две стены. Так не проникнешь. Встреча должна быть аркой: тогда встреча — *над*. Закинутые лбы!..»

Существовала, однако, и другая правда — вспыхнувшее искушение: захотелось увидеться — теперь, когда они заново открыли друг друга, посидеть вдвоем в каком-нибудь из берлинских кафе, наговориться всласть... И Цветаева исподволь начинает обдумывать возможность поездки в Берлин, хотя бы на несколько дней. У нее нашлись для этого и деловые поводы: отыскать, например, издателя — для поэмы «Молодец» и для книги прозы, которую она задумала. Но поездка требует денег. И визы. И на кого оставить Алю в канун приближающейся зимы, когда вот-вот грянут холода? Уже теперь, в ноябре, печь в доме приходится топить чуть не полдня, чтобы сырость не проступала на стенах...

И все же крепче, чем что бы то ни было, ее удерживает на месте неоконченная рукопись. Поэма «Молодец» будет завершена только к Рождеству, и, пока не поставлена последняя точка, Марина прикована к своему письменному столу надежнее любых цепей. Наконец закончен «Молодец». И тут почта приносит только что изданную книгу мемуаров князя Волконского — Цветаеву связывает с ним со времен революционной Москвы самая сердечная дружба. Марина принимается за рецензию, неожиданно разросшуюся на полтора десятка страниц. Получила, и не рецензия, а прекрасное эссе «Кедр». Едва оно дописано, на цветаевском столе появляются дневники, которые Марина вела в Москве, — она хочет соста-

вить из них книгу прозы под названием «Земные приметы»...

Ничего особенного: такой мы увидим Цветаеву в любой период ее жизни, мало-мальски стабильный. Темы и замыслы набегают друг на друга, как холмы в окрестностях Бороунки, — весь вопрос в том, чтобы выбрать, ограничиться. И должно произойти нечто совсем уж чрезвычайное, чтобы перерыв в работе затянулся на две-три недели. Тогда она чувствует себя несчастной, обкраденной, обездоленной. Свет ей не мил, все во всем виноваты, друзей нет, жизнь не удалась, она пишет безысходные и злые письма. Но может случиться, что уже на следующий день после мрачнейшего будет написано письмо, где мир заново обретает все свои сочные краски. Это означает одно: она снова за работой. Тромб рассосался, кровообращение восстановлено — жизнь продолжается...

Двадцать третий год начинался неплохо: спартанский, но не слишком перегруженный хлопотами быт, дивные прогулки, возможность ежедневной работы — и невиданный (несколько даже чрезмерный!) покой горной деревушки. Впрочем, покой — это для тех, кто к нему изначально приспособлен, для тех, кто умеет хранить и лелеять его внутри самого себя.

Но вот в феврале Пастернак присылает из Берлина свой новый поэтический сборник «Темы и вариации». Книга и сопровождающее ее письмо попадают к Цветаевой в момент, когда она занята перебеливанием своего московского дневника для книги прозы, то есть делом, в котором творческое напряжение — не самого высшего накала. Это

важно. Потому что это означает, что теперь у нее нет никакой защитной брони. Стихи Пастернака обрушиваются на нее с той же силой Ниагарского водопада, что и прошлым летом, когда она читала «Сестру мою жизнь». Все заново — и все по-другому, и только сама сила потрясения сравнима. Одиннадцатого февраля она садится за письмо-отклик; четырнадцатого письмо продолжено.

Стихи для нее всегда — пропуск доверия. И потому она говорит с Пастернаком как сама с собой, не обдумывая, не оглядываясь на дозволенно-вежливые пределы. И перед нами в этом длинном письме, по существу, протокольная запись психологического состояния человека, который читает стихи не глазами, а сердцем. Так, как они и должны быть читаемы. «Ваша книга — ожог, — пишет Цветаева. — Та — ливень, а эта — ожог: мне больно было, и я не дула. Ну вот, обожглась; обожглась и загорелась — и сна нет, и дня нет. Только Вы, Вы один...» «Вы утомительны в моей жизни, голова устает, сколько раз на дню ложусь, валюсь на кровать, опрокинутая всей этой черепной, междуреберной разноголосицей: строк, чувств, озарений — да просто шумов. <...> Что-то встало и расплылось, и кончать не хочет — я унять не могу...»

В письме, однако, не просто отражено волнение: это письмо-поддержка, ибо Пастернак не скрыл собственного недовольства книгой. Цветаева не соглашается, она настаивает на «первичности», подлинности, вечности лучших стихов сборника. Она предрекает Пастернаку путь неостановимого развития. Она пишет: «Ни от кого: ни от Ахматовой, ни от Мандельштама, ни от Белого, ни от Куз-

мина я не жду иного, чем он сам. (Ничего, кроме него.) — Любя, может быть, страстно! — (Завершение, довершение: до, за — предел.) Я же знаю, что Ваш предел — Ваша физическая смерть».

Потрясение толкает саму Цветаеву к лирическому слову; как раз в эти дни возникнут ее первые стихи, прямо обращенные к Борису Леонидовичу. Она отошлет их ему немного позже.

Но уже через две с лишним недели до Праги доходит слух: Пастернак собирается возвращаться в Россию. Его отъезд — дело дней. Слух вскоре подтверждает и сам Борис Леонидович: наконец-то он внятно написал, как надеялся на встречу.

Взрыв отчаяния сотрясает Цветаеву. Она торопливо наводит справки о визе, обдумывает, где достать на поездку деньги, обращается за советом и помощью к Марку Слониму, который не раз ездил в Берлин.

Но все усилия напрасны: за короткий срок — Пастернак сообщил, что уезжает 18 марта, — добиться разрешения на выезд невозможно.

«Мокропсы, 9 нов[ого] марта 1923 г.

Дорогой Пастернак.

Я не приеду, — у меня советский паспорт, и нет свидетельства об умирающем родственнике в Берлине, и нет связей, чтобы это осилить, — в лучшем случае виза длится две недели. (Тотчас же по получении Вашего письма навела точнейшие справки.) Если бы Вы написали раньше и если бы я знала, что Вы так скоро едете... Милый Пастернак, у меня ничего нет, кроме моего рвения к Вам, это не поможет. Я все ждала Вашего письма, я не смела действовать без Вашего разрешения, я не знала, нужна Вам или нет. Я просто опустила

руки. Теперь знаю, но поздно <...>. Не приеду, потому что поздно, потому что беспомощна, потому что Марк Слоним, например, достает разрешение в час, потому что это моя судьба — потеря...»

Надежда на встречу в Берлине рухнула.

На смену ей, в утешение, придет новая, совсем хрупкая мечта — встретиться через два года в Веймаре. Пастернак обещал, что непременно вырвется еще раз, к родне, заранее известив Марину. Как ни эфемерна эта надежда, оба принимают ее всерьез — хотя бы потому, что ничего другого не остается. Но два года! «Ах, Пастернак, ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся! <...> Пастернак, два года роста впереди, до Веймара. Вдруг — по-безумному! начинаю верить. Мне хочется дать Вам одно обещание, даю его безмолвно. — Буду присылать Вам стихи и все, что у меня будет в жизни. <...>. Мой Пастернак, я, может быть, вправду когда-нибудь сделаюсь большим поэтом, — благодаря Вам! Ведь мне нужно сказать Вам безмерное: разворотить грудь! В беседе это делается путем молчания. А у меня ведь только перо! ...Господи, все дни моей жизни принадлежат Вам! Как все мои стихи... Последние слова: будьте живы, больше мне ничего не нужно...»

Восемнадцатое марта Цветаева проведет на своей «богемской горе», мысленно провожая и расставаясь. Надо знать силу этого ее «мысленно», чтобы понять: и вплотную, в живейшей реальности, расставание не могло быть пережито сильнее.

Зима 1923 года в Мокропсах была почти бесснежной, похожей скорее на прохладное северное лето. Уже в феврале запахло весной, набухли

вербы, зазвенели от дождей ручьи. Казалось, еще немного — и станет совсем тепло. А тепло пришло только в июне, когда дожди успели уже надоесть: с конца марта они лили чуть не ежедневно — весь апрель и май.

Но 18 марта стоял чистый, прозрачный весенний день. Цветаева провела его в одиночестве. Накануне было написано первое стихотворение из тех десяти, которые составят позже цикл «Провода», целиком посвященный

Пастернаку. Теперь, в самый день его отъезда, создано второе. В нем — вся сумятица чувств, душевная буря, с трудом облекающаяся в слова:

Чтоб высказать тебе... Да нет, в ряды  
И в рифмы сдавленные... Сердце — шире!  
Боюсь, что мало для такой беды  
Всего Расина и всего Шекспира!



С дочерью Алей в Мокропсах

Не хватает слов, тесна стихотворная строка, горловой спазм мешает внятно договаривать до конца фразы: Цветаева стремится отлить в поэтическую форму *саму стихию* сердечного



волнения. Горечь, жалоба, пронзительное чувство утраты переданы в обрывочных строках и словах. Только в последней строфе стихотворения эмоциональный накал разряжается в протяжном плаче, облегчающем трагедийное напряжение. Страдание обретает внятные слова:

О, по каким морям и городам  
Тебя искать? (Незримого — незрячей!)  
Я проводы вверяю проводам,  
И в телеграфный столб упершись — плачу.

А в Берлине, на вокзале Шарлоттенбург, Пастернаку, уже стоявшему на подножке вагона, Роман Гуль вручил прощальный цветаевский подарок: книгу Эккермана «Беседы с Гете». И еще в кармане Пастернака лежал конверт со стихами Марины: по ее условию, он мог прочесть их только в дороге.

Пройдет три года. Свидание в Веймаре тоже не состоится. Но, уже живя во Франции, Цветаева вспоминала этот свой день, 18 марта, почти с ужасом: «О, Борис, это страшно, — помнишь 1923 год, март, гору, строки:

Не надо Орфею сходить к Эвридике  
И братьям тревожить сестер...»

«Борис, это страшно...» Какой же была эта боль, если она так жжет сердце даже при воспоминании!

Год, мирно начавшийся в тихой горной деревушке, не принес Цветаевой покоя. Он стал годом бурных душевных потрясений, не раз выводивших ее на хрупкий край отчаяния. Иному человеку

с лихвой хватило бы на несколько лет того концентрата эмоций и размышлений, который зафиксировали для нас цветаевские стихи и письма этого года. Вся весна будет заполнена стихами к Пастернаку, тоской разминовения. Летом вспыхнет еще одна переписка, с другим корреспондентом, — она принесет Марине удар, тяжело пережитый в августе. А в осенние месяцы непредсказуемо и неодолимо, как стихия, врывается в ее жизнь большое чувство — уже не к дальнему, а к тому, кто оказался совсем рядом. Имя стихии на этот раз — Константин Родзевич.

Какой простор для моралиста! Кажется, перед нами — сплошная лихорадка сердечных бурь, а вовсе не семейная идиллия, какую рисует нам дочь поэта в своих воспоминаниях... И все это — рядом с мужем, о судьбе которого так болело сердце Цветаевой все годы разлуки? Какое искушение — порассуждать о «подлинных» и «выдуманных» страстях и вынести бескомпромиссное суждение! Но измеритель качества сердечных эмоций еще не изобретен, и тот, кто берется не предположительно, а категорически судить в этой тонкой сфере, обнаруживает лишь свою природу души и сердца, не более.

Не будем торопиться с оценками. Проследим лучше за успехами цветаевской поэзии в этом году. И тогда выяснится, что русская лирика бесконечно обязана легко загорающемуся, легко обольщающемуся, незащищенному сердцу Марины Цветаевой.

Утрата душевного равновесия в феврале провалилась настоящим поэтическим потоком, который в весенние месяцы соревнуется с изобилием чеш-

ских дождей и ручьев. Среди прекрасных стихов, созданных в феврале — мае: циклы «Провода», «Федра», «Поэт», стихотворения «Эвридика», «Душа».

Новый взрыв боли в августе — и еще четырнадцать шедевров, в их числе: «Письмо», «Час души», «Минута», «Раковина»... Наконец, последний взрыв осенью — и, помимо лирики, еще до середины следующего года выплескивается волна, оставившая нам «Поэму Горы» и «Поэму Конца» — жемчужины в поэтическом наследии Цветаевой.

## 3

Со стороны, не вглядываясь в жизненные конкретности, — лихорадка, безумие. А вблизи? В глазах дочери, как мы видели, — семейная идиллия. В глазах мужа, вплоть до осени, будни Марины — труженический подвиг, почти послушание. (Эфрон — Волошину, 10 мая 1923 года: «Марина проводит дни как отшельник. Очень много работает, часами бродит одна в лесу, бормоча...») В глазах тех, кто следит за литературными новостями, — это год обильных цветаевских публикаций и пристального внимания критики к ее творчеству: ни одна из публикаций не остается без отклика, почти всегда благожелательного. В Берлине, еще до отъезда Пастернака в Россию, вышел сборник «Ремесло». В мае появился другой — «Психея». В «Современных записках» опубликована пьеса «Фортуна», в «Воле России» — другая: «Приключение». А кроме того, стихи — в журналах, многочисленных сборниках, антологиях, альманахах. И в газетах — не только в Берлине, но и в

Париже, в Варшаве, в Риге и даже в Галлиполи, в Турции, где еще оставалось немало русских.

Публикации Цветаеву радуют, а вот критические отклики, как правило, раздражают. Потому что хвалят поверхностно, мимо, не за то. «Хваля меня,— пишет Цветаева в одном из писем,— хвалят не меня, а Любовь Столицу. Если бы я знала ее адрес, я бы отослала ей все эти вырезки. Это не я».

Только один «критический» голос выделяется среди других безукоризненной настроенностью именно на цветаевскую волну. Это голос Александра Бахраха. Его отклики появились в берлинской русской газете «Дни». Один из немногих, он с восхищением принял не только цветаевские стихи, но и эссе «Световой ливень», мало кому понравившееся. Еще в конце апреля, прочитав рецензию на свое «Ремесло», Цветаева начала писать ему письмо. Но дописала, когда появился в «Днях» его же отклик на «Психею».

«Я не знаю, принято ли отвечать критику иначе, как колкостями — и в печати. Но поэты не только не подчиняются обрядам — они творят их! Позвольте же мне нынче, в этом письме, утвердить обряд благодарности: критику — поэта <...>. У вас редчайший подход — между фотографией (всегда лживой) и отвлеченностью. Вы берете то среднее, что и составляет сущность поэта: некую преображенную правду дней...»

Летом, в Берлине, они наверняка проходили мимо друг друга на литературных вечерах, но не познакомились. И только теперь из ответного письма Цветаева узнает, что критику всего двадцать лет! Это, однако, не смущает ее, скорее нао-

борот — воодушевляет. Значит, можно говорить свободнее, опекать, помогать росту. Интонации нежной опеки звучали и в письмах «Геликону» летом 1922 года; спустя годы они же звучат в письмах Гронскому, Штейгеру; их нет только в цветаевской переписке с Пастернаком и Рильке. Из разочарований и боли родится позже горькая и парадоксальная цветаевская формула: «дать можно только богатому, помочь — только сильному». Но и обретение формулы не научит ее осмотрительности: слишком легко она предполагает и богатство, и силу чуть ли не в первом встречном...

Писем Бахраха мы не знаем, но Цветаеву они подкупают тонкостью реакций. «Ваш голос молод, — читаем мы во втором письме, отправленном в Берлин, — это меня умиляет и сразу делает тысячелетней, — какое-то каменное материнство, материнство скалы... Продолжайте писать ко мне и памятуйте одно — я ничего не присваиваю <...>. В Вашем письме я вижу не Вас ко мне, а Вас к себе. Я случайный слушатель, не скрою, что благодарный. Будемте так: продолжайте думать вслух, я — хорошие уши, но этими ушами не смущайтесь и с ними не считайтесь. Пусть буду для Вас тем вздохом (или тем поводом к вздоху!) — единственным выходом для всех наших безысходностей...»

Это важные строки для понимания особенностей цветаевского эпистолярного жанра вообще. И для верного прочтения ее писем, потому что стилистика их не слишком привычна. В сущности, «думанье вслух», с пером в руке — ее собственное любимейшее занятие, ее «час души» — перед

лицом дорогого собеседника. «Думанье», порой как будто совсем забывающее про слушающие уши («ушами не смущайтесь и с ними не считайтесь»); но нет, «другой» ей необходим как катализатор, повод для духовной работы, которая свершается в ней непрестанно. Ибо вся Цветаева — непрестанное движение, развитие и *самосозидание*, не останавливающееся ни на минуту. При всех ее доминантах она в любой момент готова отказаться от «вчерашних правд», если сегодня их перерастает. Письма — лаборатория ее роста, и того же она хочет для своего корреспондента.

Проницательный ум в Цветаевой отмечают все, кто с ней сталкивался в жизни, — не говоря уж о том, что само творчество ее не позволяет в этом усомниться. Но куда девается ее проницательность, когда хоть немного взволновано сердце? Ей так нужен слушатель, что она постоянно грешит простительнейшим из грехов: переоценкой своего собеседника. Ей достаточно малого — любви человека к стихам, например, или любви к природе, чтобы тут же достроить образ по высшему образцу. И в случае с Бахрахом она даже не предчувствует, что расставляет силки прежде всего собственному непредсказуемому сердцу, ибо только Пастернак, а позже Рильке способны были радоваться, не пугаясь, безоглядному потоку ее размышлений обо всем, что придет в голову...

Но Пастернак далеко. Прямой связи с ним нет. Для каждого письма нужно искать верную оказию, не всякая еще и годится. Сквозь все помехи и расстояния Цветаева лелеет их заочную связанность, отлично знает, что пастернаковского слуха ей никто не заменит. Но между их письмами про-

ходит полгода, иногда и больше! А «отвод души» в лирику, как она сама признается, не дает полной внутренней разрядки — нерастраченным, невыраженным остается столь многое! Только в 30-е годы Цветаева найдет безотказную отдушину для думанья с пером в руке: лирическую прозу. А пока — ее хватило бы и на десять корреспондентов, так велика, так неисчерпаема ее потребность: думать, сомневаться, искать, осмыслять — перед лицом друга.

Вот почему обрадовал ее юный, чистый голос Бахраха. Июньские и июльские письма к нему легки, свободны, светло приподняты. Она щедро дарит свой мир: «Я хочу, чтобы Вы росли большой и чудный и, забыв *меня*, никогда не расставались с тем — иным — *моим* миром!

Ясно ли Вам? Ведь это наугад, но иногда наугад — в упор! Если Вы мне ответите: я не большой и не чудный и никогда не буду большой и чудный — я Вам поверю.

...Я хочу от Вас чуда. Чуда доверия, чуда понимания, чуда отрешения. Я хочу, чтобы Вы в свои двадцать лет были семидесятилетним стариком — и одновременно семилетним мальчиком, я не хочу возраста, счета, борьбы, барьеров.

Я не знаю, кто Вы, и ничего не знаю о Вашей жизни, я с Вами совершенно свободна, я говорю с духом.

Друг, это величайший соблазн, мало кто его выдерживает. Суметь не отнести на свой *личный* счет то, что направлено на Ваш счет — вечный. Не заподозрить — ни в чем, не внести *быта*. Имейте мужество взять то, что так дается. Войти в этот мир — вслепую...» Это в письме 14—15 июля. Из

письма 20 июля: «Мне важно, чтобы любили не меня, а мое «я», ведь это включается в мое. Так мне надежнее, просторнее, вечнее...» 25 июля: «Любите *мир* — во мне, не *меня* — в мире. Чтобы «Марина» значило: мир, а не мир — «Марина». «Марина», это — пока — спасательный круг. Когда-нибудь отдерну — плывите! Я, живая, не должна стоять между человеком и стихией...»

Что и говорить, испытание юному Бахраху предстояло нелегкое: цветаевский ураган нежнейшего опекуинства куда легче было принять за женскую причуду любви, прячущейся за словами о «неприсвоении», о «вечном», а не личном, о некоем мире, в который надо войти вслепую...

Этого испытания Бахрах не выдержал. Тем более что уже в июльских письмах речь зашла о приезде Цветаевой в Берлин и о вполне реальной встрече. Но, кроме того, и сами темы, которые непредсказуемо возникли в письме 25 июля, могли повергнуть в столбняк не только столь молодого корреспондента. По своему обыкновению, едва пожелав «чуда доверия», Цветаева, со своей стороны, лавиной обрушила на слабые плечи Бахраха доверие собственное. С никогда не виденным двадцатилетним юношей она говорит безоглядно, как сама с собой, поверяя сокровенные мысли и наблюдения. Откуда же ему было знать, что целый пассаж о «близкой любви», о душе и теле, например, отношения к нему, Бахраху, не имеет? Что это лишь импровизированный выплеск наболевшего и никем еще не выслушанного — а он здесь только «уши», только собеседник, помогающий додумать нечто, что давно беспокоило. Додумать, сформулировать — и тем самым освободиться — для



следующей ступени роста. «Дружочек, — пишет она в том же письме, — я подарю Вам все свои дохлые шкуры, целую сокровищницу дохлых шкур, — а сама, молодая и зеленая, в новой шкуре, как ни в чем не бывало...»

Она стремительно сокращает дистанцию, еще не запасшись никаким знанием о своем корреспонденте — *вместит ли*. И очередным образом обнаруживает свою «безмерность» — на сей раз в виде нечувствительности к тем тонким граням человеческих отношений, пренебрежение которыми мстит за себя. Почти всегда.

Но Бахрах, ошеломленный, умолкает. На целый месяц. Причиной, впрочем, был не только, а может быть, и не столько шок, сколько увлечение юной поэтессой, с которой назначена встреча на балтийском побережье, — спустя полвека Бахрах сам рассказал об этом в воспоминаниях. А тогда ему не пришло в голову, что увлечение поэтессой несколько не мешает письменному «роману» с Цветаевой, что это — из разных пластов жизни. Бахрах умел вчитываться в цветаевские стихи, но не в цветаевские письма. «Я ничего не присваиваю...» — писала Марина. Он прочел, но не услышал — или не поверил. Во всяком случае — замолк...

День идет за днем, неделя за неделей. Все возможные причины молчания Цветаева тщательно обдумала, взвесила и отклонила. Остался голый факт — очередной утраты. И несомненность пронзительной сердечной боли.

Какие стихи высекает эта боль из цветаевской музыки! «Раковина», «Минута», «Наука Фомы», «Письмо»...

Так писем не ждут,  
Так ждут — письма.  
Тряпичный лоскут,  
Вокруг тесьма  
Из клея. Внутри — словцо.  
И счастье. И это — все.

Так счастья не ждут,  
Так ждут — конца:  
Солдатский салют  
И в грудь — свинца  
Три дольки. В глазах красно.  
И только. И это — все.

Не счастья — стара!  
Цвет — ветер сдул!  
Квадрата двора  
И черных дул.

(Квадрата письма:  
Чернил и чар!)  
Для смертного сна  
Никто не стар!

Квадрата письма.

Не в силах сразу расстаться с иллюзией обретенной дружбы, Цветаева ведет записи — дневник ожидания, который назовет позже «Бюллетенем болезни». Получив, наконец, в конце августа письмо Бахраха, она отошлет ему «Бюллетень». «Станьте на секунду мной,— пишет она 27 августа,— и поймите, ни строки, ни слова, целый месяц, день за днем, час за часом. Не подозревайте меня в бедности: я друзьями *богата*, у меня прекрасные связи с душами, но что мне было делать, когда из всех на свете в данный час души мне нужны были — только Вы?! О, это случается: собеседник замолк (задумался). Я не приходно-

расходная книга и, уверенная в человеке, разрешаю ему *все*. Моя главная забота всегда: живы ли? Жив? Значит, мой!..

Вначале это был сплошной оправдательный акт: невинен, невинен, невинен, это злое чудо, знаю, ручаюсь, верю! Это жизнь искушает. Дождусь. Дождусь! Завтра! — Но завтра приходило, письма не было, и еще завтра, и еще, и еще. Я получала чудные письма от друзей, давно молчавших, и совсем от чужих (почти), все точно сговорились, чтобы утешить меня, воздать мне за Вас, — да, я читала письма и радовалась, я отзывалась, но что-то во мне щемило, и ныло, и выло, и разъярялось, и росло, настоящий нож в сердце, не стихавший даже во сне. Две недели прошло, у меня появилась горечь, я бралась руками за голову и спрашивала: ЗА ЧТО? Ну, любите магазинную или литературную барышню, я-то что сделала? <...> Друг, я не маленькая девочка (хотя в чем-то никогда не вырасту), жгла, обжигалась, горела, страдала — все было — но ТАК разбиваться, как я разбилась о Вас, — всем размахом доверия о стену — никогда. Я оборвалась с Вас, как с горы...»

В «Бюллетене» — множество важных признаний, еще и еще раз пытающихся помочь пониманию. «Когда люди, сталкиваясь со мной на час, ужасаются теми размерами чувств, которые они во мне возбуждают, они делают тройную ошибку: не они — не во мне — не размеры. Просто безмерность, встающая на пути. И, м. б., они правы в одном только: в чувстве *ужаса*». «Просьба: не относитесь ко мне как к человеку. Ну — как к дереву, которое шумит Вам навстречу. Вы же дерево не будете упрекать в «избытке» чувств...»

«Вы были моим руслом, моей формой, необходимыми мне тисками. И еще — моим деревцем! Душа и Молодость. Некая встреча двух абсолютов. (Разве я Вас считала человеком?) Я думала — Вы — молодость, стихия, могущая вместить меня — мою! Я за сто верст». «Милый друг, мое буйство не словесное, но и не действенное: страсти *души*, совсем иные остальных. В жизни — в комнате — я тиха, воспитанна, взглядом и голосом еле касаюсь — и никогда первая не беру руки. С человеком я то, чем он меня видит, чтобы иметь меня настоящую, нужно *видеть* настоящую, душ во мне слишком много...»

Но вовсе не только Бахрах оказался глух к этим терпеливым разъяснениям. Природа цветаевской безмерности осталась за семью печатями и для многих из тех, кто нынче ее читает — и судит. «Страсти души совсем иные остальных...» В самом деле, может быть, не слишком внятно, если не поставить эти слова в ряд с другими цветаевскими высказываниями, варьирующими ту же мысль. Многократно и упорно она говорит (в стихах, в письмах, прозе) об особой — высшей в ее глазах — любви, о той, которая, как писала она Бахраху, так естественна для детей, стариков — и поэтов. Любовь — как бескорыстная потребность души, любовь, нуждающаяся в немногом: Живи! Будь! И говори со мной изредка; доверься мне и позволь мне довериться тебе с моими думами и тревогами. Большого не нужно...

Напряжение тоски, вызванной молчанием Бахраха, к концу августа спадает. Последняя запись в «Бюллетене» сделана 25 августа: «Я устала думать о Вас: в Вас: к Вам. Я перед Вами ни в чем не

виновата, зла Вам не сделала ни делом, ни помыслом. Обычная история... На днях уезжаю <...>. Оставляю Вас здесь, в лесах, в дождях, в глине, на заборных кольцах, — одного со здешними заживо ощипаннми гусями...»

В этих заживо ощипанных гусях горечь, кажется, уже готова перейти в усмешку...

А через день приходит долгожданное письмо. Цветаева тут же откликается, отчуждения как не бывало. Но тональность ее писем в последующие недели иная, чем прежде. Болевое переживание утраты заставило осознать, насколько она сама сердечно вовлеклась в отношения, начавшиеся так радостно. Не случилось этого месячного молчания (в ответ на предельную душевную открытость), и переписка с Бахрахом скорее всего осталась бы в пределах нежного дружеского опекуинства. Но после августовского отвержения ей нужно большее, чем раньше: «Я сейчас Фома Неверный, этот последний месяц подшиб мне крыло, чувствую, как оно тащится... Убедите меня в моей необходимости — роскошью быть я устала! Не необходима — не нужна, вот как у меня... Я сейчас на внутреннем (да и на внешнем) распутье: год жизни — в лесу, со стихами, с деревьями, без людей — кончен. Я накануне большого нового города, — может быть, — большого нового горя? — и большой новой жизни в нем, накануне новой себя. Мне мерещится большая вещь, влекусь к ней уже давно, для нее мне нужен покой, т. е. весь человек — или моя обычная пустота». И через несколько дней: «Дайте мне покой и радость, дайте мне быть счастливой! Вы увидите, как я это умею...»

## 4

Весь август Цветаева запоем читает огромный немедкий том по античной мифологии и особенно внимательно — историю Троянской войны. Зреет замысел трагедии «Тезей». В который раз на помощь уязвленному сердцу приходит (так сама Цветаева это называет) *le devin orgueil* — божественная гордость: знание своего высшего предназначения. Еще в 1918-м написана строфа:

Умирая, не скажу: *была*.

И не жаль, и не ищу виновных.

Есть на свете поважней дела

Страстных бурь и подвигов любовных...

В «Тезее» — вариация этой же темы: Тезей оставляет возлюбленную на острове Наксос, освобождая ее от земных привязанностей ради высшей ее судьбы. Ибо Ариадну избрал небожитель — Вакх... Образ покинутой Тезеем Ариадны возник в цветаевских стихах еще в марте 1923 года — в цикле, обращенном к Пастернаку. Теперь, в августовские мучительные недели, этот образ снова притягивает Марину. Позже, в осенние месяцы в Праге, она будет просиживать долгие часы в библиотеке, читая и разрабатывая подробный план трагедии. Она представляет себе ее поначалу даже трилогией под названием «Гнев Афродиты»...

Этим летом 1923 года под нажимом Эфрона на семейном совете было принято решение: с осени определить одиннадцатилетнюю Алю в русскую гимназию, открывшуюся год назад в Моравии, в маленьком городке почти на границе с Германией. От своего бывшего однополчанина и друга Богенгардта, служившего в гимназии воспитателем, Сергей Яковлевич знал, что там собраны

отличные педагоги. Цветаева с неохотой подчинилась желанию мужа — домашнее воспитание ей всегда казалось несравненно более полезным для развития личности в ребенке. Все лето Аля усиленно готовилась: с отцом занималась арифметикой, с матерью — русской грамматикой. Тогда же было принято и второе решение: снять на зиму комнату в Праге, чтобы Цветаевой не оставаться одной в Мокропсах; да и для Эфрона поездки в город и обратно были тяжелы. Вскоре удалось найти сравнительно недорогое жилье, и переезд в Прагу был назначен на 1 сентября.

А между тем в августовских записях и письмах появилось новое лицо, названное «один мой приятель». С ним — то вдвоем, то троим (с Алей) — Марина ходит в горы. «Так дети дружат, — пишет она, — вернее, мальчики: ради совместных приключений, почти бездушно. Он называет мне все травы и все дурманы и кормит меня вишневым клеем, и орехами, и просто волчьими ягодами». Кто это? По времени уже мог бы быть Родзевич, хотя сбивают с толку эпитеты «тихий», «робкий»: к Родзевичу они, кажется, мало подходят. Может быть, это еще один русский студент — Андрей Оболенский, названный Цветаевой в надписи ему на сборнике «Разлука» — «утешителем и утишителем»? Так или иначе, именно в это время начинается жизненный «подстрочник» «Поэмы Горы». Исток его проследить не удастся. Но очень вероятно, что с рождающимся новым чувством уже связаны такие стихи, как «Клинок», цикл «Магдалина» и «С этой горы, как с крыши мира...».

Последняя драма этого года, непохожая на



Горные Мокропсы, 1923 г. Стоят: С. Я. Эфрон, Н. А. Еленев.  
Сидят: М. И. Цветаева, Е. К. Еленева и К. Б. Родзевич

предыдущие, подкрадывается коварно. Поначалу у нее лик «странной дружбы», возникающей на общем пристрастии к долгим прогулкам, ночным кострам и встрече рассвета в горах. 28 августа втроем с Алей они проходят 27 километров! В письме к Бахраху: «Скалы, овраги, обвалы, обломки — не то разрушенные храмы, не то разбойничьи пещеры, все это заплетено ежевикой и задушено огромными папоротниками, я стояла на всех отвесах, сидела на всех деревьях, вернулась изодранная, голодная, просквоженная насквозь ветром — уходила свою тоску!»

В этот же вечер, по возвращении, у нее еще хватает сил, уложив Алю, собрать в два огромных чемодана вещи, ибо наутро, чуть свет, они едут в



Прагу. Оттуда вместе с другими русскими детьми Аля отправится в Моравску Тшебову к началу учебного года.

И вот вещи уложены. Вместе со спутником Марина спускается к колодцу за водой, гремя в ночной тишине пустыми ведрами. Стоит мягкая, теплая лунная ночь — и на обратном пути в полных ведрах отражается огромная круглая луна... Мгновение прекрасного затишья — перед бурей, которая уже стоит при дверях...

Эфрон уехал немного раньше — готовить приезд дочери в гимназический интернат. Ему на смену в Тшебову 7 сентября поедет Цветаева — помочь Але войти в непривычную для нее гимназическую жизнь. А пока Марина оказалась одна в Праге, на новом месте. Здесь ей поначалу очень нравится: дом стоит на южном склоне Петршина холма; и в комнате Эфронов, на верхнем этаже, «огромное окно на весь город, на все небо, улицы — с лестницами, даль, поезда, туман...». Еще за три дня до окончательного переезда тут были написаны стихи:

Как бы дым твоих ни горек  
Труб, глотать его — все нега!  
Оттого, что ночью — город —  
Опрокинутое небо.

Как бы дел твоих презренных  
День ни гол, — в ночи ты — шах!  
Звезды страсть свела — на землю!  
Картою созвездий — прах...

Так начался второй период чешской жизни Цветаевой — девять месяцев в Праге, с сентября 1923 по май 1924-го.



Прага, улица Шведска, № 1373

Седьмого сентября Марина уехала к дочери. Маленький старинный городок, окруженный живописными грядами гор. Дома, украшенные лепниной, огромный старинный костел, маленькая ратуша, посреди площади — фонтан в стиле пышного барокко. Люди неторопливы и вежливы, сплошные поклоны и приседания. Цветаева живет в комнатке вдовы часовщика, засыпает под тиканье восьми часов сразу, нежится, окруженная благоговением хозяйки, узнавшей, что ее гостья. — поэтесса. День проходит в гимназическом лагере — его называют здесь «табор», он занимает обширную территорию с длинными белыми бараками, выстроенными еще русскими военнопленными. Але, как оказывается, помогать не нужно — она уже

вжилась в новую обстановку и счастлива. Никакой стеснительности и дикарства — как будто и не впервые она в 11 лет оказалась в огромном ребячем коллективе. Наблюдая за дочерью, красивой, находчивой, легкой в общении, Цветаева не находит в ней своих черт — как не будет находить их потом и в характере сына. Аля, кажется, ни в ком не нуждается и уже поэтому, даст Бог, проживет свою жизнь счастливее; так хочется думать матери, глотающей воздух горечи: многие годы Аля была родной душой, почти эхом Марины. Теперь она меняется на глазах...

По утрам Цветаева слушает орган в костеле, вечерами — всенощную в русской церкви, где чудесно поют. Она дома во всех храмах, потому что, как она формулирует, храм — дом души, и больше всего он нравится ей днем — пустой, с косым столбом солнечного света.

О чем думает она здесь, оставшись наедине с собой и небом, внезапно вырванная из обыденного течения дней?

Резким, неожиданным контрастом звучат строки письма, написанного 10 сентября из Моравской Тшебовы тому же Бахраху. Поздним вечером, вернувшись со всенощной, она записывает: «Воздух, которым я дышу, — воздух трагедии... У меня сейчас определенное чувство кануна — или конца. (Что может быть — то же!) Погодите отвечать, здесь ответов не нужно, ответ будет потом, когда я, взорвав все мосты, попрошу у Вас силы взорвать последний. <...> Хватит ли у Вас силы долюбить меня до конца, т. е. в час, когда я скажу: «Мне надо умереть», из всей чистоты Вашего десятилетия сказать: «Да». Ведь я

не для жизни. У меня все — пожар! <...> Мне БОЛЬНО, понимаете? Я ободранный человек, а вы все в броне...»

Этот новый взрыв отчаяния кажется ничем не подготовленным. Всего несколько дней назад — умиротворенный вечер с полной луной в полных ведрах и сладкой усталостью от прекрасной прогулки, долгожданное письмо Бахраха, радость от нового «дома на горе». Что же случилось? «Взрывав все мосты, попрошу у Вас силы взорвать последний...» Как читать это иначе, чем просьбу о последнем акте преданности: помочь уйти из жизни? В этом письме, отправленном Бахраху, единственно поясняющими могут быть только совсем глухие строки: «Кроме внутренних подводных течений есть еще: стечения... хотя бы обстоятельств, просто события жизни, которые не предугадаешь...»

Мало что понятно. Но ситуация прояснится, когда мы прочтем стихи, написанные в Моравской Тшебове. Цветаева уехала сюда с твердым намерением не работать, ничего не писать — и не удержалась. Здесь созданы два стихотворения цикла «Овраг» (10 и 11 сентября), «Ахилл на валу» (13-го) и «Последний моряк» (15-го, накануне возвращения в Прагу).

Никогда не узнаешь, что жгу, что трачу  
— Сердце перебой!—

На груди твоей нежной, пустой, горячей,  
Гордец дорогой.

Никогда не узнаешь, каких не-наших

Бурь — следы сцеловал!

Не гора, не овраг, не стена, не насыпь:

Душа перевал...

В этом бешеном беге деревьев бессонных

Кто-то насмерть разбит...

Что победа твоя — поражение сонмов,

Знаешь, юный Давид?

Стечение обстоятельств, «события жизни, которых не предугадаешь»... Видимо, все это случилось в ту самую первую неделю сентября в Праге, когда Цветаева осталась одна, без мужа и дочери. И трагические записи 10 сентября — осознание этих «обстоятельств», выхода из которых нет, выход один — не жить.

В Прагу она возвращается 17 сентября. А уже через два дня, 20-го, в письме Бахраху — открытое признание в любви к другому, по имени он не назван, но теперь уже ясно, что речь идет о Родзевиче. И тут же — прежний мотив: «Я себя ужасаю, я не могу жить и любить здесь...»

Она не хочет ничего скрывать от Бахраха, хотя на расстоянии это было бы легко. Она пытается объяснить то, что говорила прежде: их связь не в «днях» и «часах», а в «просторах»; тепло не ушло, ушла только «болезнь», смута, вспыхнувшая было в дни молчания... То, что пришло теперь, — совсем другой природы...

Так начинается любовь — на этот раз вполне «живая» и «очная», внезапно ворвавшаяся в жизнь Цветаевой. Ее первые такты — трагедийны. С самого начала она замешена на глубочайшем страдании, радость вспыхивает только мгновениями. Нет сил совсем отречься от нее — и невозможно забыть о дорогом человеке, живущем рядом, под одной крышей. Еще в письме конца августа Марина писала: «Я ничего не умею, что умеют люди: ни лицемерить, ни скрывать (хранить — умею!), мое лицемерие — только вторая правда, если лицо равнодушное, не выдает — выдают голос и жест, а причинять малейшее страдание, хотя бы задевать другого — для меня мука».

В сентябре: «Никакая страсть не перекричит во мне справедливости. Plus fort que moi<sup>1</sup>. Отсюда все мои потери. Мужчины и женщины беспощадны, пощадны только души. Делать другому боль, нет, тысячу раз нет, лучше терпеть самой, хотя рождена — радоваться. Счастья на чужих костях — этого я не могу. Я не победитель...»

Письма, которые Цветаева в сентябре продолжает писать Бахраху, и еще стихи, и еще единственное известное нам письмо ее Родзевичу — вот все, чем мы располагаем. Но этого достаточно.

В каждом из стихотворений сентября — октября — стон боли, мысль о смерти, а если о любви, то о «любви-живодерне». Даже «Пражский рыцарь» — стихотворение о любимом Брунsvике, «стерегущем реку», — статуе рыцаря под Карловым мостом.



«Пражский рыцарь»  
у Карлова моста

<sup>1</sup> Это сильнее меня (фр.).

вым мостом в Праге, не столько о Брунsvике, сколько о Влтаве, притягивающей самоубийц. Начало:

Бледно — лицый  
Страж над плеском века —  
Рыцарь, рыцарь,  
Стережущий реку.

(О, найду ли в ней  
Мир от губ и рук?!)  
Ка-ра-ульный  
На посту разлук.

Клятвы, кольца...  
Да, но камнем в реку —  
Нас-то — сколько  
За четыре века!

В воду пропуск  
Вольный. Розам — цвeсть!  
Бросил — брошусь!  
Вот тебе и месть!

В других стихах появляются набережные, вокзал, мосты — внешние вехи нескончаемых «брожений» (как их называла Цветаева) с любимым. Но тональность по-прежнему безрадостна:

Темнейшее из ночных мест:  
Мост. — Устами в уста!  
Неужели же нам свой крест  
Тащить в дурные места,

Туда: в веселящий газ  
Глаз, газа... В платный Содом?  
На койку, где все — до нас!  
На койку, где не-вдвоем

Никто... Никнет ночник.  
Авось — совесть уснет!  
(Вернейшее из ночных  
Мест — смерти!)

Этот упорный мотив смерти, звучащий на протяжении всей осени, мы слышали уже в письме Бахраху из Моравии, и нет ни одного стихотворения сентября — октября, где бы он не присутствовал. А между тем это месяцы жаркой взаимной любви. И все же мысль о разрыве не покидает Цветаеву с самого начала, с «Оврага». Расстаться! Ибо это «счастье на чужих костях», ибо к «легкой любви» она непригодна, ибо не умеет скрывать — и не может открыться.

«Разлука висела в воздухе Верней, чем Дамоклов меч...» — эти две строки для будущей поэмы Цветаева запишет в своей октябрьской рабочей тетради, когда замысел будущего произведения впервые приходит ей в голову.

И все-таки счастливые минуты — были. Совсем другая тональность окрашивает письмо Марины Родзевичу, написанное 22 сентября. Когда будет открыт архив Цветаевой (в 2000 году), станут известны еще тридцать с лишним писем ему — правда, не все они относятся к этой осени.

Итак, письмо:

«Арлекин! — Так я Вас окликаю. Первый Арлекин за жизнь, в которой не счесть — Пьеро! Я в первый раз люблю счастливого, и, может быть, в первый раз ищу счастья, а не потери, хочу взять, а не дать, быть, а не пропасть! Я в Вас чувствую силу, этого со мной никогда не было. Силу любить не всю меня — хаос! — а лучшую меня, главную меня. Я никогда не давала человеку права выбора: или все — или ничего, но в этом все — как в первоизданном хаосе — столько, что немудрено, что человек пропадал в нем, терял себя и, в итоге, меня...



Вы сделали надо мной чудо, я в первый раз ощутила единство неба и земли. О, землю я и до Вас любила: деревья! Все любила, все любить умела, кроме другого, живого. Другой мне всегда мешал, это была стена, об которую я билась, я не умела с живыми! Отсюда сознание: не — женщина, дух! Не жить — умереть. Вокзал.

---

Милый друг. Вы вернули меня к жизни, в которой я столько раз пыталась и все-таки ни часу не сумела жить. Это была — чужая страна. О, я о Жизни говорю с заглавной буквы — не о той, петитом, которая нас сейчас разлучает! Я не о быте говорю, не о маленьких низостях и лицемериях, раньше я их ненавидела, теперь просто — не вижу, не хочу видеть. О, если бы Вы остались со мной, Вы бы научили меня жить — даже в простом смысле слова: я уже две дороги знаю в Праге! (На вокзал и в костел.) Друг, Вы поверили в меня, Вы сказали: «Вы все можете», и я, наверное, все могу. Вместо того, чтобы восхищаться моими земными недугами, Вы, отдавая полную дань иному во мне, сказали: «Ты еще живешь. Так нельзя», — и так действительно нельзя, потому что мое пресловутое «неумение жить» для меня — страдание. Другие поступали как эстеты: любовались, или как слабые: сочувствовали. Никто не пытался излечить. Обманывала моя сила в других мирах: сильный — там — слабый здесь. Люди поддерживали во мне мою раздвоенность. Это было жестоко. Нужно было или излечить — или убить. Вы меня просто *полюбили...*

---

...Люблю Ваши глаза... Люблю Ваши руки, тонкие и чуть — холодные в руке. Внезапность Вашего волнения, непредугаданность Вашей усмешки. О, как Вы глубоко-правдивы! Как Вы, при всей Вашей изысканности — просты! Игрок, учащий меня человечности. О, мы с Вами, быть может, оба не были людьми до встречи! Я сказала Вам: есть — Душа, Вы сказали мне: есть — Жизнь.

---

Все это, конечно, только начало. Я пишу Вам о своем хотении (решении) жить. Без Вас и вне Вас мне это не удастся. Жизнь я могу полюбить через Вас. Отпустите — опять уйду, только с еще большей горечью. Вы мой первый и последний ОПЛОТ (от сонмов!). Отойдете — ринутся! Сонмы, сны, крылатые кони... и не только от сонмов — оплот: от бессонниц моих, всегда кончающихся чьими-то губами на губах.

Вы — мое спасение и от смерти и от жизни. Вы — жизнь (Господи, прости меня за это счастье!).

---

Воскресенье — нет — уже понедельник! —  
3-й час утра.

Милый, ты сейчас идешь по большой дороге, один, под луной. Теперь ты понимаешь, почему я тебя остановила на: любовь — Бог. Ведь это же, точно этими же словами, я тебе писала вчера, перечти первую страницу письма.

Я тебя люблю. <...>

...Я не хочу воспоминаний, не хочу памяти, вспоминать то же, что забывать, руку свою не

помнят, она *есть*. *Будь!* Не отдавай меня без боя! Не отдавай меня ночи, фонарям, мостам, прохожим, всему, всем. Я тебе буду верна. Потому что я никакого другого не хочу, не могу (не захочу, не смогу). Потому что *то* мне даешь, что ты уже мне дал, как никто не дает, а меньшего я не хочу. Потому что ты один такой...»

В этом письме, написанном в глубокий час ночи, слышны лейтмотивы, с которыми Цветаева мучительно существует всю свою жизнь. Мучительно, потому что сердце ее не может смириться с тем, что знает ее разум о бренности людских надежд на счастье. Сосуществуя, соприкасаясь, недоверие к жизни и страстная тоска о любви и любимом постоянно высекают искры... Их вбирает в себя трагедийная цветаевская лирика.

Тут проще всего сказать: «романтик». Записать все в традицию романтизма — и считать вопрос исчерпанным. Но не слишком ли просто? Ибо когда сегодня произносят слово «романтик» — забыто прежнее его высокое значение и в тоне явственно сквозит покровительственное снисхождение. Снисхождение к человеку, чересчур доверившемуся книгам и искусству, *придумавшему* свой конфликт с реальной жизнью.

Безнадежное дело — пытаться оберечь, застраховать Цветаеву от кривотолков: в обыденное сознание и ее личность, и ее творчество, если их не приглаживать, вмещаются с трудом. Но соприкасаясь с такими вот «критическими моментами» живой биографии поэта, нельзя не почувствовать, из какой глубочайшей *болевой* глубины исходили ее поэтические гиперболы, метафоры и образы. Между тем суждения о нарочитости, преувеличен-

ности, «накрутке» цветаевских реакций звучали и, наверное, будут звучать всегда, — безошибочно маркируя людей, природно устроенных совсем по другому «рецепту». Больше всего изумляет при этом неколебимое чувство превосходства, отличающее убежденных сторонников «гармонического начала». Встречаясь с миром реакций, им не свойственных, они, не сомневаясь, относят их к искусственным и придуманным. Кажется, впустую прошло мимо этих самоуверенных судей все искусство XX века, столь резко обернувшееся к осмыслению и воплощению дисгармоничного и «стихийного» в самой природе мира и человека.

Отлично сознавая собственный разлад с обыденной реальностью, Цветаева настойчиво вглядывалась в его истоки. И это одна из причин ее упорного возвращения к характеристике «странной особи человеческой» — поэта, живущего с обнаженным сердцем и не умеющего, как правило, легко справиться с земным порядком вещей.

Пронзительнее всего эта тема зазвучит в «Пленном духе». Здесь уже не вызов, не жалоба, не декларация, как, скажем, в прекрасном поэтическом цикле чешского периода «Поэт», — а зримая и почти осязаемая достоверность живой фигуры Андрея Белого. Совершенно всерьез Цветаева задается вопросом (это проскальзывает и в нескольких ее письмах): да человек ли он в обычном значении этого слова?.. Но кто же тогда? Чистый дух, плененный в несовершенной оболочке человеческого тела, отвечает Цветаева. Невероятная *интенсивность духовного существования* как раз и мешает легкой адаптации Белого к миру практической ежедневности. Цветаева усматривает здесь

некую жестокую закономерность, проявление своеобразного закона природного равновесия — одно за счет другого, — но уж, конечно, не ущербность личности. Да, Белый бывает и смешон, и нелеп, и беспомощен в житейских ситуациях, его реакции кажутся «уравновешенному» человеку неадекватными. А между тем все это — оборотная сторона его дара, его реальнейшего проживания в другом, необыденном пласте действительности. «Не эгоист, а эгоцентрик боли, неизлечимой болезни — жизни», — вот с чем приходится ежечасно справляться поэту...

Так сказано об Андрее Белом. Но то же говорит Цветаева и о Блоке в самых ранних стихах о нем: «Думали — человек, И умереть заставили. Умер теперь. Навек. Плачьте о мертвом ангеле...» (1916). Ахматовой после смерти Блока: «Весь он — такое торжество духа, такой воочию — дух, что непонятно, как жизнь вообще — допустила...» К размышлениям о соотношении духа, поэта и человека Цветаева возвращается и в письмах к Рильке (1926). «Человек — то, на что мы обречены», — формулирует она здесь.

Еще Бодлер создал образ гордого альбатроса — птицы, прекрасной и сильной в полете и беспомощной, когда она оказывается на земле. Марк Слоним запомнил и сразу же записал слова Цветаевой, сказанные ему в Медоне в 1929 году с усмешкой и горечью: «Вот у Бодлера поэт — это альбатрос... Ну какой же я альбатрос. Просто ошипанная пичуга, замерзающая от холода; а вернее всего — потусторонний дух, случайно попавший на эту чуждую, страшную землю...»

Прислушаемся еще к интонациям письма к

«Арлекину». В нем Цветаева беззащитно раскрыта перед нами — и именно это вызывает к непредубежденному сердечному вниманию.

Мы привыкли слышать в ее поэзии и прозе уверенный и сильный, мужской уверенности и силы, голос; даже в трагических сюжетах он никогда не звучит расслабленной жалобой. И только в письмах тем, кому она безусловно, из глубины сердца, поверила, изредка повторяется пронзительно-женская просьба, высказываемая с робкой и вместе с тем страстной надеждой: «Будьте моим оплотом!..» Так Родзевичу, так Пастернаку, а вот письмо к Рильке летом 1926 года: «Позволь мне смотреть на тебя каждый миг моей жизни, как на гору, которая охраняет меня, словно каменный ангел-хранитель...»

Быть мужественной всегда, справляться в одиночку — каждый день! — со своей неприспособленностью к эмпирическому миру — ибо переложить не на кого, — не здесь ли живое зерно трагедийности земной судьбы Марины Цветаевой?

Но вернемся к жизненному сюжету осени 1923 года.

Радостный, уверенный, земной Константин Родзевич изумил и покориł Цветаеву напором страсти, решительным противостоянием и ее «сонмам», и ее пониманию собственных пределов и возможностей. Полюбив в ней живую земную женщину, он отказывался видеть ее такой, какой она сама себя привыкла видеть — «голой душой», способной существовать лишь в парении, лишь оттолкнувшись от плоти земли. Жизнелюбивый и энергичный, он назвал слабостью то, что она счи-

тала силой; восхитившись, он не подчинился ей. Не защищало ли его непонимание ее стихов?.. Он оставался собой. «Я сказала Вам: есть — Душа. Вы сказали мне: есть — Жизнь». С благодарностью и надеждой она услышала: «Вы все можете!» И на короткое время этой любви Психея забыла свою извечную вражду с Евой. Может быть, то был единственный случай в ее жизни, когда она в самом деле ощутила парящую высоту цельной земной любви, ее горние высоты:

Не обман — страсть, и не вымысел!  
И не лжет — только не дли!  
О когда бы в сей мир явились мы  
Простолюдинами любви!

«С ним я была бы счастлива, — писала Цветаева Бахраху вскоре после разрыва с Родзевичем. — Это первое такое расставание за жизнь, потому что, любя, захотел всего: жизни, простой совместной жизни, того, о чем никогда не догадывался никто из меня любивших. «Будь моей!» И мое: «Увы!»

«С ним я была бы счастлива...» В искренности Цветаевой сомневаться нет оснований. И все-таки будем помнить, когда сделано это признание: январь 1924 года. Боль «конца» в это время — кровоточащая рана. Когда жжет отчаяние, прежние сомнения не вспоминаются. Марина с головой ушла в «Поэму Горы»; едва закончив ее, она в тот же день начнет «Поэму Конца» — и излечится от непереносимой боли только в процессе создания этой второй поэмы.

Но то январь. А в сентябре — октябре, пока еще не вторглись внешние препятствия, нежность постоянно соседствовала с сомнениями, со вспы-

хивающим помимо воли недоверием; на смену вечернему и ночному приходили утренние прозрения — и они прорывались то в стихах, то в письмах к Бахраху: «Творчество и любовность несовместимы. Живешь или там, или здесь. Я слишком увлекаюсь...»

«Жить в другом — уничтожаться. Мне не жаль, я только этого и жажду, но... Поймите, что другой влечется к моему богатству, а я влекусь — через него — стать нищей. Он хочет во мне быть, я хочу в нем пропасть. Вообще я слишком страдаю...» Даже в нежнейшем письме к Родзевичу, заполненном почти бессвязными любовными словами, она не может умолчать о том, что в ней самой мощно противостоит нахлынувшей так внезапно стихии. И это вовсе не только мысль о муже. Больше всего на свете в эти недели она боится очнуться, боится, что чара рассеется и ей опять придется вернуться в свой мир, который сейчас, когда она так непривычно счастлива, кажется уже бесцветным. Не отдавай меня без боя! Не отдавай меня ночи, фонарям, прохожим, мостам, всему, всем. Вы мой первый и последний оплот от сонмов! Отойдете — опять ринутся! Сонмы, сны, крылатые кони... В том-то и дело, что для нее «земная» любовь к Родзевичу — наваждение, а сонмы и крылатые кони — привычный и родной мир. Очнуться для нее — значит вернуться к ним, а забыться — значит отдаться Жизни. Только забыв себя, Марина может ощутить свое единство с другими. С теми, кто умеет легко нести бремя земной ежедневности, перешагивая ее неустройства и радуясь вдруг выпадающим радостям.

Даже в самые безоблачные минуты этой осени



ей не отделаться от ощущения, что она играет не свою, навязанную ей роль. В письме Бахраху, написанном всего лишь через неделю после письма «Арлекину»: «Вы говорите: «Женщина». Да, есть во мне и это. Мало — слабо — налетами — отражением — отображением. Скорей тоска по — чем... Для любящего меня — женщина во мне — дар. Для любящего ее во мне — для меня неоплатный долг. Единственное напряжение, от которого устаю, и единственное обещание, которого я не держу. Дом моей нищеты. О, я совсем об определенном говорю, о любовной любви, в которой каждая встреча сильнее, цельнее и страстнее меня.

Может быть, этот текущий час и сделает надобной чудо — дай Бог, м. б., я действительно сделаюсь человеком, довоплощусь...»

Самое глубокое о Цветаевой мы всегда узнаем из ее стихов. И вот стихотворение, написанное в самый разгар этой любви:

Брожу — не дом же плотничать,  
Расположась на ростани!  
Так, вопреки полотнищам  
Пространств, треклятым простыням

Разлук, с минутным баловнем  
Крадясь ночными тайнами,  
Тебя над всеми ржавыми  
Фонарными кронштейнами —

Краем плаща... За стойками —  
Краем стекла... (Хоть краешком  
Стекла!) Мертвец настойчивый,  
В очах — зачем качаешься?

По набережным — клятв озноб,  
По загородам — рифм обвал.  
Сжимают ли — «я б жарче сгреб»,  
Внимают ли — «я б чище внял».

Все ты один, во всех местах,  
Во всех мастях, на всех мостах.  
Моиими вздохами — снастят!  
Моиими клятвами — мостят!

Такая власть над сбивчивым  
Числом у лиры любящей,  
Что на тебя, небывший мой,  
Оглядываюсь — в будущее!

Стихотворение написано 16 октября. И в октябре же Цветаева настойчиво просит Бахраха найти верную оказию к Пастернаку. «Борис Пастернак для меня святыня, это вся моя надежда, то небо за краем земли, то, чего еще не было, что будет...» Оказия вскоре появится, и стихотворение «Брожу...» будет переслано в Россию вместе с письмом. Как жаль, что у нас нет текста этого письма! Может быть, оно пролило бы свет на многое. В приведенном стихотворении речь идет не о Борисе Леонидовиче, а скорее всего о Блоке. Но самое удивительное то, что отблеск живых событий этой осени присутствует тут в совершенно неожиданном преломлении: герой будущих двух поэм назван всего-навсего «минутным баловнем»! Истинный же возлюбленный только мерещится: «краем плаща», мелькнувшим отражением...

Никакая страсть не способна пересилить в Цветаевой ее природу, не способна заглушить неподкупный голос, вдруг произносящий в неведомых пространствах души свое: «не тот».

Ее нельзя было «излечить» или «научить». Она не внушила себе, как хочется думать многим, своего «небожительства», она была небожителем и знала это о себе, как знают о своем даре медиумы или о своем уродстве калеки. Временами

и им, наверное, хочется пожить «как все», но увы! — их желания мало.

Несмотря на душевные бури, Цветаева продолжает работу над «Тезеем». Много лет спустя она так пояснит Юрию Иваску главный образ: «Ему не мало Ариадны, ему мало земной любви, над которой он знает большее, которой он сам больше, раз может ее перешагнуть». И еще: «Тезей перешагивает через земную — лежащую любовь, лежащего себя...» В октябре появится запись в рабочей тетради и к будущей «Поэме Конца»: «Он просит дома, а она может дать только душу...» Когда же, через несколько месяцев, вплотную начнется работа над поэмами, в центре окажется главный конфликт бурной и короткой любви этой осени. Он — не во внешних обстоятельствах. Это конфликт «горы» и «дома», конфликт, исток которого — в «разноприродности» любящих. Каждый из них не может жить, не погибнув, в «доме» другого, потому что «домá» их — в разных мирах.

## 5

К концу октября Эфрон случайно узнает о происходящем, видимо, из чужих уст. Вначале он не может поверить — ошибка, Марина не может лгать. Но все подтверждается, и Эфрон убит, раздавлен. В отчаянии и Цветаева, в двойном: боль за мужа, чувство бесконечной вины перед ним — и отчаяние от молниеносно приблизившегося конца любви.

Существует ее запись о том, что пока Сергей Яковлевич ничего не знал, она одна носила в себе чистую рану этой любви; с того же момента, как боль испытывает он, — это уже не рана, а язва,

сплошное терзание совести, с которым нельзя жить.

Оба не находят себе места, оба ощущают безнадежный тупик. Единственный, кому Эфрон находит силы сказать о случившемся, — Волошин. Как раз в самый момент семейной катастрофы от него приходит письмо с известием о смерти Пра — матери Волошина. Но только спустя примерно два месяца (исповедальное письмо Эфрона Волошину — без даты) Сергей Яковлевич в состоянии говорить о происшедшем.

«Дорогой мой Макс!

Твое прекрасное ласковое письмо получил уже давно и вот все это время никак не мог тебе ответить. Единственный человек, кому я мог бы сказать все, — конечно, Ты, но и Тебе говорить трудно. Трудно, ибо в этой области для меня сказанное становится свершившимся, и хоть у меня нет надежды никакой, простая человеческая слабость меня сдерживала. Сказанное требует от меня определенных действий и поступков, и здесь я теряюсь. И моя слабость и полная беспомощность и слепость М., жалость к ней, чувство безнадежного тупика, в к-ый она себя загнала, моя неспособность ей помочь решительно и резко, невозможность найти хороший исход — все ведет к стоянию на мертвой точке. Получилось так, что каждый выход из распутия может привести к гибели.

М. — человек страстей. Гораздо в большей мере, чем раньше — до моего отъезда. Отдаваться с головой своему урагану — для нее стало необходимо, воздухом ее жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас — неважно. Почти

всегда (теперь так же, как и раньше, вернее всегда) все строится на самообмане. Человек выдумывается, и ураган начался. Если ничтожество и ограниченность возбудителя урагана обнаруживаются скоро, М. предается ураганному же отчаянию. Состояние, при котором появление нового возбудителя облегчается. Что — неважно, важно как. Не сущность, не источник, а ритм, бешеный ритм.

Сегодня отчаяние, завтра восторг, любовь, отдавание себя с головой — и через день снова отчаяние.

И все это при зорком, холодном (пожалуй, даже вольтеровски-циничном) уме. Вчерашние возбудители сегодня остроумно и зло высмеиваются (почти всегда справедливо). Все заносится в книгу. Все спокойно, математически отливается в формулу. Громадная печь, для разогревания какой-нибудь необходимы дрова, дрова и дрова. Ненужная зола выбрасывается, качество дров не столь важно. Тяга пока хорошая — все обращается в пламя. Дрова похуже — скорее сгорят, получше — дольше.

Нечего и говорить, что я на растопку не годюсь уж давно. Когда я приехал встретить М. в Берлине, уже тогда почувствовал сразу, что М. я дать ничего не могу. Несколько дней до моего прибытия печь была растоплена не мной. На недолгое время. И потом все закрутилось снова и снова. Последний этап — для меня и для нее самый тяжелый — встреча с моим другом по Константинополю и Праге, человеком ей совершенно далеким, который долго ею был встречаем с насмешкой. Мой недельный отъезд послужил внешней причиной для начала нового урагана. Узнал я случай-

но. Хотя об этом были осведомлены ею в письмах ее друзья.

Нужно было каким-то образом покончить с совместной нелепой жизнью, напитанной ложью, неумелой конспирацией и пр. и пр. ядами.

Я так и порешил. Сделал бы это раньше, но все боялся, что факты мною преувеличиваются, что М. мне лгать не может и т. д.

Последнее сделало явным и всю предыдущую вереницу встреч. О моем решении разъехаться я и сообщил М. Две недели она была в безумии. Рвалась от одного к другому (на это время она переехала к знакомым). Не спала ночей, похудела, впервые я видел ее в таком отчаянии. И наконец объявила мне, что уйти от меня не может, ибо сознание, что я нахожусь в одиночестве, не даст ей ни минуты не только счастья, но просто покоя. (Увы, — я знал, что это так и будет.) Быть твердым здесь — я мог бы, если бы М. попала к человеку, к-му я верил. Я же знал, что другой (маленький Казанова) через неделю М. бросит, а при Маринином состоянии это было бы равносильно смерти.



С. Я. Эфрон

М. рвется к смерти. Земля давно ушла из-под ее ног. Она об этом говорит непрерывно. Да если бы и не говорила, для меня это было бы очевидным. Она вернулась. Все ее мысли с другим. Отсутствие другого подогревает ее чувства. Я знаю, — она уверена, что лишилась своего счастья. Конечно, до очередной скорой (?) встречи. Сейчас живет стихами к нему. По отношению ко мне слепота абсолютная. Невозможность подойти, очень часто раздражение, почти злоба. Я одновременно и спасательный круг и жернов на шее. Освободить ее от жернова нельзя, не вырвав последней соломинки, за которую она держится.

Жизнь моя сплошная пытка. Я в тумане. Не знаю, на что решиться. Каждый последующий день хуже предыдущего. Тягостное одиночество вдвоем, непосредственное чувство жизни убивается жалостью и чувством ответственности. Каждый час я меняю свои решения. М. б., это просто слабость моя? Не знаю. Я слишком стар, чтобы быть жестоким, и слишком молод, чтобы, присутствуя, отсутствовать. Но мое сегодня — сплошное гниение. Я разбит до такой степени, что ото всего в жизни отвращаюсь, как тифозный. Какое-то медленное самоубийство. Что делать? Если бы ты мог издалека направить меня на верный путь!

Все это время я пытался, избегая резкости, подготовить М. и себя к предстоящему разрыву. Но как это сделать, когда М. изо всех сил старается над обратным. Она уверена, что, сейчас жертвенно отказавшись от своего счастья, — кует мое. Стараясь внешне сохранить форму совместной жизни, она думает меня удовлетворить этим. Если

бы ты знал, как это запутанно тяжело. Чувство свалившейся тяжести не оставляет меня ни на секунду. Все вокруг меня отравлено. Ни одного сильного желания — сплошная боль. Свалившаяся на мою голову потеря тем страшнее, что последние годы мои, которые прошли на твоих глазах, я жил, м. б., более всего Мариной. Я так сильно и прямолинейно, и незыблемо любил ее, что боялся лишь ее смерти. М. сделалась такой неотъемлемой частью меня, что сейчас, стараясь над разъединением наших путей, я испытываю чувство такой опустошенности, такой внутренней изодранности, что пытаюсь жить с зажмуренными глазами. Не чувствовать себя — м. б., единственное мое желание...»

Нельзя забывать, читая это письмо, в какую минуту оно написано. Формулировки здесь обострены до предела, все видится в черном свете. Может быть, спустя даже полгода Эфрон уже не повторил бы сказанного в такой крайней форме — об этом говорят хотя бы его дружеские отношения в 20-е и 30-е годы с Родзевичем, охарактеризованным в письме так непримиримо...

Отметим конкретные факты, приведенные в письме и важные для понимания Цветаевой, а также для понимания самой ситуации ее разрыва с Родзевичем. Итак, Эфрон узнает о романе в момент, когда этот роман еще в разгаре; Марина «мечется от одного к другому» — значит, существовало еще какое-то время «выбора». Эфрон полон решимости разорвать семейные узы, «нелепую совместную жизнь, напитанную ложью». И вместе с тем ему страшно за жену, он видит ее состояние, и, зная, что нить, связывающая ее с жизнью, слиш-



ком тонка, он боится непоправимой катастрофы.

Десятого ноября — запись в цветаевской рабочей тетради: об апатии ко всему, об отвращении к стихам и книгам. В том же ноябре вклинивается в события приезд в Прагу Горького, Ходасевича и Берберовой. Ходасевич, Берберова, Цветаева несколько раз видятся; иногда с ними Эфрон, иногда их общий приятель Роман Якобсон. Однажды встреча происходит в доме Эфронов, другие встречи — в отеле «Беранек» у Ходасевичей. Шестого декабря гости уезжают.

Эфроны не выносят, конечно, своей драмы на улицу; стоит сказать, что даже очень близкие к их семье люди (вроде Катерины Рейтлингер) ничего не знали об уходе Марины из дома. Впрочем, и о самом романе до поры до времени никто (или почти никто) не знал — вплоть до появления поэм в печати. Все это необходимо иметь в виду, сталкиваясь с уверенным и повторяющимся клише мемуаров, где Родзевич «бросает» Цветаеву...

Когда именно Эфрон все же решается сказать жене непримиримые слова? Какие они были? Что из того, что написано в письме Волошину, произнесено вслух?.. Ясно только, что Сергей Яковлевич дал Марине время немного прийти в себя. И может быть, только в декабре он решился сказать ей, что им лучше расстаться.

В рабочей тетради Цветаевой, где уже начата, отдельными строчками и строфами, «Поэма Горы», 12 декабря появляется еще одна запись. Не приводя ее текста, Ариадна Сергеевна Эфрон в своих воспоминаниях уверенно говорит, что это «запись о разрыве с Родзевичем».

И этим же числом — 12 декабря — помечено

стихотворение, известное теперь каждому, кто любит цветаевскую поэзию:

Ты, меня любивший фальшью  
Истины — и правдой лжи,  
Ты, меня любивший — дальше  
Некуда! — За рубежи!

Ты, меня любивший дольше  
Времени. — Десницы взмах! —  
Ты меня не любишь больше:  
Истина в пяти словах.

Комментаторы адресуют это стихотворение тоже Родзевичу.

Что ж, горькая эпитафия короткой любви? И вдруг вспыхивает сомнение. Но почему же «ты, меня любивший дольше времени»?.. И всего-то этой любви срока, кажется, два месяца! Поэтическое преувеличение? Но у Цветаевой оно никогда не рождается на пустом месте. Дальше — больше. Перечитываем письмо Цветаевой Бахраху от 4 января 1924 года: «Я рассталась с тем, любя и любимая, в полный разгар любви, не рассталась — оторвалась! Разбив и свою жизнь и его...»

Как — любя и любимая? В полный разгар любви? А стихотворение 12 декабря? Естественно, конечно, допустить, что в этот тяжкий период Марина могла и не быть с Бахрахом откровенной. Но прежде в письмах к нему она не боялась признаваться в вещах, не слишком для себя лестных.

Но не только сопоставление стихотворения с письмом от 4 января усиливает появившиеся сомнения. Если «Ты, меня любивший...» обращено к Родзевичу, тогда, значит, и «Поэма Конца»

очень далеко уходит от своего «жизненного подстрочника». Придуманным оказывается тогда главный конфликт, положенный в основу поэмы; сочиненными, а не пережитыми, и все пронзительные подробности расставания любовной пары. С трудом верится. Вернее, не верится.

Что, в сущности, в этой поэме происходит? Любящие расстаются. Вся поэма — внешне — их последнее свидание. «Честь разрыва», хотя и не слишком охотно, берет на себя мужчина. Они прощаются и никак не могут проститься...

Чем же вызван разрыв?

Движение губ ловлю  
И знаю — не скажет первым.  
— Не любите? — Нет, люблю.  
— Не любите! — Но истерзан,

Но выпит, но изведен.  
(Орлом озирая местность):  
— Помилуйте, это — дом?  
— Дом в сердце моем. — Словесность!

Почти раздраженные реплики героя: «Любовь, это плоть и кровь... Любовь, это значит — связь... Вы думаете, любовь — беседовать через столик?..»

И грустное эхо героини: «Хотеть — это дело тел, а мы друг для друга — души отныне...»

— Уедем. — А я — умрем,  
Надеялась. Это проще!

В «Поэме Конца» — расставание любящих, которые не могут быть вместе, потому что это любовь парящей птицы и земного существа. Встретившись в последний раз, каждый еще надеется на чудо, для *обоих* страшен разрыв... Но вместе они могут только умереть. И женщина готова к такому исходу, он для нее почти желанен. Мужчина же — само

олицетворение Жизни, и этот выход — не для него. Любит ли он еще? Если произнесенных им слов мало, то как забыть слезы на его глазах в час последнего прощания — «перлы в короне моей»...

Так в поэме. Каждая строка в ней написана кровью, а не чисто художнической фантазией, и тому, кто этого не чувствует, наверное, и не нужно пытаться объяснить. Вот он — разрыв с горькой любовью, венец и итог Цветаевской попытки быть и любить «как все»...

Поэма отражает ситуацию отношений Цветаевой и Родзевича периода ноября — декабря. Разумеется, «отражает», иносказуя, — надо ли это пояснять? — преображая, творя миф, — но в цветаевском смысле. Ибо для Цветаевой миф и есть суть. «Поэма Конца» создавалась долго, на протяжении нескольких месяцев (не так, как «Поэма Горы», созданная на едином дыхании, в январе 1924 года). И долгое это время было, как всегда у Цветаевой, временем глубочайшего сосредоточения — и началом душевного высвобождения. Временем выхода из «временного» в «вечное». Последнее и давало масштаб взгляда на «житейский подстрочник».

Но что же это все-таки за запись в тетради перед стихотворением «Ты, меня любивший...»? И вот, наконец, эта запись перед моими глазами. Текст, оказывается, вообще лишен чьего бы то ни было имени! Это понятно — запись дневниковая, она сделана для самой себя. Читаем: «12-го декабря (среда) — конец моей жизни. Хочу умереть в Праге, чтобы меня сожгли». И далее текст стихотворения «Ты, меня любивший...».

Значит, расшифровала и прокомментировала А. С. Эфрон эту запись на свой страх и риск, возможно, искренне убежденная в своей правоте. Знала ли она тексты всех писем Цветаевой к Бахраху, включая январское? Трудно сказать. Но в ее распоряжении, достоверно, не было письма Эфрона Волошину. Сама же Аля всю эту осень и зиму — в Моравской Тшебове, драматические события разыгрываются в ее отсутствие.

И у нас теперь гораздо больше, чем прежде, оснований предположить, что как запись, так и стихотворение с Родзевичем связаны лишь косвенно. А прямо — с тяжелым объяснением, на которое, наконец, решился Эфрон.

Что он еще и в феврале продолжал желать разрыва, подтверждает третье (и последнее) письмо его Волошину: «...не живу, жду. Жду, когда поджившая ветка сама отвалится <...>. Боязнь катастрофы связывает мне руки. Поэтому не могу сам подрезать ветку, поэтому жду, когда упадет сама. <...> Хочу, чтобы узел распутался в тишине, сам собою (это так и будет), а не разорвался под ударами урагана...»

Есть и еще одна подробность. Стихи 1922—1925 годов Цветаева издает в Париже, объединив их в сборнике под названием «После России» (1928). Но великолепное стихотворение «Ты, меня любивший...» не только не было включено в сборник — оно вообще не публиковалось при жизни Цветаевой! Не потому ли, что боль, в нем прозвучавшая, была слишком непереносимой?.. Между тем горчайшие стихи, связанные с Родзевичем, как и обе поэмы, стали известны читателю меньше чем через три года.

«12-го декабря — конец моей жизни...» В памяти возникает что-то мучительно знакомое, какая-то явная переключка... Да, вот она. Это переключка с записью, сделанной в летний день 1921 года, два с половиной года назад, когда после долгих месяцев смертельной тревоги за мужа Цветаева получила, наконец, от него письмо. Ликующая запись: «1 июля — письмо. С сегодняшнего дня — жизнь!»

Слоним, Еленев, Андроникова-Гальперн, Эйсер, Булгакова-Степуржинская, Родзевич, на протяжении многих лет знавшие Цветаеву и ее мужа, очень по-разному характеризуют их отношения. Одни настаивают на том, что, несмотря на все увлечения, Цветаева была однолюбом — любила по-настоящему только Сергея Яковлевича; другие уверены, что хотя их и соединяла взаимная привязанность, но уже в начале 20-х годов то был союз, который никак нельзя назвать любовным. Достоверность такого рода «свидетельств», конечно, весьма относительна. И наверное, не стоит сбрасывать со счетов также и настойчивое утверждение дочери, А. С. Эфрон, о неколебимой преданности ее родителей друг другу. Если нам и слышится здесь нечто от легенды, долженствующей противостоять всем цветаевским поэмам о любви и «романам в письмах», то похоже, что то была легенда, упорно культивируемая в самой семье.

Дороги те свидетельства, в которых есть не суждения и оценки, а конкретные факты. И вот одно из таких свидетельств. В середине 30-х годов в Париже Эфрон пришел к своей давней близкой приятельнице. Он признался, что совершенно не знает, как жить и что делать: он влюб-

лен в молодую женщину — и очень всерьез. «Ну, а я знаю, что тебе делать», — отвечала его решительная приятельница. Но Эфрон только покачал головой: «Нет. Я не могу оставить Марину...»

Есть важное признание и в одном из писем Цветаевой чешского периода (О. Е. Черновой): «трагическая невозможность оставить С.». Двухзначное выражение — «невозможность оставить»... Скорее всего, у обоих оно свидетельствовало не только о долге или сострадании, но о невозможности для самого себя — переступить через легенду: встречу в Коктебеле.

Именно это знание нерасторжимости союза и создало тот накал трагического самочувствия, которое выразила Цветаева уже в сентябрьском письме Бахраху — там, где речь шла чуть ли не о конкретностях самоубийства.

Цветаева и Эфрон остались вместе. Пребудет навечно тайной вопрос, как и на какой основе их союз продержался так долго.

Конечно, осенью и зимой 1923/24 года Эфрону не позавидуешь. Да и в другие годы было вряд ли легче, и не только из-за цветаевских сердечных смут: роль мужа талантливейшей поэтессы для человека кипуче деятельного, каким был Эфрон, сама по себе непроста. Но лучше пока не говорить о том, кто из них дороже заплатил за преданность. Об этом речь впереди.

Константин Болеславович Родзевич долгое время неохотно откликался на вопросы о Цветаевой. Он соглашался дать сведения о собственной биографии, когда на этом настаивали, но счи-

тал, что к «Поэме Горы» и «Поэме Конца» «не надо никаких побочных комментариев — ни бытовых, ни географических, ни календарных. Пусть стихи и поэмы Марины Цветаевой говорят сами за себя. Пусть их непреложное свидетельство остается выше всех житейских мелочей и всяких подсобных истолкований!» (письмо ко мне 15 января 1979 г.). Правда, он сожалел, что между нами невозможен не письменный, а «живой» разговор: говорится на такие темы лучше, чем пишется. Но вот летом 1982 года с Родзевичем встретила Виктория Швейцер. Несколько позже — Вероника Лосская. Им удалось немного «разговорить» Константина Болеславовича. Он по-прежнему был скуп на подробности, зато настойчиво подчеркивал в облике Марины Цветаевой того времени довольно неожиданные черты: ее светлый, счастливый, жизнерадостный характер, способность радоваться и глубоко переживать чувство полноты бытия. «В ней была жажда жизни, стихийная любовь к природе, она вся была стихийная. Она была полна любви к жизни» — так записала со слов Родзевича Лосская. И она же: «Увлечение — обоюдное — началось между нами сразу, *coup de foudre* (любовь с первого взгляда)». В записи Швейцер: «Это было стихийно... Мы сошлись характерами — отдавать себя полностью. В наших отношениях было много искренности, мы были счастливы...» Снова Лосская: «Это было огромное увлечение... Другой такой любви у меня потом уже никогда не было...»

Еще один «живой» разговор состоялся в 70-е годы; его привела в письме ко мне Вера Трайл, хорошо знавшая всех участников драмы. На воп-



рос, почему Родзевич, называющий теперь Цветаеву своей *grande amour*, предпочел ей в то время Булгакову, последовал ответ:

«— Это совсем не связано. Я простился с Мариной в Праге, а женился два года спустя, в Париже.

— Но почему расстался? Ведь Марина тебя любила...

— Любила?.. Я не знаю. Она меня выдумала. Ты знаешь, какой она была выдумщицей. Быть таким героем, каким она меня придумала, я не мог. Кроме того, главное, — Сережа был мой друг, я его предал, и потом мне стало стыдно...»

Свадьба К. Б. Родзевича и М. С. Булгаковой состоялась летом 1926 года в Париже. Версию о том, что Цветаева подарила невесте белое подвенечное платье, решительно опровергла сама Мария Сергеевна (письмо ко мне 18.XII.1976 г.). Марина сделала другой свадебный подарок — гораздо более цветаевский. Это произошло, видимо, за полтора месяца до свадьбы, в апреле двадцать шестого года.

В этот весенний день они поехали вместе с Булгаковой делать покупки в магазинах. Покончив с покупками, присели за столик кафе на одной из парижских улиц. Здесь-то и вручила Цветаева невесте Родзевича свой подарок. Его трудно назвать добрым. Он должен был нанести рану. И он свидетельствовал, в свою очередь, о незажившей ране. Цветаева подарила Булгаковой маленькую переписанную от руки книжечку. То была «Поэма Горы». Поэма, написанная на самом пике любви к Родзевичу, может быть, самая прекрасная поэма о любви, созданная в XX веке...



К. Б. Родзевич и М. С. Булгакова в день свадьбы  
(публикуется впервые)

В Чехии Цветаева прожила три года и три месяца. Срок звучит сказочно. Жизнь ее сказочной тут не была — особенно в последние зиму и весну, когда семья снова жила под Прагой, во Вшенорах, а рождение сына — 1 февраля 1925 года — добавило множество нелегких бытовых хлопот. И все-таки... Пройдут годы и годы, но на Чехию она будет упорно оборачиваться — с нежностью, тоской и признательностью: здесь были пережиты высокие мгновения ее личной судьбы...

## Глава третья

### ПАРИЖ-ВАНДЕЯ,

1926

#### 1

Решение уехать из Чехии созревало постепенно.

Эфрон заканчивал университетский курс, нужно было думать о будущем. Стипендию давали еще три месяца после окончания учебы — считалось, что этого срока достаточно, чтобы устроиться на службу. Но найти приличную работу в Чехии для русского, да еще гуманитария (Сергей Яковлевич оканчивал философский факультет), было делом безнадежным. Неясность оставалась и с чешским «иждивением», которое получала Цветаева, — долго ли его будут выплачивать; во всяком случае рассчитывать на него казалось опасным. Перемены назревали, таким образом, сами собой и угрожали не только семье Цветаевой. Ненадежность будущего в Чехии ощутили многие.

И в 1925 году началась очередная волна миграции русских — на этот раз во Францию. Париж еще с 1919 года претендовал на роль глав-

ного центра русской эмиграции. Но поначалу соперником его был Берлин, затем Прага, и только к середине 20-х годов эта его репутация стала безусловной. В Париж переезжали редакции русских газет и журналов, перекочевывали целые кусты русских семейств. Из ближайшего окружения Цветаевой во Францию уехала семья Черновых, Булгаковы, Исцеленовы. Собиралась ехать в Париж и вдова Леонида Андреева Анна Ильинична, с которой Марина Ивановна сблизилась после рождения сына, когда они жили рядом, во Вшенорах.

Чешская зима 1924/25 года для Цветаевой оказалась особенно тяжелой. На последних месяцах беременности топка печей, примусы, невозможность гулять по скользким обледенелым, покатым тропкам, отрезанность от Праги — все переживалось мучительнее, чем прежде, и временами Цветаева ощущает себя погребенной заживо в занесенных снегом Вшенорах. Ольге Елисеевне Черновой-Колбасиной в середине зимы она пишет: «Еще зимы во Вшенорах не хочу, не могу, при одной мысли — холодная ярость в хребте. Не могу этого ущелья, этой сдавленности, закупоренности, собачьего одиночества (в будке!). Слишком трудна, нудна и черна здесь жизнь».

Рождение сына 1 февраля 1925 года (его называли Георгием, но вскоре он получил домашнее имя — Мур) сыграло не последнюю роль в окончательном принятии решения. Мысль о том, что придется растить мальчика в этих условиях, исключила всякую возможность трезвых расчетов и взвешиваний. В августе 1925 года — Черновой: «О зиме здесь не хочу думать: гибельна, всячески, для всех.

Аля тупеет (черная работа, гуси), я озлеваю (тоже). Сережа вылезает из последних сил, а бедный Мур — и думать не могу о нем в копоти, грязи, сырости, мерзости».

Сергей Яковлевич был целиком за отъезд, хотя сам пока ехать никуда не мог: лето он провел в Земгорской санатории (очередная вспышка туберкулеза), и осенью нужно было завершать докторскую работу о византийском искусстве. Многое оставалось неясным, но несомненным для него было то, что семью надо отправлять из Вшенор хотя бы на зиму. «Марина измучена и издергана так, что на нее временами смотреть страшно, — пишет он тем же Черновым. — Она, конечно, будет у вас осенью в Париже. Я не знаю, что бы дал, чтобы вырвать у жизни ей досуг...»

Кроме Черновых, в Париже жили теперь и Бальмонт, с которым Марина Ивановна сдружилась еще в Москве, и Ремизов, заочный крестный отец маленького Мура, Осоргин, Зайцевы и Цетлины, прежде тоже числившиеся в друзьях. В Париже выходили три русские газеты, а на рю Венез уже почти пять лет располагалась редакция крупнейшего эмигрантского журнала «Современные записки», печатавшего Цветаеву, с легкой руки Бальмонта, достаточно охотно.

Поначалу речь шла о том, чтобы приехать к Черновым погостить — и выступить на литературном вечере с чтением стихов. А потом уже решить — возвращаться ли. Но как-то незаметно «погостить» переросло в «переехать». Марк Слоним и Черновы энергично помогали в организации отъезда: Слоним — хлопотами о визе, Черновы — вытягиванием денег на дорогу из парижского

фонда русских литераторов. Теплилась еще смутная надежда «расколоть» на ссуду Леонарда Розенталя — ювелира-мецената, русского эмигранта, незадолго перед тем щедро пожертвовавшего на нужды ученых миллион франков. («Ваш Леонард подарил миллион ученым мира, а у меня такое чувство, что ученые ограбили Марину», — писал Черновым Эфрон.) В денежном отношении очень выручил последний вечер Цветаевой в Праге в «Чешско-русской едноте». При переполненном зале она прочла свои воспоминания о Валерии Брюсове. Успех был бурным.

Вообще литературный авторитет Цветаевой в последние годы ее жизни в Чехии заметно укрепился. В журнале «Воля России» она публикуется в каждом номере: стихи, проза «Герой труда», поэма «Крысолов»; в «Современных записках» дважды: проза «Мои службы» и поэтический цикл «Двое». Летом того же года целый «подвал» уделила поэме «Молодец» газета «Последние новости», выходившая в Париже. Автором статьи был Владислав Ходасевич, необычайно высоко оценивший цветаевский опыт поэтического переложения русской народной сказки. Словом, появилась некоторая почва для неуверенных, но сладких надежд: может быть, удастся во Франции добиться мало-мальски сносного существования: найти интересную работу для Эфрона, вырваться из тяжелого засилья бытовых неустройств — «завоевать» литературный Париж...

Все последующее покажет, как наивны были эти надежды. Там хорошо, где нас нет, — старая эта истина вспомнится очень скоро. Уже в январе 1926 года Эфрон напишет из Парижа в Прагу

В. Ф. Булгакову, как разочаровывает его парижская литературная среда просто «по человеческому составу». В Чехии у семьи все же образовался за три года немалый круг доброго участия и живых привязанностей; в русской студенческой среде (да и не только в ней) Сергея Яковлевича ценили и любили за его энергию, доброжелательную открытость, легкий, веселый нрав; круг дружеских и деловых связей Марины Ивановны был также достаточно широк. Завязывались теплые отношения с чешскими литераторами, появились первые переводы цветаевских стихов на чешский язык... Но все это отчетливее увиделось позже, уже из Франции, спустя несколько месяцев.

31 октября Цветаева с детьми покидает Чехию. 1 ноября 1925 года она в Париже.

Ольга Елисеевна Чернова-Колбасина с тремя дочерьми жила на окраине города, в дымном и шумном рабочем районе около городской бойни. Как раз на уровне окон четвертого этажа, в котором размещалась квартира Черновых, проходила надземная железная дорога; в промежутках между грохотом составов, проносившихся мимо, снизу был слышен грохот грузовых автомобилей. Фабричные трубы дополняли вид из окна, копоть залетала в комнаты. Поблизости канал Сен-Дени загнивал от грязи, рядом не было ни сада, ни даже деревца или кустика. Чтобы гулять с маленьким Муром, приходилось уходить совсем далеко.

В трехкомнатной квартире Черновых Цветаевой с детьми отдана одна из комнат. Улица Рувэ, 8 — таков ее первый адрес во Франции.

Париж уже был в ее жизни дважды: в 1909

году она приехала сюда под предлогом слушания лекций в Сорбонне, а на самом деле в священный город ее кумиров — Наполеона и Сары Бернар; в 1912 году она провела здесь несколько недель во время свадебного путешествия. Теперешний Париж был неузнаваем — метро, автомобили, суета. Неузнаваемо другим было и ощущение себя в Париже. Первые же дни приносят разочарование. Едва приехав, она пишет в одном из писем: «Этого Парижа я не знаю, знаю — тот Париж, когда мне было шестнадцать лет, свободный, уединенный, весь в книжных лотках вдоль Сены. То есть: свою сияющую свободу — тогда. Я пять мес[яцев] прожила в Париже, совсем одна, ни с кем не познакомившись. Знала я его тогда? (Исходив вдоль и поперек!) Нет — душу свою знала, как теперь. Городов мне знать не дано».

Это особенность ее природы: «невключенность» во внешний — вещный и событийный — мир, в ближайшее настоящее. Она всегда лучше видит его, уже обернувшись назад, прощаясь, расставаясь, в то мгновение, когда оно становится



Париж. Улица Рува



прошлым. Но и тогда — больше по следу, оставленному в сердце, чем во внешних очертаниях. Замечательно, однако, то, что эта особенность превосходно уживалась в Цветаевой с качествами, очень далекими от лирической «пеотмирности». Ее крайняя неприспособленность к бытовому уровню жизни не отменяла необходимости везти на себе все годы чужбины воз домашних забот и хлопот; ее неумение «устраивать дела» обтачивалось на необходимости заниматься этим устройством ежедневно. Ибо рядом не было человека, который делал бы это за нее. В бытовых коллизиях она остается всегда неумелой и беспомощной. Но не то в ее отношениях с редакциями и редакторами, с разного рода комитетами и меценатами. Тут мы скорее поразимся ее расчетливости, трезвости и предусмотрительности, увидим ее жесткой, практичной, не чересчур церемонной и даже способной к изящной лести; пример тому дают, в частности, ее письма к Рудневу, одному из редакторов «Современных записок».

Вот и теперь — видно, как тщательно она подготавливалась к приезду в Париж. Обдуманно отобраны для печати стихи и проза — и в первые же недели парижского пребывания в русских газетах густо пойдут ее публикации. Редакции включают Цветаеву в список виднейших литераторов, к которым обращены просьбы ответить на предновогоднюю анкету. Приезд ее явно замечен.

В один из декабрьских вечеров на улицу Рувэ явился молодой журналист Андрей Седых. Вскоре в рижской газете «Сегодня» будет опубликован его отчет об этой встрече. «Марина Цветаева совсем молода, — писал Седых, — шапка светлых

вьющихся волос, гладкое зеленое платье. И глаза смотрят куда-то вдаль, вдумчивым, глубоким взглядом». Далее Седых передавал слова Цветаевой: «Я по стихам и всей душой своей — глубоко русская. Поэтому мне не страшно быть вне России. Я Россию в себе ношу, в крови своей. И если надо, и 10 лет здесь проживу и все же русской останусь...»

В первые же недели Ремизов успел хорошо досадить Марине Ивановне. Со своей страстью к мистификации он сумел опубликовать где-то сообщение о том, что приехавшая из Праги поэтесса предполагает издавать новый журнальчик под названием «Щипцы». Шутку приняли за правду, так что рассерженной Цветаевой пришлось даже давать опровержение в «Последние новости». Но, как ни странно, ссоры с Ремизовым не последовало.

Дом Ремизовых станет для Цветаевой в ближайшие годы одним из немногих «своих» домов. Крепкой дружбы не получилось, встречи были не частыми, но в этом доме Марина Ивановна приобрела новых дорогих для нее друзей. Среди них был



Марина Цветаева.  
Конец 1925 г.

русский философ Лев Исаакович Шестов. Его Цветаева назвала позже «самым важным своим человеческим приобретением в Париже»; Шестов тоже с удовольствием пошел на сближение.

Эфрон приехал в канун рождественских праздников. Теперь их было четверо в одной комнате. И в этой скученности, при достаточно беспокойном нраве малыша, Цветаева умудряется работать. В начале декабря она уже отправляет в редакцию «Воли России» последнюю главу поэмы «Крысолов», написанную в Париже, и вскоре начнет новую поэму. Несколько часов в день — с пером в руке, за письменным (или кухонным, разницы нет!) столом, переставая слышать и видеть — когда это получается, все прочие неудобства отходят для нее на задний план.

У трех дочерей Ольги Елисеевны были к этому времени уже «прочные» женихи; как и невесты, они восхищались цветаевской поэзией и ею самой; все в той или иной степени были также причастны к литературным занятиям. И в доме царила атмосфера молодой веселости и дружелюбия, в которую Марина Ивановна легко и охотно включалась. Неизменно бодрая, подтянутая, всегда готовая к шутке и смеху — такой запомнили ее младшие Черновы в ту первую парижскую зиму. И все же в ее тетради появляются жалобные строфы:

Юность — любить.  
Старость — погреться:  
Некогда — быть,  
Некуда деться.  
Хоть бы закут —  
Только без прочих!  
Краны — текут.  
Стулья — грохочут...

И в новогодней анкете «Последних новостей» рядом с пространными пророчествами Мережковского появляются лаконичные цветаевские пожелания: «Себе — отдельной комнаты и письменного стола, России — того, что *она* хочет».

Между тем дела с устройством поэтического вечера продвигались плохо. По тогдашним правилам, Цветаева должна была все подготовить и обеспечить сама: помещение, рекламу, печатание и распространение билетов. Труднее всего оказалось найти зал. Поначалу была надежда на помощь Цетлиных — сорвалось; не увенчалась успехом и попытка договориться с художником Малявиным, у которого была огромная мастерская. В конце концов выручил Клуб молодых русских поэтов, располагавший помещением на рю Данфер-Рошро.

В январе Цветаева пишет в Прагу: «В Париже мне не жить — слишком много зависти. Мой несчастный вечер, еще не бывший, с каждым днем создает мне новых врагов... Если бы Вы только знали, как все это унижительно.

— Купите, Христа ради! — Пойдите, Христа ради!

Прибедняться и ласкаться я не умею, — напротив, сейчас во мне пышнее, чем когда-либо, цветет ирония. И — благодетели закрывают уже готовую было раскрыться руку (точней — бумажник!) ».

Впечатления Эфрона — не лучше. «Русский Париж», за маленьким исключением, мне очень не по душе, — сообщает он тому же Булгакову. — Был на встрече Нового года, устроенной политическим Красным Крестом. Собралось больше тысячи «недорезанных буржуев», жирных, пресыщен-

ных и вяло-веселых (все больше евреи), они не ели, а жрали икру и купались в шампанском. На эту же встречу попала группа русских рабочих, в засаленных пиджаках, с мозолистыми руками и со смущенными лицами. Они сконфуженно жались к стене, не зная, что делать меж смокингами и фраками. Я был не в смокинге и не во фраке, но сгорал со стыда...»

Другой новогодний вечер устроил русский Комитет помощи ученым и писателям — в ночь на 14 января в отеле «Лютеция». «Любопытные могли вдоволь поглазеть на живых знаменитостей, — сообщала через день газета «Дни». — Тут были и Бунин, и Куприн, и Зайцев, и Тэффи, предсказывавшая судьбу в стихах, а потом с увлечением танцевавшая, и Цветаева, и Ходасевич, и Берберова, и Потемкин, и художник Нилус, и много других...»

Лет десять назад сбор от такого благотворительного бала шел в пользу сирот войны или раненых воинов, теперь он предназначался бедствующим русским эмигрантам — писателям и ученым...

Тем временем на русском книжном рынке Парижа появился вышедший в Праге литературный сборник «Ковчег». В его составлении вместе с В. Ф. Булгаковым и С. В. Завадским деятельное участие принимала в последний год жизни в Чехии и Цветаева. Отклики критиков на «Ковчег» оказались почти единодушны: кисло-одобрительные в адрес Аркадия Аверченко, Евгения Чирикова, Сергея Маковского, поместивших здесь свои произведения, и восхищенные по отношению к цветаевской «Поэме Конца». «Поразительное бо-



Париж. Отель «Лютеция»

гатство ритмов, афористическая сжатость формы», «прекрасная поэма», «мастерское поэтическое произведение, отмеченное печатью подлинного таланта, насыщено настоящим драматизмом, захватывает и покоряет своими ритмами...». Кажется, только Юлий Айхенвальд в берлинском «Руле» в который раз отважился признаться, что поэмы Цветаевой для него — набор рифмованных благозвучий...

## 2

Прошло три с лишним месяца со времени прибытия Цветаевой в Париж, и наконец дата вечера — 6 февраля — была объявлена. Все русские газеты зарубежья оповестили об этом читателей, а наиболее сочувствующие «Дни» исполь-

зовали повод, чтобы даже маленькую информационную заметку начинить рекламной характеристикой цветаевской поэзии.

Вечер вылился в настоящий и неожиданный триумф. Ни раньше, ни, кажется, позже такого не повторялось. В газетной периодике появились отчеты, подтверждавшие полный успех.

Девятого февраля Эфрон сообщал о вечере в Прагу: «Прошел он с исключительным успехом, несмотря на резкое недоброжелательство к Марине почти всех русских и еврейских барынь, от которых в первую очередь зависит удача распространения билетов. Все эти барыни, обиженные нежеланием М. пресмыкаться, просить и т. п., отказались в чем-либо помочь нам. И вот, к их великому удивлению (они предсказывали полный провал), за два часа до начала вечера толпа осадила несчастного кассира, как на Шаляпина. Не только все места были заняты, но народ заполнил все проходы, ходы и выходы сплошной массой. До 300 чел[овек] не смогли достать билетов и ушли. Часть из них толпилась на улице, слушая и заглядывая в окна. Это был не успех, а триумф. М. прочла около сорока стихов. Публика требовала еще и еще. Стихи прекрасно доходили до слушателей и понимались гораздо лучше, чем М. редакторами <...>. После этого вечера число Марининых недоброжелателей здесь возросло чрезвычайно. Поэты и поэтики, прозаики из маститых и не маститых негодуют».

Несмотря на переполненный зал, трудно сказать, насколько «весь русский Париж» здесь присутствовал, были ли литературные именитости. Но друзья Цветаевой были. И среди них — Шес-

тов. Через день Цветаева пишет Льву Исааковичу: «Спасибо, что пришли на вечер. Вам я была рада больше, чем всему остальному залу».

Две женщины — поэтесса Ирина Кнорринг и художница Лидия Никанорова, присутствовавшие среди публики, записали свое впечатление от этого вечера — одна в стихотворении «Цветаевой» (вскоре опубликованном в «Последних новостях»), другая в письме своему другу в Советскую



Л. И. Шестов  
(публикуется впервые)

Россию. Об этом последнем мы знаем косвенно — из романа Вениамина Каверина «Перед зеркалом», где писатель использовал подлинные письма художницы. По ряду признаков можно с достоверностью утверждать, что в следующих строках речь идет как раз о данном вечере: «Вчера я была на вечере Ларисы Нестроевой (так в романе названа Марина Цветаева. — *И. К.*). Впечатление сильное, острое. Впечатление неожиданной зависимости от ее поэзии и даже едва ли не от самого факта ее существования... Начинаешь чувствовать, что вся она — невысказанный упрек



Льву Николаевичу Шестову  
с любовью и благодарностью

Марии Владимировне

Москва, 31<sup>ое</sup> мая 1928<sup>г.</sup>

Надпись Цветаевой Шестову на титульном листе сборника «После России»

нам, ушедшим с головой в постылую борьбу за существование. Ушла — должна была уйти в это — и она. Но она не только «в ней», но и «над ней». И в этом «над» — ее сила... Это — «над», заглядывающее вперед, не частное, а самое общее, какое только можно представить. Не умею выразиться яснее. Читает она тихим голосом, сдержанно и внешне спокойна».

После столь бесспорного успеха достаточно было вести себя тихо и стричь купоны неожиданной популярности — искать издателя, готовить книгу... Может быть, и ссуды какие-нибудь перепали бы, и редакторы, отклонявшие за непонятностью новые ее стихи, смягчились. Но *этой* расчетливости — хоть на полградуса стесняющей, корректирующей творческие порывы, — Цветаева не знает.

Смешно от щедрот незванных  
Мне ваших, купцы!  
Сама воздвигаю за ночь  
Мосты и дворцы!

А что говорю — не слушай,—  
Все мелет бабье!  
Сама поутру разрушу  
Творенье свое!

Эти строфы написаны еще в Москве, но их строптивый пафос ни годы, ни обстоятельства не умерят. Как раз теперь, на гребне успеха, Цветаева работает над эссе «Поэт о критике». Его текст, тремя месяцами позже опубликованный, засвидетельствует, что меньше всего она думала в это время о закреплении успеха и упрочении своего положения в русском литературном Париже.

### 3

«Познакомился с рядом интереснейших и близких внутренне людей,— писал Эфрон В. Ф. Булгакову в феврале.— Помните, Вы говорили не раз, что часто тяжелый поворот судьбы оказывается к лучшему. Со мной (тьфу — не сглазить), кажется, так и случится... Намечается интереснейшая работа в моей области. Но это секрет. Скоро все выяснится. Тогда напишу Вам ликующее письмо». Секрет раскрывается в мартовском письме: «В Париже зачинается толстый двухмесячник (литерат[ура], искусство и немного науки) вне всякой политики. Я один из трех редакторов. Первый в эмиграции свободный журнал без всякого «напостовства» в искусстве и без признака эмигрантщины. Удалось раздобыть деньги, и сейчас сдаем первый номер в печать. Тон журнала очень

напористый, и в Париже он произведет впечатление разорвавшейся бомбы».

То было начало «Верст». Журнала, на обложке которого стояло: «Издается под редакцией П. П. Сувчинского, кн. Д. П. Святополка-Мирского и С. Я. Эфрона — при ближайшем участии Алексея Ремизова, Льва Шестова и Марины Цветаевой». Журнала, участие в котором сразу размежевало Цветаеву с политически активной эмиграцией.

Кого назвать основным инициатором этого издания, столь нашумевшего, хоть и ограничившегося тремя номерами? С одной стороны, известно, что Сергей Яковлевич в это время считал журналистику наиболее подходящим для себя занятием, в котором он уже имел некоторый опыт. Он так и формулирует в письме к Булгакову: «интереснейшая работа в моей области». То был лучший из возможных для него вариантов закрепления в Париже — ведь предполагалось, естественно, что журнал обеспечит и редакторский заработок. Но в триумvirате редакторов «Верст» Эфрон явно не главенствует. Он исполняет прежде всего секретарско-организаторские функции.

Яркой фигурой был другой редактор — П. П. Сувчинский, до революции — издатель крупного музыкального журнала в Киеве, позже — видный музыкальный критик, друг Стравинского и Прокофьева. Человек широко образованный и энергичный, он приобрел к середине 20-х годов известность как участник первого «евразийского сборника», вышедшего в Софии. К «евразийству» нам еще придется в дальнейшем возвращаться. Сейчас отметим лишь, что оно означало, во всяком

случае, выбор «третьей позиции» в идейно-политическом расслоении русской эмиграции. То же можно сказать и о платформе «Верст». Хотя Эфрон и Святополк-Мирский в начале 1926 года «евразийцами» себя еще не считают, их жажда бросить вызов «эмигрантскому синедриону» питается теми же соками. С одной стороны, группа «Верст» решительно не разделяет ностальгии по дореволюционной российской государственности, с другой — ее не устраивает и ориентация на европейские формы социального развития. Октябрьские события 1917 года отнюдь не вызывают их восторгов, но и безудержное поношение всего, что происходит теперь на русской земле, представляется совершенно бессмысленным. Инициаторы нового журнала надеялись объединить вокруг себя тех, кто хотел не оголтелого «обличительства», а объективных сведений о культурных и политических процессах, развивающихся в России. Таких людей было немало среди тысяч беженцев, оказавшихся за пределами своей родины, — и группа «Верст», учреждая свой печатный орган, исполняла, можно сказать, своего рода «социальный заказ»...

«Мы собрались, чтобы противопоставить себя литературному течению, главенствовавшему тогда в Париже» — так формулировал задачу участников «Верст» Сувчинский, отвечая уже в 1978 году на мой вопрос в письме. Сувчинский не называет имен, но расшифровать его формулировку нетрудно. Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, Иван Бунин и Борис Зайцев — вот главные фигуры из тех, кто определял в 20-е и 30-е годы «литературное направление», о котором

идет речь. Их неприятие советского режима было окрашено непримиримостью, изначально исключавшей какие бы то ни было оговорки. Непримиримость диктовала зачастую упрощенно-однозначные характеристики — и оспорить их было негде: любая попытка указать на неоднородность развивавшихся в России процессов — или, скажем, на различие в позиции деятелей русской культуры — воспринималась как «угодливое заискиванье» перед советскими властями. Увы, все это вскоре испытает на себе редакция «Верст». На что рассчитывали ее участники?.. Диалог мнений за пределами Советской России оказался так же невозможен, как уже невозможен он был в ее пределах.

По словам Сувчинского, Цветаева в создании журнала активного участия не принимала (хотя и решено было взять для нового издания название ее поэтического сборника). Любопытно, однако, что Ходасевич, хорошо знакомый со всеми участниками «Верст», был убежден, что затеяли журнал именно Цветаева и Святополк-Мирский. Так это было или иначе, но пройдет время, и как раз эти два имени окажутся в центре нападков эмигрантской печати.

Святополк-Мирского познакомили с Цветаевой Сувчинские, Петр Петрович и Вера Александровна. В эту зиму 1925/26 года Мирский (сын известного царского министра) преподавал русскую литературу в колледже при Лондонском университете. В Париж он наведывался часто и знаком был здесь, что называется, «со всеми». Но особенно он дружен с Сувчинскими и Саломеей Николаевной Андрониковой, той самой «красави-

цей тринадцатого года», которую воспел, назвав «соломинкой», молодой Мандельштам, а много лет спустя — вспоминая ушедшие годы — Ахматова.

Г. Л. Козловская дает следующий портрет Мирского тех лет — она училась тогда в Лондоне: «Я тогда была совсем юной, и мне посчастливилось прослушать несколько его лекций о Толстом и Достоевском, которые он читал на английском языке для студентов Лондонского университета. Никогда потом мне не довелось слышать ничего более блистательного. Это было такое проникновение, озаряющее до самого дна творческую суть и характер двух русских гениев, что это не имело ничего общего с литературоведческими разборами других. Он сам, его речь, потрясающая по своей стилистике, каждая мысль, все это творилось у вас на глазах как ослепительное создание искусства. Зал, где он читал, всегда был набит до отказа, студенты всех факультетов бросали все, чтобы протиснуться, прилепиться на подоконниках и при распахнутых дверях стояли, не шелохнувшись, на площадке и на лестнице... Когда он кончал, молодежь обступала его тесным восторженным кольцом и, не отпуская, аплодировала безудержно и самозабвенно».

Горячий, брызжащий энергией и боевым пылом Мирский ко времени знакомства с Цветаевой уже успел не слишком доброжелательно отозваться о ней в своей антологии русской лирики: назвал ее «талантливой, но безнадежно распущенной москвичкой», — ему будут с удовольствием припоминать это недоброжелатели, когда он резко изменит свое отношение к цветаевской поэзии. Сувчинские дружески упрекнули его: «Как же ты,

знаток поэзии, не разглядел такого таланта?..» Они и привезли Мирского на улицу Рувз; знакомство состоялось, к вящему удовольствию обеих сторон. Мирский пришел в восхищение и от новых цветаевских стихов и от нее самой — ужаснувшись одновременно бесприютности ее существования. Вскоре он привел ее в дом Андрониковой. Саломея Николаевна не только сама предложила помощь, но сумела еще обложить ежемесячной «данью» ближайший круг своих друзей. И в течение целого ряда лет эта добровольная субсидия была очень важной составной частью в бюджете семьи Эфронов.

По словам Андрониковой, Мирский увлекся Цветаевой в это время не только как поэтом. Сувчинский также подчеркивал: «М. И. и Мирский были связаны большой дружбой и восхищались друг другом».

В 1926 году Святополк-Мирский написал о Цветаевой в четырех русских и в одном английском журнале, а также в своей «Истории русской литературы», вышедшей в Лондоне на английском языке. Имя Цветаевой постоянно присутствует и в других его статьях, будь то анализ современной эмигрантской прессы или размышления о новых путях развития русской поэзии. Творчество Цветаевой последних лет он рассматривает в контексте достижений Блока, Маяковского и Пастернака. Кажется, он был первым, кто оценил новый этап поэтического развития Цветаевой. Этап, когда на смену прежней легкости ее стиха явилась плотная многослойная глубина, отразившая и перемены в мироощущении поэта, и новый подход к возможностям поэтической речи. Мирский

приветствовал философский заряд Цветаевской лирики начала 20-х годов, ее масштабность и находил совершенно закономерным, что критики, бурно хвалившие молодую Цветаеву, становятся в тупик, слыша ее обновленный голос. Для теперешней Цветаевой нужен был читатель, готовый не просто сопереживать, но и размышлять и вслушиваться — и в поэ-

тическую речь, и в тайны бытия, не рассчитывая на простые и обеспеченные ответы. Талант Цветаевой, писал Мирский, неудержимо развивается, она растет с каждым своим стихотворением, как князь Гвидон в бочке...

Десятого марта Цветаева по приглашению Святополк-Мирского уехала в Лондон — погостить, отдохнуть, выступить на вечерах, организованных Пен-клубом. На вечерах этих она, кроме своих стихов, читала и стихи Пастернака. Святополк-Мирский предварял чтение маленьким докладом. Верная себе, Марина Ивановна и здесь многие часы проводит за письменным столом: в неделю заканчивает статью о книге Осипа Мандельштама «Шум времени». Книга ей решительно не нравится из-за нескольких глав, где ха-



С. Н. Андроникова  
(публикуется впервые)



рактеристики знакомых Мандельштама ей представляются неэтичными. И статья выходит очень резкой, настолько резкой, что ее не принимают позже ни «Версты», ни «Воля России».

Вместе с Дмитрием Петровичем она гуляет по Лондону, встречается с русской журналисткой Ариадной Тырковой-Вильямс. Много лет спустя она вспомнит, как огорчало Мирского ее равнодушие к гастрономическим изысканностям, когда он водил ее по дорогим парижским и лондонским ресторанам. «Вы всё говорите! — сокрушенно воскликнул он однажды. — Вам все равно, что есть: Вам можно подложить сена!..»

Значит, были и рестораны. Но не они ей вспоминались позже: вспоминалось неузнавание Лондона, издали казавшегося знакомым по Диккенсу, Байрону и Оскару Уайльду. Несовпадение видения внутреннего и внешнего, мечты и яви — это Цветаева всегда четко отмечала. Но, уезжая из Лондона, она все-таки увозила с собой ощущение праздничной удачи: «Это мои первые две свободные недели за 8 лет (4 советских, 4 эмигрантских) — уливаюсь... Лондон чудесный. Чудная река, чудные дети, чудные собаки, чудные кошки, и чудные камни, и чудный Британский музей. Не чудный только холод, наносимый океаном».

(Это строки из письма к чешскому другу Цветаевой — Анне Антоновне Тесковой, писательнице и переводчице. Их дружба, едва зародившаяся на чешской земле, окрепла на расстоянии и оставила нам бесценное эпистолярное наследие: никому другому Марина Ивановна не писала с такой регулярностью все тринадцать с лишним лет, проведенных ею во Франции...)

Она вернулась в Париж в конце марта и еще успела принять участие в первом вечере, который провела группа «Верст», торопившаяся вслух заявить о своей платформе. Гвоздем программы был тот же Святополк-Мирский — он прочел доклад «Тема смерти в предреволюционной литературе». Когда позже в сокращенном виде текст доклада был опубликован в «Верстах» (1927, № 2), автор присовокупил к нему постскрипtum, сообщавший, что в устном чтении доклад вызвал «негодование всего эмигрантского синедрiona».

В апреле Марина Ивановна готовится к отъезду с детьми на океан, в местечко, расхваленное ей Бальмонтом. В одном из писем мы видим ее в суеде предотъездных дней: «Не примите за злую волю, — у меня просто нет времени, нет времени, нет времени. Никогда, ни на что. Скоро отъезд. Завалена и удушена неубранными вещами — чемодан без ключей — тащиться к слесарю? а где он? — хочется курить — гильзы вышли — пропали Муркины штаны и пр. и пр. А посуда! А обед! А рукописи! С. Я. всецело поглощен типографией...»

Перед самым отъездом получен номер только что вышедшего в Брюсселе журнала «Благонамеренный» с цветаевской статьей «Поэт о критике». Не успев даже открыть его, Марина Ивановна берет номер с собой и 24 апреля отбывает из Парижа — в самый канун грозы, которая уже рокошет в коридорах эмигрантских редакций.

## 4

Сен-Жиль — маленькая рыбацья деревушка в Вандее, расположенная у самого устья мутной и

илистой речонки со странным названием Vie — жизнь; Сен-Жиль-сюр-Ви. Домик, в котором поселилась Цветаева с детьми, — на самом берегу океана. Его насквозь продувают ветры. «Норды, Осты, Весты, и хоть бы один теплый», — пишет Цветаева в одном из майских писем. Весна 1926 года — на редкость холодная, только в конце июня наступят первые по-настоящему жаркие дни.

Хозяева домика — рыбак и рыбачка — кажутся Марине Ивановне сказочными: обоим вместе — полтора года лет. Обстановка жилья, правда, совсем спартанская, кровать четырехместная, но в холодные дни и это кажется благом: вместе теплее. Около домика — крохотный сад, в нем — розы, долго не расцветающие из-за холодов. А деревьев нет, ни в саду, ни поблизости. Природа Вандеи бескрасна и строга: океан, колючие кусты, пески, дюны да чахлые виноградники. Но Цветаеву ничто поначалу не смущает: она ехала к океану и ехала в легендарную Вандею; родина и символ мятежа, Вандея и должна быть, наверное, суровой. Не привыкать и к дискомфорту: комфорта не было не только в чешских деревнях, но и в давние времена в доме Волошина у теплого Черного моря, где царила предельная упрощенность быта. Что комфорт, если тут есть редчайшее, чего не найдешь в городах: природный ритм жизни! По приливу и отливу ставят часы, погода определяет круг дневных занятий. «Естественный», «природный» — в устах Цветаевой это всегда было высшей похвалой — человеку ли, жизненному ли порядку...

Но с главным героем вандейской природы — с океаном — ей никак не удастся подружиться.



Сен-Жиль, Вандея

С ранних детских лет — заочная любовь к «свободной стихии», полюбленной по стихам Пушкина, и с тех же лет — неизменное чувство отчуждения при встрече. Должно понравиться — и не нравится, упорно не нравится, ни в детстве, ни восемнадцати лет в Гурзуфе, ни теперь. Уже не пушкинские, а пастернаковские строки о море тянут еще раз увидеть, проверить, почувствовать: «Приедается все, лишь тебе не дано примелькаться...» Тема моря, с некоторыми вариациями, повторяется в шести письмах мая — июня. Этот странный конфликт, который никому не виден, почему-то ее неодолимо притягивает...

Три четверти дня занимает гулянье с Муром: то на берегу океана, когда тепло, то — часами — с коляской по незнакомым дорогам, окаймленным колючим цветущим кустарником. Навстречу попадают ослики, запряженные в деревянные

таратайки, в таратайках — женщины в широкополых шляпах. Цветаева разглядывает их с удовольствием: впервые, как она говорит, у нее «роман с бытом», ибо здесь он «уже преображенный». Оставляя сына на Алю, она посещает здешние ярмарки и заворуженно вслушивается в местный говор, любитесь непривычными нарядами...

Как будто все условия, чтобы перевести дух, отключиться от суеты, забыть все парижские неурядицы — и свободно отдаться дням, мыслям, природе, творчеству. Цветаева принимается за поэму «Попытка комнаты», навеянную одним из только что полученных писем Пастернака.

И в это время ее настигает в Вандее буря, разразившаяся в эмигрантской прессе; она вызвана выходом журнала «Благонамеренный», опубликовавшего цветаевскую статью «Поэт о критике».

Предвидеть эту реакцию было нетрудно: автор статьи, по существу, бросал вызов ведущим критикам трех эмигрантских газет. Тональность эссе отнюдь не была воинствующей и все же раздражила даже иных доброжелателей. Ибо это была спокойно-уверенная тональность мастера, размышляющего о своем ремесле. Однако по мнению оппонентов, в роль мастера Цветаева вступила самозванкой. Ее поэтическое имя к этому времени в кругах эмигрантских критиков, можно сказать, едва вышло из небытия. Конечно, успех февральского вечера что-то значил. Но заговорить сразу с такой уверенностью, вводя читателя в апартаменты собственного творческого опыта? Это было слишком. Самолюбие множества посредственностей, имевших, как они полагали, не меньшие заслуги в литературе, было уязвлено.

Образцом критика, явно не пригодного для своей профессии, Цветаева назвала в эссе Георгия Адамовича, как раз в эту пору удобно расположившегося в кресле главного критика «Звена» (литературного приложения к «Последним новостям»). В его статьях и рецензиях безнадежная глухота к новому языку поэзии неизменно сочеталась с апломбом знатока всех секретов поэтического творчества: Адамович сам был поэтом. И поэтом плохим, считала Цветаева, что уже само по себе ставило для нее под сомнение критерии и вкус его как критика. Эссе было снабжено обширным приложением, названным «Цветник»: здесь вниманию читателя были предложены цитаты из критических выступлений Адамовича, щедро иллюстрировавшие произвольность, противоречивость и легковесность его суждений и оценок.

Досталось от Цветаевой и другому авторитетнейшему в эмиграции критику Ю. Айхенвальду, выступавшему в берлинском «Руле», и постоянному критику газеты «Возрождение» А. Яблоновскому, и многочисленным дилетантам, лихо



Аля с Муром

выносящим на страницы печати свои приговоры. Судить о поэтическом явлении, утверждал автор «Поэта о критике», может только «знающий и любящий», остальные имеют право высказывать свое *отношение* к прочитанному, но не более того. Критик, который признается в том, что не понял произведения, не может выступать с его оценкой. Истинный критик, по Цветаевой, всегда провидец; он не плетется в хвосте у вкусов публики, но умеет сам отличить смелое новаторство от бездарного оригинальничанья.

Не были забыты в эссе и сторонники «формальной критики», уверенной, что главное в поэзии — ее «технические тайны». «Критик, в поэме не видящий ни героя, ни автора... и отыгрывающийся словом «техника», — явление если не вредное, то бесполезное», — утверждала Цветаева. Формальную критику она сравнила с «Советами молодой хозяйке» и отношением к искусству как к кухне. Наконец, не был забыт и читатель — «чернь». Тот читатель, который, «не читая и не чтя» поэта, тоже берется выносить свои суждения, проявляя недюжинную осведомленность главным образом в том, кто сколько пьет и с кем живет.

Не удовольствовавшись критиками всех сортов и читателями, автор эссе осмеливался задеть также писательские авторитеты. Цветаева вступила в спор с Бунинным (прямо, правда, не названным) и с Зинаидой Гиппиус. Она не соглашалась с их предвзятыми характеристиками творчества Блока, Есенина и Пастернака, не прощала подтасовок с цитатами и категорических приговоров. В основе предвзятости она увидела неприятие прежде всего политической позиции этих поэтов.

Пафос статьи «Поэт о критике» созрел в Цветаевой долго — и это делает понятней его безоглядность. В самом деле, трудно было сохранить олимпийское спокойствие, из месяца в месяц читая на страницах эмигрантской периодики пассажи о «фокусах и ребусах» Пастернака. Или, скажем, о себе самой: «Ее последние стихотворения — набор слов, невнятных выкриков, сцепление случайных и кое-каких строчек» (Адамович). О поэме «Молодец»: «Сказка эта написана стихами и написана так, что ее трудно понять... Г-жа Цветаева роскошно купается в звуках, в стихии русского языка или чрезмерного русизма...» (Айхенвальд). Отзываясь о «Поэме Конца», тот же критик жаловался на усилия, которые он тщетно затратил, чтобы понять смысл произведения.

Парируя эти повторяющиеся упреки, Святополк-Мирский писал в одной из статей 1926 года: «Все непонятно для тех, кто не имеет времени понять. Искусство — создание новых ценностей... Никто не упрекает Эйнштейна за трудность теории относительности. Очевидно, стоит трудиться, чтобы понять. Не мы нужны поэтам, а они нам. Я допускаю, что многими Пастернак и Цветаева не сразу воспринимаются, но ведь надо сделать усилие и для того, чтобы попасть из дому в Британский музей...»

Дальнейшие взаимоотношения Цветаевой с Адамовичем — отдельный сюжет. Ядовито огрызнувшись в «Звене» на цветаевское эссе, Адамович затем будет многие годы изо всех сил выказывать «объективность» к высекшей его Цветаевой: разбирая очередное ее произведение, отмечать «от-



дельные прекрасные строки» — и полную неудачу целого. И, соблюдая внешне позу «объективности», время от времени ставить риторические вопросы: «Что побудило Цветаеву променять живую, неисчерпаемую в богатстве и гибкости человеческую речь на однообразные выкрикивания и восклицания?..» Поэзия Цветаевой, утверждал критик, откликаясь уже в 1928 году на сборник «После России», — «цветок быстро вянувший, по сравнению не только с Пастернаком, но и со стихами умной и ясновидящей Ахматовой...» Адамовичу принадлежит и формулировка, которой приходится отдать должное, — она сохранила свою верность до наших дней: «Поклонников не разочарует, противников не убедит...» — повторял он, откликаясь на очередное цветаевское стихотворение в поэтической рубрике «Современных записок».

В 1928 году Цветаева повторила основные мысли своего эссе, выступив на открытом диспуте «О критике в эмиграции». Она закончила выступление призывом:

— Пусть пишут взволнованные, а не равнодушные!

На что тут же громко возразил с места присутствовавший Адамович:

— Нельзя постоянно жить с температурой в тридцать девять градусов!

Эта реплика знаменательна. Устойчивая неприязнь Адамовича к самой Цветаевой и к ее поэзии, пронесенная через многие годы, произрастала из тех же корней, о которых уже приходилось говорить. То было непреодолимое отталкивание добропорядочной уравновешенности от экстати-

ческой стихии. Это отталкивание критик возводил в абсолют, чистосердечно убежденный в третьесортности «несдержанной» поэзии, крайний пример которой давала Цветаева. Главную неприязнь вызывала у него, по существу, не поэтика новых цветаевских стихов, а их «нарочитая» — он был уверен в этом! — взвинченность и «пламенность». Что экстатическое мировосприятие — вовсе не поза, а *другая органика*, имеющая все права на художественное воплощение, — это ему так и не пришло в голову. Увы! Адамовичи еще долго не переведутся на свете...

Один из первых выстрелов по цветаевской статье был сделан Осоргиным, рецензия заняла в «Последних новостях» целый «подвал». Раздражение автора вызвала более всего открыто личная тональность статьи Цветаевой. 5 мая появился другой «подвал» — на этот раз в берлинском «Руле». Его автором был Юлий Айхенвальд. Главная его претензия совпадала с той, что высказывал Осоргин: автор слишком много говорит о себе и своих вкусах. «Это изобилие домашности, это почти сплошное *pro domo sua* мешает сосредоточиться на тех ее общих мыслях о критике, которые она выражает в свойственной ей несколько растрепанной и неряшливой форме».

Осоргин был раздражен. Айхенвальд оскорблен и ядовито ироничен, но пример полемики в традициях бульварной прессы дал в газете «Возрождение» Яблоновский, постоянный оппонент-ненавистник Цветаевой. «В литературу госпожа Цветаева пожаловала с таким видом, как будто она на собственную дачу во второе Парголово переехала, — писал Яблоновский в фельетоне, озаглав-

ленном «В халате». — Она приходит в литературу в папильотках и купальном халате, как будто в ванную комнату пришла...» «Чутья к тому, что дозволено и что недозволено, нет у г-жи Цветаевой, как не было и у г-жи Вербицкой».

Звучали и еще голоса — вроде рассерженного П. Б. Струве в том же «Возрождении». Статья, озаглавленная очень строго: «О пустоутробии и озорстве», осуждала и Цветаеву и Адамовича; приговор звучал лаконично: «беспредметно, ибо безнужно».

Судя по майским письмам Марины Ивановны, язвительность критиков не слишком глубоко ее задевает. Она упоминает о них прохладно, как о сугубо внешнем, на что она всегда неохотно расходует душевные силы. В конце концов — ничего неожиданного, естественная реакция. Анне Тесковой 9 мая: «Ни одного голоса в защиту. Я удовлетворена».

В конце мая в Сен-Жиль приезжает из Парижа Эфрон. Он вымотан до предела, но очень доволен: все дела по подготовке первого номера «Верст» завершены. Печатание журнала задерживалось теперь только из-за забастовки типографских рабочих. Сергей Яковлевич собирается провести все лето в кругу семьи с чувством хорошо исполненного долга. Жена и дочь дарят ему шезлонг. Впереди — так хотелось думать — были три безмятежных месяца.

Погода, правда, продолжала оставаться скверной: шли дожди, дули холодные ветры. И все же с каждым днем множилось число приезжих на пляже, и самые отчаянные уже купались. Толстый крупный Мур учился ходить, Аля безотрывно

читала разные кинематографические журналы, Марина Ивановна, стараясь высвободить утренние часы, уединялась с тетрадками и письмами.

Но 21 июня надежда на отдых рухнула.

В этот день почтальон принес важную почту: большой пакет из Москвы и письмо из Праги. Пакет был от Пастернака: переписанная набело его новая поэма «Лейтенант Шмидт», книга «Поверх барьеров» и номер «Русского современника» — советского журнала, где стараниями Пастернака помещены были несколько стихотворений Цветаевой.

Покой разрушило письмо, пришедшее из Чехии. Валентин Федорович Булгаков сообщал о решении чешских властей лишить Цветаеву пособия, если она не вернется в Чехию немедленно. Осложнения с пособием возникали уже в январе, но тогда удалось добиться его сохранения — обещали, по крайней мере, на год. И Эфроны, с присущей им непрактичностью, истратили почти все деньги, вырученные от вечеров и публикаций, уплатив за жилье в Вандее до середины октября. Чешская «стипендия», как предполагалось, обеспечит остальные расходы семьи до осени. Вся кипучая редакторская деятельность Эфрона в «Верстах» шла пока еще на чистом энтузиазме: заработок должен был поступать только «с номера», в прямой зависимости от реализации журнала.

Положение казалось отчаянным. Возвращаться немедленно в Чехию? Но вандейские хозяева, конечно, денег не вернут, да этого нельзя и требовать. А главное — куда, собственно, возвращаться? Что делать в Чехии?

Цветаева была уверена, что угроза лишить по-

собия возникла не случайно именно теперь, что это отголосок бури, разразившейся вокруг ее статьи в «Благонамеренном», и, может быть, другой, уже собиравшейся над головой участников «Верст». Эфрон тоже считал, что сработали чьи-то недобрые усилия из Парижа.

Как назло друзья, оставшиеся в Чехии, в разъезде — летний сезон. Заступиться некому. Цветаева и Эфрон умоляют Булгакова пустить в ход все возможные связи, чтобы отменить решение. Получают же пособие Бальмонт и Тэффи, ногой не ступившие на чешскую землю!

Несколько недель проходят в волнении. Тревогу смягчает приезд друзей из Парижа: в июле в Сен-Жиль прибыла чета Сувчинских и Святополк-Мирский. Оживленные беседы наполнили вечера. И, видимо, совместными усилиями был выработан некий план спасательных операций, позволявший Цветаевой с детьми остаться в Вандее до конца срока. В Прагу же в сентябре отправится на несколько дней Эфрон. Инцидент удастся утрясти.

Сувчинский привез вышедшие наконец из типографии «Версты» — солидный строго оформленный том. В первом номере журнала редакционная группа не оповещала читателей о своей платформе. Заметка «От редакции» появилась только спустя полтора года, в «Верстах» № 3; там, среди прочего, будет сказано: «Своей прямой задачей мы по-прежнему считаем способствовать объединению той части эмигрантской интеллигенции, которая хочет смотреть вперед, а не назад; с другой стороны, способствовать пониманию русской современности в широком историческом масштабе, не забывая, что «русское шире России» и что все челове-



С. Я. Эфрон, М. И. Цветаева и П. П. Сувчинский.  
Сен-Жиль, 1926 г. (публикуется впервые)

чество, так или иначе, втянуто в наши, русские, проблемы...»

«Версты» открывались стихотворениями Сергея Есенина, покончившего самоубийством несколько месяцев назад. Далее шла «Поэма Горы» Марины Цветаевой, следом — Пастернак и Сельвинский. Проза представлена была Ремизовым, философия — Шестовым, Г. Федотовым (под псевдонимом Богданов) и Сувчинским. В разделе искусства Артур Лурье рассказывал о Стравинском, а князь Трубецкой — о поэтических метрах русской частушки. На отдельных вкладках помещены были фотопортреты — Леонова, Есенина, Пильняка, Замятина; в отличие от них портреты

Цветаевой и Пастернака символично разместились на одном листе.

«Версты» как бы подхватывали эстафету из рук тонкого русского журнала «Своими путями», выходившего в 1924—1926 годах в Праге. Журнал считался органом левого студенческого союза, объединявшего русских студентов в Чехии. Эфрон был одним из его редакторов и, по-видимому, самых активных: его имя фигурирует в списке состава редакции во всех вышедших двенадцати номерах. Общую платформу журнала сформулировала статья председателя студенческого союза Д. Мейснера, названная «Верховность идеи родины». Эта идея, утверждал Мейснер, означает «безоговорочный, абсолютный, практический патриотизм, ставящий главной задачей национальную пользу». «Отцы хотят реставрировать мир, мы хотим его трансформировать», — говорилось в другой статье. Один из номеров журнала «Своими путями» был посвящен проблемам русской эмиграции, другой — современной России, а номер шестой-седьмой был почти целиком заполнен произведениями литераторов, живущих в СССР: Пастернака, Тихонова, Зощенко, Вс. Иванова.

В нескольких номерах появилось имя Цветаевой — и как поэта, и как автора очерка о Бальмонте, а также в ответах на анкеты, предложенные редакцией. Но уровень ее сочувствия журналу неожиданно проявился осенью 1925 года.

Дело в том, что «Своими путями» долгое время не находил никакого отклика в эмигрантской прессе. И вдруг, прорывая заговор молчания, парижская газета «Возрождение» разразилась гневной статьей Цурикова «Эмигрантщина».

Цуриков назвал отношение редакции к Советской России «рабски-собачьим», а сам выпуск журнала — «блудной» затеей. Он возмущен был и помещением в одном из номеров фотографий деятелей большевистской революции, с одной стороны, и усопшего патриарха Тихона — с другой.

Этому инциденту мы обязаны первой и последней публицистической статьей, которую напишет Цветаева. 16 октября 1925 года (за две недели до ее приезда в Париж!) в газете «Дни» появился ее ответ Цурикову, названный «Возрожденщина». «Журнал (ни этот, ни другой, ни третий), — писала Цветаева, — не является ни часовней, где должны находиться только иконы, лишь портреты близких, ни Пантеоном — изображения богов и героев». Автор «Возрождения» «проглядел, то есть пропустил», утверждала Цветаева, все статьи журнала о русской прозе и русской поэзии, о русской деревне и русском студенчестве — это ему не интересно. «Статья г. Цурикова кончается призывом выбросить за борт всю «эмигрантщину». Состоя сотрудником «Своими путями», я охотно бы наравне с остальными нечистыми дала себя выбросить за борт ковчега г. Цурикова, если бы на борту сего ковчега когда-нибудь находилась. На борту сего ковчега не находилась никогда, ибо видела, из каких бревен он состоит, и с первых секунд знала, что ковчег гнилой».

Нет сомнения в том, что это темпераментное выступление Цветаевой не забыли, когда на нее обрушилась волна негодования за эссе «Поэт о критике». Слова о «гнилом ковчеге» бросили свой отблеск и на осенние страсти этого года, разгоревшиеся уже вокруг «Верст». В первом номере жур-



нала Цветаева выступала только как поэт — автор «Поэмы Горы», но и этого оказалось достаточно.

Мирский же сделал, кажется, все, от него зависящее, чтобы вызвать на себя главный огонь будущих оппонентов. В разделе «Библиография» он обрушился на литературный «генералитет» русского Парижа. Используя пятилетний юбилей «Современных записок», критик утверждал, что этот крупнейший в русском зарубежье журнал продолжает «чистую, почти беспримесную установку на прошлое», сочетающуюся с «ненавистью, почти брезгливой, ко всему новому». Авторы «Современных записок» Мирский резко делил на «литературное ядро» и «гастролеров». К «ядру» были отнесены все те, кого в Париже тех лет считали «литературным Олимпом», — Мережковский, Зинаида Гиппиус, Бунин, Зайцев, Алданов. К «гастролерам» — Андрей Белый, Цветаева, Ремизов, Шестов. Все симпатии критика были на стороне последних, устремленных творчеством в будущее. Именно они доказали, «что Россия жива не в границах Русского мира, но в царстве Духа, превыше всех границ...»

Зато характеристики и оценки авторского «ядра» «Современных записок» были предельно резки и категоричны: «Мережковский, если когда-нибудь и существовал (не как личность, конечно, а как желоб, по которому переливались порой большие культурные ценности), перестал существовать, по крайней мере, двадцать два года назад. Зайцев был когда-то близок к тому, чтобы существовать, но не осуществился: не нашлось той силы, которая могла бы сжать до плотности

бытия его расплывчатую газообразность <...>. Ходасевич — маленький Баратынский из подполья, любимый поэт всех тех, кто не любит поэзии... Зинаида Гиппиус видна во весь рост только изредка в немногих стихах... Наконец Бунин, «краса и гордость» русской эмиграции... — редкое явление большого дара, не связанного с большой личностью».

Перехлесты в оценках и рассуждениях яростного Мирского дали, по существу, дурной пример рассерженным оппонентам в перепалке, вспыхнувшей меньше чем через месяц.

Впрочем... Кто кому дал пример — ответить не просто. Приемы полемики Мирского мало отличались от стилистики обличительных статей Зинаиды Гиппиус, выступавшей как критик и публицист под псевдонимом Антон Крайний. Та же ослепляющая ярость оценок, тот же категоризм суждений, та же небрезгливость к передержкам... Стилистика, исходно исключаящую всякую возможность диалога. Приемы, пригодные для того, чтобы «заявить» о своей позиции, но не для того,

# ВЕРСТЫ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ КН.ДП СВЯТОПОЛК-МИРСКОГО, П.П. СУВЧИНСКОГО, С.Я. ЭФРОНА И ПРИ БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА, МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ И АЛБА ШЕСТОВА

## N.3

Париж

1

2

8

Обложка журнала «Версты»

чтобы побудить сторонников иной точки зрения прислушаться и задуматься...

Пятого августа в газете «Возрождение» взял слово Бунин. «Нелепая, скучная и очень дурного тона книга», — писал он о «Верстах». Вся проза и поэзия журнала — «непроходимая скука», а Святополк-Мирский «повторяет почти слово в слово все то, что пишется о нас в Москве». «Кто тот благодетель, — задавал вопрос Бунин, — тот «друг» новой России, который так щедро тратится на нее?»

Вопрос этот сыграл роль взмаха дирижерской палочки для остальных участников разразившегося скандала. Но даже Бунин показался деликатным, когда 14 августа в «Последних новостях» выступил Антон Крайний, то есть Зинаида Гиппиус. Приличных слов Гиппиус уже не выбирает и риторическими вопросами не задается. Открыто назвать Москву не только идеологическим, но и финансовым хозяином «Верст» она все же не решается, но намеки ее недвусмысленны. Опытный публицист российской выучки, она хорошо знает, что намеки еще прочнее входят в сознание читателя, прорастая в нем уже неискоренимой уверенностью. «Версты» создаются людьми органически дефективными», — утверждала Гиппиус. В поэзии они, во всяком случае, ничего не понимают. Продукция Пастернака и Цветаевой — «это не просто дурная поэзия, это вовсе не поэзия». «Поэма Горы» Цветаевой — это, по Гиппиус, — «запретельное новшество» по форме и почти непристойность по содержанию. О Пастернаке: «Либо наш русский язык — великий язык, либо наш Пастернак — великий поэт. Вместе никак не вы-

ходит...» Главный «обманщик», грубой лестью заманивший Ремизова и Цветаеву в свое предприятие, — Святополк-Мирский; ему нужны эти имена для грязного дела: разложения эмиграции изнутри. По мнению Гиппиус, «сообразительность и нюх к моменту» прикрывают у Мирского отсутствие таланта и эстетического чутья...

Словом, всем сестрам по серьгам.

Предположить у поэта Зинаиды Гиппиус просто глухоту к новому поэтическому языку Пастернака и Цветаевой не удастся: передержки и прямую недобросовестность она проявила и в другой статье, где «пересказывала» читателю содержание двух прозаических выступлений Цветаевой («О благодарности» и «Поэт о критике»). Вывод Антона Крайнего однозначен: «Данная группа идет к соединению не с Россией и не с русской литературой, а с Советами: то есть идет против России и против свободного искусства».

Оперативно включаются в хор «Современные записки». В № 29 журнала отклик на «Версты» подписан Владиславом Ходасевичем. В эту пору жизни Ходасевич близок к Мережковским, называвшим его «Арионом русской поэзии», однако тональность его статьи в целом гораздо спокойнее. Имя Цветаевой здесь не упомянуто вообще (как и имя Пастернака), рассуждения сосредоточены по преимуществу вокруг действительно важного: попытки авторов «Верст» найти «третью позицию» в русской проблеме. Попытка, по мнению Ходасевича, не удалась, ибо «главный дирижер и хозяин» журнала Святополк-Мирский «хорошо усвоил самые дурные литературные приемы... большевистской и большевизанской печати».

Полемика продолжается. Следующее слово берет союзник «Верст» — «Воля России». В 1926 году журнал этот готовился и набирался уже в Париже, хотя на обложке его по-прежнему стояло «Прага». В обзоре Мирского «Воля России» была названа «самым свежим» журналом эмиграции — в частности, за то, что она помещала на своих страницах и голоса людей, думающих иначе, чем сотрудники редакции. Марк Слоним, однако, на похвалу не поддался и, оценивая первый номер «Верст», не считал его полностью удавшимся. «Перепечатки интересны, — писал он. — Оригиналы приличны. Чужое ярко, своего почти нет». Главным литературным событием «Верст» он назвал «Поэму Горы» Цветаевой; по его словам, Цветаева — единственное в «Верстах», что «не только желание, но и свершение, но она ведь не «Версты», она вне их...». И тот же Слоним отлично пояснял остроту реакции на появление нового журнала: в «Верстах» выступили в основном «люди своего круга» — князь Святополк-Мирский, князь Трубецкой, а также Шестов, Ремизов и Цветаева, печатавшиеся в «Современных записках»... «От бывших своих всегда больше, — тонко замечал Слоним. — От обиды и жестокость полемики».

На Слонима, в свою очередь, набрасывается тот же Бунин. Это голос человека («Возрождение», 28 октября), не пытающегося сдерживать эмоции. По его словам, отношение критика «Воли России» к эмигрантской литературе старшего поколения исполнено «лакейской ярости», а в оценке Цветаевой — слышен лишь «телячий восторг», «высокопарная ахинея»...

Но благодаря бурной перепалке «Версты» почти целиком распроданы. Участники нового журнала энергично набирают материал для второго номера. «Наступление будет продолжаться, захватывая все более широкие области!» — бодро сообщает Эфрон в одном из осенних писем О. Е. Черновой-Колбасиной. И он же — в Прагу, Евгению Недзельскому, соредактору по журналу

«Своими путями»: «Нам, кажется, суждено сыграть роль объединителей эмиграции (против нас), но, конечно, ненадолго. Я убежден, что завтрашний день принадлежит нам. Так ненавидят только завтрашних победителей... Самое гнусное, что вчерашние друзья для того, чтобы нас очернить, снижаются до клеветнического нашептывания о получении нами советских субсидий!!!»



С сыном

Тем временем к сентябрю Цветаева заканчивает первую часть задуманной драматической дилогии «Тезей», начинает работу над второй. Она все еще в Вандее. В эти первые недели начинающейся осени в Сен-Жиль приехала с детьми Андреева, вместе с которой Цветаева ехала из

Чехии во Францию. Дочь Анны Ильиничны Вера сохранила в памяти сценку на берегу океана: «Когда я увидела Марину Ивановну на пляже, я в первый раз поняла, как ей идет ее имя — Марина, что значит «морская». Она лежала на песке, опершись на локоть, и, прищурившись, смотрела на море — глаза у нее были того же цвета, что океанские волны, — серо-зелено-голубые и такие же диковато-загадочные и своенравные. Серовато-пепельные волосы удивительно гармонировали с цветом бело-синего, выцветшего на солнце купального костюма. Стройные, худощавые, темно загорелые ее ноги спокойно и легко лежали на бледном песке. Совсем цыганская — худая и нервная рука нежно пересыпала сквозь длинные пальцы песок...

Я не знаю, конечно, о чем думала Марина Цветаева, глядя на море, но на ее лице было странное выражение затаенной печали и страстного ожидания — как будто бы она безмолвно звала кого-то, а тот не приходил и никогда, наверное, не придет. У бронзовой андерсеновской русалки, которая сидит на большом гладком камне у входа в гавань Копенгагена, такое выражение, — рожденная морем, она вечно тоскует о земной, недостижимой для нее стране, о теплоте и ласке людских рук».

Только в октябре Цветаева вернулась в Париж. Эфрону удалось снять скромную квартиру в Бельвю, вернее, даже полдомика, — во второй половине поселилась славная, знакомая еще по Чехии, семья кинорежиссера Туржанского. Рядом с домом — прекрасный парк. Сюда приезжает к Цветаевой гулять и беседовать Лев Исаакович Шестов...

Но кипение страстей вокруг «Верст» вовсе не утихло. Все границы приличий переходит «Новый дом». Это еще один новорожденный русский журнал, объявленный как «журнал молодых»: его возглавляют Ю. Терапиано, Н. Берберова, Д. Кнут и В. Фохт. Станным образом Берберова «забывает» упомянуть в своих мемуарах «Курсив мой» шумный эпизод, ознаменовавший выход первого номера журнала. В нем помещена была статья Владимира Злобина, снабженная эпиграфом: «Помни, помни, мой милоч, красненький фонарик...» «Красненький фонарик», как явствовало из текста статьи, следует повесить непосредственно над входом в редакцию «Верст», ибо сотрудники редакции, по убеждению автора, прямым образом связаны с «растлителями России». Самые оскорбительные стрелы здесь были выпущены в адрес Цветаевой и Ремизова. Не выдержав, близкий друг Цветаевой и Ремизова В. Б. Сосинский публично вызвал на дуэль редактора журнала Юрия Терапиано. Дуэль не состоялась. Ее заменила потасовка — и даже не одна: Сосинский был упорен в негодовании. В награду за благородство Цветаева подарила ему перстень с гербом Вандеи...

В этих бурях заканчивался первый год во Франции. Хватило нескольких месяцев для того, чтобы с непреложной очевидностью обрисовалась черта, резко отделившая Цветаеву от тех, в чьих руках были в Париже русская печать и главные эмигрантские организации.



## Глава четвертая

### МОСКВА — СЕН-ЖИЛЬ — СЬЕР,

1926

1

Триумф февральского вечера, новые друзья, поездка в Лондон, создание двух статей, трех поэм, газетный и журнальный вой вокруг эссе «Поэт о критике», а потом вокруг «Верст», лето на берегу океана, инцидент с чешским «пособием», возвращение в Париж и последний скандал, связанный с «Новым домом»... Так выглядит цветаевский 1926 год с внешней стороны. Более чем насыщенно для одного года!

Но вот обнаруживаются неизвестные ранее письма Цветаевой. Да еще — редкий подарок! — не только ее письма, но и ответы корреспондентов. И картина года резко меняется. Она получает новое измерение — глубину; становится ясно, что без этих писем цветаевская биография года предстала бы с явно смещенными акцентами. Так объемность реальной жизни не схожа с фотографией: в последней не видны как раз *главные* связи, заслоненные множеством четко зафиксированных подробностей. Подробности любопытны и вы-

разительны, но заносчиво претендуют на самостоятельную значимость. Между тем у них — свое место на шестке действительной биографии поэта.

Главный нерв *внутренней* жизни Цветасвой 1926 года теснейше связан с именами двух ее замечательных современников — Бориса Пастернака и Райнера Мария Рильке.

Переписка с Пастернаком, начавшаяся еще летом 1922 года, в марте 1926 года круто изменила свою тональность.

Почти случайно в руки Бориса Леонидовича попала ремингтонная копия цветасевской «Поэмы Конца». Он ошеломлен, восхищен, пронзен до глубины души. Его реакция на поэтические строки совершенно той же природы, что и у Цветасвой. Как и она, он мог бы сказать, что «опрокинут», выбит из кочей. Впрочем, именно это он и говорит ей — на своем языке — в потоке, ливне писем, которые хлынут из Москвы во Францию этой весной, сначала в Париж, на улицу Рувэ, а потом в Вандею, в Сен-Жиль. Сердечное волнение в них нераздельно слито с профессиональным. Бурность реакции сам Борис Леонидович объясняет узнаванием «своего» в мире тех жизненных и духовных ценностей, которые воссозданы в поэме. «Верно, верно... Так, именно так, как в ведущих частях этой поэмы... Ты мне напомнила <...> обо мне самом, о детстве <...> Я мог бы залить тебя сейчас смехом и взволнованным любованьем, и уже и сейчас, поведив по своей жизни и рассказав про ее основанья, крылья, перистили и пр., показать тебе, где в ней начинаешься ты (очень рано, в шестилетнем возрасте!), где исчезаешь, возоб-

новляешься (Мариной Цветаевой Верст), напоминаешь собственное основание, насильно теснишься мной назад, и вдруг... начинаешь наступать, растешь, растешь, повторяешь основание и обещаешь завершить собою все, объявив — шестилетнюю странность лицом целого...»

В огромном, трепетном, сумбурном письме, написанном 25 марта, Пастернак снова и снова на разные лады возвращается к этой главной радости — узнаванию родства. В «Поэме Конца» прекрасная поэзия прежде всего тем и прекрасна для него, что замешена на «основаниях», дорогих с детства, — на тех, которые нельзя предать, но от которых жизнь постоянно отводит, объявляя их несущественными. И потому к радости присоединяется благодарность: за напоминание, за подтверждение, за преданность тому высокому строю духа, который стремительно уходит из современного мира. «Ты страшно моя и не создана мною, вот имя моего чувства». «Ты моя безусловность, ты с головы до ног горячий, воплощенный замысел, как и я, ты — невероятная награда мне за рождение и блуждания, и веру в добро, и обиды».

В марте и апреле этого года Пастернак читает «Поэму Конца» всем, кто попадает под руку, волнуясь и каждый раз заново переживая трагедийную мощь поэмы — и реакцию слушателей. Когда в доме Бриков поэму не приняли с первых же строк, встретили «улыбочками», Борис Леонидович расстроен сверх всякой меры. Зато его вознаграждает восхищенная реакция Асеева, Тихонова, Кирсанова — и он горд, как если бы сам был автором... Поэму переписывают от руки,

обсуждают, спорят — и просят прочесть снова, в одном и в другом доме. «...Сижусь сутулясь, сгорбась, старшим. Сижусь и читаю так, точно ты это видишь, и люблю тебя и хочу, чтобы ты меня любила». «И прерывающимся голосом посвящая их в ту бездну ранящей лирики, Микельанджелловской раскидистости и Толстовской глухоты, которая называется Поэмой Конца». «Потом, когда они перерождены твоей мерой, мудростью и безукоризненной глубиной, достаточно повести бровью и, не меняя положения, бросить шепотом: «А? Каково! Какой человек большой!»

Этой весной пастернаковские письма приходят на парижский адрес Цветаевой одно за другим; иногда Борис Леонидович пишет их по несколько раз в неделю. Это необузданный ливень любви и радости. Ибо восхищение поэмой — родством «оснований» — предельно обострило нежность и жажду выразить ее безо всякой оглядки. В том же письме 25 марта: «Как удивительно, что ты — женщина. При твоём таланте это ведь такая случайность! И вот, за невозможностью жить при Дебор-Вальмор (какие редкие шансы в лотерее!) — возможность — при тебе. И как раз я рождаюсь. Какое счастье... Я люблю и не смогу не любить тебя долго, постоянно, всем небом, всем нашим вооружением, я не говорю, что целую тебя только оттого, что они падут сами, лягут помимо моей воли, и оттого, что этих поцелуев я никогда не видал. Я боготворю тебя».

Двадцатого апреля в очередном письме, заполненном все той же не утихающей бурей, Пастернак задает вопрос, на который умоляет ответить свободно: «Оглянись и вдумайся в свое, только в

то, что кругом тебя: ехать ли мне к тебе сейчас или через год?» «Я верю в твои основания...» — пишет он.

Нетерпеливое желание увидеться (у Бориса Леонидовича были еще в это время реальные возможности поездки за границу) борется в нем с тормозящим ощущением «пустых рук», «несделанного», что только еще зарождается на кончике пера. Между тем они собираются с Цветаевой поехать к Рильке, обожаемому обоими поэту, в Швейцарию. Но с чем ехать? Это мучает Пастернака, остро и беспощадно пересматривающего в эти месяцы свою творческую работу последних лет.

Увы, мы располагаем только частью цветаевских писем Пастернаку — ее письма начала этого года и весны не сохранились; приходится восстанавливать их содержание и тональность по письмам Пастернака.

Ответ на главный вопрос приходит из Вандеи быстро: 8 мая Борис Леонидович уже держит его в руках. И в первых же строках его очередного письма отчетливо слышен вздох облегчения: «Благодарю и верю. Как трудно писать! Сколько его накатывало и расходовалось в эту неделю. Ты указала берега. О, насколько я твой, Марина! Везде, везде! Вот он, твой ответ. Странно, что он не фосфоресцирует ночью. Такой чудесности я не допускал. Я бродил вокруг да около того же, я двадцать раз уезжал, и двадцать раз меня останавливал голос, который я ненавидел, пока он был моим. Ты и тут предупредила. И как! Знаешь ли ты, что, заговоря, ты всегда превосходишь представление, даже внушенное обожаньем!.. Твой ответ — чудный, редкостный...»

В обычной для нее роли сильного в любом партнерстве («мужской» роли, особенно заметной в сопоставлении с женственно-мягким Пастернаком), Цветаева не только брала на себя решение об отсрочке свидания, но, видимо, еще и сформулировала те самые «основания», которые он сам не решался произнести вслух. Она отлично уловила колебания своего друга — они были ей близки и понятны с полуслова. То были их общие «основанья»: приоритет творчества. «Кастальскому току, взаимность, заторов не ставь!» — так сказала она об этом сама в стихотворении, написанном еще в Чехии.

Правда, Борис Леонидович смутно предчувствует, что оба они, кажется, приносят в жертву нечто, чего жизнь во второй раз уже не предложит. И, соглашаясь, сладостно подчиняясь, он вдруг заканчивает письмо неожиданным всплеском горечи: «И все-таки, что я не поехал к тебе — промах и ошибка...»

Однако решение принято.

Как неудачно, как обидно они встретятся через девять лет в Париже! Отложенную радость никаким волевым усилием уже не воскресить, как не войти дважды в одну и ту же реку...

Благоразумие цветаевского ответа, такое, кажется, ей несвойственное, может поначалу нас удивить. В пламенных весенних письмах Бориса Леонидовича она, может быть, первый раз в жизни слышала то самое, что в ее глазах было «сновиденным», высшим, что может связать двух людей на земле. «Любите мир во мне, не меня в мире», — писала она Бахраху еще летом 1923 года; то же самое, в вариациях, повторяла другим корреспон-

дентам, едва возникала иллюзия сердечной близости. «Мне важно, чтобы любили не меня, а мое я...» Идеальным образом то и другое сливается теперь в отношении к ней Пастернака.

Но все труднее ей дать волю своему неблагоразумию. Заботы о доме, годовалый сын на руках, едва устроенный летний отдых детям и мужу, отсутствие няни и лишнего франка — вот галера, к которой она теперь прикована прочнее, чем когда-либо.

И все же в основе ее сдержанности на этот раз легко видятся и другие мотивы. Порыв Пастернака опоздал на три года. В феврале 1923-го Марина готова была сорваться из Чехии в Берлин, хоть на день, чтобы увидеться, — так необорима была ее околдованность присланной книгой его стихов — а значит, и им самим; удержало только отсутствие визы. Но за три года безудержность поостыла. Сроки их встречи уже несколько раз переносились. Родился маленький Мур; отношение к Пастернаку обрело стабильность нежной сердечной преданности. И теперь она уже трезвее оглядывалась на обстоятельства. Да и куда мог бы сейчас приехать Пастернак? Какой могла быть их встреча — в обрамлении детей и забот о кухне? И Цветаева предлагает свой вариант встречи: через год — в Лондоне. Там живет Святополк-Мирский, страстный поклонник не только Цветаевой, но и Пастернака, и — еще важнее: там не будет быта, его царапающих углов и шипов...

Этим летом, уже в середине июля, она напишет из Сен-Жиля в письме к Андрониковой важные для нас строки. Они вызваны сообщением о предстоящем замужестве Саломеи Николаевны: «Торо-

пить венец (здесь) — торопить конец. (Что любовь — что елка!) Я, когда люблю человека, беру его с собой всюду, не расстаюсь с ним в себе, усваиваю, постепенно превращаю его в воздух, которым дышу и в котором дышу, — и всюду и в нигде. Я совсем не умею вместе, ни разу не удавалось. Умела бы — если бы можно было нигде не жить, все время ехать, просто — не жить. Мне, Саломея, мешают люди, номера домов, часы, показывающие 10 или 12 (иногда они сходят с ума — тогда хорошо), мне мешает собственная дикая ограниченность, с которой сталкиваюсь — нет, заново знакожусь, — когда начинаю (пытаться) жить. Когда я без человека, он во мне целей — и цельней. Жизненные и житейские подробности, вся жизненная дробь (жить — дробить) мне в любви непереносна, мне стыдно за нее, точно я позвала человека в неубранную комнату, которую он считает моей. Знаете, где и как хорошо? В новых местах, на молу, ближе к *нигде*, в часы, граничащие с *никоторым*. (Есть такие)».

Замечательна в этом письме и дальнейшая оговорка: в другие минуты, признается Цветаева, в другом состоянии, не столь исполненном «силы и воли», она с не меньшей убедительностью могла бы обосновать обратное. Ибо все совмещается в ее сердце — и знание невозможного и неутолимая к нему тяга: «Знаю и другую песенку, *всю* другую!...»

Спустя много лет другой корреспондентке она дала и еще одно пояснение этому эпизоду 1926 года — страх катастрофы: «Наша реальная встреча была бы прежде всего большим горем (я, моя семья, моя жалость, его совесть)»... То же опасе-



ние Цветаева расслышала, конечно, и в письмах Пастернака, оно было выражено там на присутствии ее другу не слишком внятном языке, среди растерянных упоминаний о жене и сыне: «стрелочная и железнодорожно-крушительная система драм не по мне...»

## 2

Между тем начинается второе действие лирического сюжета этого года.

В начале мая в Сен-Жиль приходит на имя Цветаевой письмо, пересланное из Парижа. Обратный адрес: Швейцария, Сьер, замок Мюзо. Отправитель — Райнер Мария Рильке.

То был подарок, не сравнимый ни с одним из тех, какие ей довелось получать когда-либо. Щедрый подарок Пастернака, задуманный им еще несколько месяцев назад.

История письма восходила к тому самому мартовскому дню в Москве, когда в руки Бориса Леонидовича попала «Поэма Конца». Этот день надолго запомнился ему наслоением двух ошеломительных событий. Первым стала цветаевская поэма. Другое явилось в виде письма из Мюнхена, от отца. Леонид Осипович Пастернак спешил пересказать сыну только что полученное письмо Рильке, с которым он был знаком в давние годы. Среди прочего знаменитый теперь поэт сообщал Пастернаку-старшему, что с удовольствием прочел стихи его сына и искренне обрадован его ранней славой.

«Я отодвинулся от стола и встал. Это было вторым потрясением дня. Я отошел к окну и заплакал.



Только через восемнадцать дней Борис Леонидович решится сам написать Рильке. За это время он придумал неожиданный ход, не слишком понравившийся отцу поэта. Прямой почтовой связи между Швейцарией и СССР тогда не было, и во всех случаях письмо к Рильке должно было идти через посредника. Пастернак-старший считал, что наиболее естественным таким посредником мог бы стать он сам, живший в Мюнхене. Но младший придумал другое. Он выбрал в посредницы Цветаеву. Сообщив Рильке через отца ее парижский адрес, он отрекомендовал ее в письме как своего друга и поэтессу, «которая любит Вас не меньше и не иначе, чем я, и которая (как бы широко или узко это ни понимать) может в той же степени, что и я, рассматриваться как часть Вашей поэтической биографии в ее действии и охвате».

«...Я хотел бы, — писал Пастернак, — о ради Бога, простите мою дерзость и видимую назойливость, я хотел бы, я осмелился бы пожелать, чтобы она тоже пережила нечто подобное той радости, которая, благодаря Вам, излилась на меня. Я представляю себе, чем была бы для нее книга с Вашей надписью, может быть «Дуинезские элегии», известные мне лишь понаслышке...»

Этот-то пастернаковский подарок — письмо от Райнера Мария Рильке — и пришел в Сен-Жиль в начале мая. Растроганный признаниями русского поэта, Рильке исполнял его просьбу с обычной для него сердечностью. «Во время своего прошлогоднего, почти восьмимесячного пребывания в Париже, — писал он Цветаевой, — я возобновил знакомство со своими русскими друзьями, которых не видел двадцать пять лет. Но почему — спра-

шиваю я себя — почему не довелось мне встретиться тогда с Вами, Марина Ивановна Цветаева? Теперь, после письма Бориса Пастернака, я верю, что эта встреча принесла бы нам обоим глубочайшую сокровенную радость. Удастся ли нам когда-либо исправить это?..»

Письмо к Пастернаку было вложено в тот же конверт. Цветаевой надлежало переправить его дальше, в Россию.

В современной европейской культуре не существовало имени, которое могло бы взволновать Марину Ивановну больше, чем имя Райнера Марии Рильке. Творчество поэта, получившего широкое признание в 10-х годах XX века, давно стало для нее, так же как и для Пастернака, эталоном истинной поэзии. Книжечку его стихов она увезла с собой из Москвы, не расставалась с ней в Праге и в Париже. Прошедшей осенью вместе с Пастернаком она пережила беспокойные недели, когда распространился слух — по счастью, оказавшийся ложным — о смерти поэта.

Из Парижа Рильке уехал в августе 1925 года, Цветаева приехала туда в ноябре — встретиться они не могли. Но сожаление о невстрече прозвучало как разрешение на ответ. Спустя два дня пришли по почте, в дополнение к письму, две книги Рильке — «Сонеты к Орфею» и «Дуинезские элегии». Так возникает еще одна переписка этого года, соперничающая с перепиской Цветаевой и Пастернака.

Цветаева как корреспондент — отдельная тема. Ее пристрастие к письмам кажется уникальным, несмотря на имеющиеся в русской культуре

аналогии. Она пишет не только тем, кто отделен от нее верстами и милями, но и тем, кто живет рядом, почти через улицу; пишет человеку, с которым только что рассталась и которого увидит через день или уже наутро; пишет уезжающему — чтобы, простившись на вокзале, сказав все последние слова, вручить конверт — и досказать нечто письменно, когда собеседника уже не будет рядом. Это вовсе не обязательно любовные письма: так пишет она и семилетней дочери, отправляя ее на месяц в деревню, еще не расставшись, посреди еще не собранных в дорогу вещей; так пишет сестре Анастасии в самый канун ее отъезда из Медона, где та гостила в 1927 году...

Странное, на первый взгляд, признание мы найдем в одном из цветаевских писем Пастернаку: «Мой любимый вид общения — потусторонний: сон: видеть во сне. А второе: переписка...» Странного у Цветаевой немало; важнее, однако, что в таких признаниях она ничего не придумывает — ей нужно верить. В самом деле: главное, что ей нужно от другого человека — сокровенное, глубинное, а не поверхностно-бытовое общение. И если уж наяву, а не во сне, то это прежде всего потребность сердечной беседы, свободного разговора, безоглядной исповеди. Совместность в «часах и днях» от всего этого слишком часто уводит. И потому письменное слово в ее глазах — более совершенно, чем устное. В нем меньше зависимости от сиюминутных обстоятельств, меньше ограничений и случайностей, больше свободы. Наедине с письмом можно не спешить — додумывая мысль, отыскивая формулировку, добираясь постепенно до главного. Вишняку-«Ге-

ликону» она написала в 1922 году: «И подумать только, что, если бы мы были вместе, я бы ничего не узнала из того, о чем только что поведала Вам! Как все обретаётся, когда расстаются...»

Ее письма душевно близким людям (или тем, кто кажется ей таковым в момент письма) — тот же дневник, возможность быть собой, вырвавшись из пут обыденного и бытового, возможность оста-

новить поток времени и распрямиться в нем, вглядываясь в себя и вокруг. Но это еще и разрядка внутреннего напряжения, выход давящего избытка мыслей, чувств, наблюдений, рождающихся в ней ежеминутно, — они перестают так остро жечь, когда высказаны другу. И потому лучший для нее адресат — тот, кому можно писать без повода и «сюжета»; больше других ее занимают всегда экзистенциальные темы, искать которые не приходится — они всегда под рукой.

Письма таким адресатам подчас производят впечатление невыправленного черновика: они отрывочны, отдельные части связаны произвольными ассоциациями, иная фраза (а то и абзац)



С. Алей. Конец 1925

будто спотыкается, затрудненно пробиваясь к ясности. Кажется — чего проще? Зачеркнуть и написать заново! И Цветаевой тем легче это сделать, что она имеет обыкновение сначала писать письма себе в тетрадку, а уж затем переписывать адресату. Но нет! Не только в письмах, но и в прозе она дорожит самым процессом поисков слова, дорожит тем, что «сорвалось» с пера. «Записать мысль, — скажет она в письме некоему господину Люсьену, — значит уловить ту первую, первичную, стихийную, мгновенную форму, в которой она появилась изначально». Ничего не вычеркивая, она сохраняет как бы живое тепло рождающейся на наших глазах мысли — мы присутствуем при ее воплощении в слово. И это одна из причин, не позволяющих причислить цветаевские письма к легкому чтению. Подряд их читать утомительно: они слишком насыщены внутренне и бессобытийны внешне. Тут нужен особенный интерес — не к событиям...

Эпистолярное наследие Цветаевой — решительно другой природы, чем, скажем, письма Чехова или Ахматовой; при всей их разности, это письма одной традиции. Письма Цветаевой по своему характеру родственны скорее пастернаковским или — еще более — письмам Андрея Белого, хотя и тут, конечно, нужны многие оговорки. Но их роднит безоглядная открытость перед адресатом, полная свобода от самоконтроля, полное отсутствие заботы о форме и о рамках «приличного», поглощенность самим процессом самовыражения. Из них троих Цветаева еще, пожалуй, наиболее «резва» и рационалистична.

Рильке привела в восторг цветаевская сти-

листика. Он скажет ей об этом в одном из июльских писем: «Меня восхищает твое умение безошибочно искать и находить, неистощимость твоих путей к тому, что ты хочешь сказать... Всякий раз, когда я пишу тебе, я хочу писать, как ты: сказать себя на твоём языке при помощи твоих невозмутимо спокойных и в то же время таких страстных средств. Как отражение звезды, Марина, твоя речь, когда оно появляется на поверхности воды, и, искаженное, встревоженное водою, течением ее ночи, ускользает и возникает снова, но уже на большей глубине, как бы сроднившись с этим зеркальным миром, — и так после каждого исчезновения: все глубже в волнах!..»

Первое же письмо Цветаевой к Рильке поражает своей раскованностью. В нем нет и следа той робости, которая заставила Пастернака в его апрельском письме поэту бесконечно оговариваться, прося извинений за многословие, растянутость, возможные ошибки и отнимаемое на чтение письма время. Цветаева умеет быть любезной — по всем правилам хорошего тона — в деловых письмах. Но когда ее адресат — Рильке, она уверена, что можно не думать ни о чем внешнем и оставаться собой, не опасаясь неверных толкований; можно сразу, без разбега и оглядки говорить о насущном.

«Сен-Жиль-сюр-Ви,  
9 мая 1926

Райнер Мария Рильке!

Смею ли я назвать Вас так? Ведь Вы — воплощение поэзии — должны знать, что уже само



Ваше имя — стихотворение. Райнер Мария — это звучит по-церковному, по-детски, по-рыцарски. Ваше имя не рифмуется с современностью, оно идет из прошлого или будущего, издалека. Ваше имя хотело, чтобы Вы его выбрали. (Мы сами выбираем наши имена, случившееся — всегда лишь следствие.)

Ваше крещение было прологом к Вам всему, и священник, крестивший Вас, воистину не ведал, что творил.

Вы — не самый мой любимый поэт (самый любимый — степень), Вы — явление природы, которое не может быть моим и которое не любят, а ощущают всем существом, или (еще не все!) Вы — воплощенная пятая стихия: сама поэзия, или (еще не все) Вы — то, из чего рождается поэзия и что больше ее самой — Вас.

Речь идет не о человеке — Рильке (человек — то, на что мы осуждены!), а о духе — Рильке, который еще больше поэта и который, собственно, и называется для меня Рильке — Рильке из послезавтра.

Вы должны взглянуть на себя моими глазами: охватить себя их охватом, когда я смотрю на Вас, охватить себя — во всю даль и ширь.

Что после вас остается делать поэту? Можно преодолеть мастера (например, Гете), но преодолеть Вас — означает (означало бы) преодолеть поэзию. Поэт — тот, кто преодолевает (должен преодолеть) жизнь.

Вы — неодолимая задача для будущих поэтов. Поэт, что придет после Вас, должен быть Вами, т. е. Вы должны еще раз родиться.

Вы возвращаете словам их изначальный смысл,

вещам же — их изначальное название (и ценность) ...»

Она написала затем немного о себе — о переезде из России в Прагу и из Праги в Париж. Написала о Пастернаке — как о первом поэте России («об этом знаю я и еще несколько человек, остальным придется подождать до его смерти»). Шла уже четвертая страница письма. Она продолжала:

«Я жду Ваших книг, как грозы, которая — хочу или нет — разразится. Совсем как операция сердца (не метафора!), каждое (твое!) стихотворение врезается в сердце и режет его по-своему — хочу или нет. Не хотеть!

Знаешь ли, почему говорю тебе Ты и люблю тебя и — и — и — потому что ты — сила. Самое редкое.

---

Ты можешь не отвечать мне, я знаю, что такое время, что такое стихотворение. Знаю также, что такое письмо. Вот.

---

В кантоне Во, в Лозанне я была десятилетней девочкой (1903) и многое помню из того времени. Помню взрослую негритянку в пансионе, которая должна была учиться французскому, она ничему не училась и ела фиалки. Это — самое яркое воспоминание. Голубые губы — у негров они не красные — и голубые фиалки. Голубое Женевское озеро — уже потом.

---

Чего я от тебя хочу, Райнер? Всего. Ничего. Чтобы ты разрешил мне каждый миг моей жизни подымать на тебя взгляд — как на гору, которая меня охраняет (словно каменный ангел-хранитель!).

Пока я тебя не знала, я могла и так, теперь, когда я знаю тебя, — мне нужно разрешение.

Ибо душа моя хорошо воспитана.

...Я читала твое письмо на берегу океана, океан читал со мною, мы оба читали. Тебя не смущает, что он читал его? Других не будет, — я слишком ревнива (к тебе — ревностна).

*10 мая 1926*

Хотите знать, как сегодня (10-го) я получила Ваши книги? Дети еще спали (было 7 утра), я внезапно встала и подошла к двери. И в этот момент — рука моя лежала уже на дверной ручке — постучал — прямо в мою руку — почтальон. Мне оставалось лишь завершить движение и, открыв дверь, все той же, еще хранившей стук рукой, принять Ваши книги.

Я их еще не открывала, иначе это письмо не уйдет сегодня — а оно должно лететь...»

Цветаевскую манеру стремительно сокращать дистанцию в письме, даже если оно обращено к малознакомому человеку, мы уже знаем. Благоговение перед Рильке ничего не изменило. И когда теперь с ее пера соскальзывает непреднамеренное «ты», она оставляет это, делая лишь мимолетнюю оговорку. Она убеждена: сильные смотрят с улыбкой на переступающих границы — оборонительные тревоги им неведомы.

Заметим, что ее «люблю» произнесено здесь

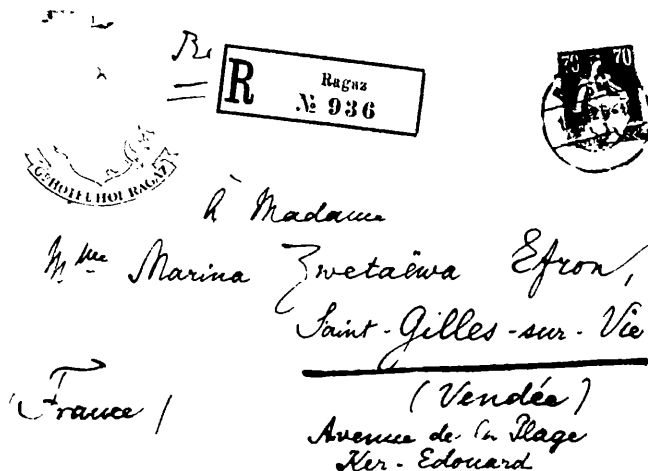
совсем иначе, чем в письме Пастернака тому же адресату? «Я люблю Вас, — писал Борис Леонидович, — так, как поэзия может и должна быть любима, как живая культура славит свои вершины, радуется им и существует ими». Деликатность и воспитанность обрекает Бориса Леонидовича на сложные формулы вежливости, хотя нет сомнения в том, что и его притягивало к Рильке чувство более личное, чем восхищение великим метром.

Цветаева, как всегда, говорит проще, открытее — и ближе к истине; в этот момент ей дела нет до культуры в целом!

И Рильке не только не смущен тональностью цветаевского письма — он зачарован им. Его второе письмо исполнено глубокого волнения и радости. С легкостью он принимает и перенимает ее «ты» — и делает со своей стороны огромный шаг навстречу, не скрывая испытанного потрясения и сердечной встревоженности. Посылая свое первое послание поэту, Цветаева поставила на нем опережающее число — намеренно или случай-



Р.-М. Рильке



Конверт письма Рильке Цветаевой

но, сказать трудно, — но эффект присутствия рядом пережит Рильке сполна.

«Валь Мон,  
район Глиона сюр Территэ (Во),  
Швейцария,  
10 мая 1926

Марина Цветаева,  
неужели Вы только что были здесь? Или: где был я? Ведь десятое мая еще не кончилось, и странно, Марина, Марина, что над заключительными строками Вашего письма (вырвавшись из времени, совершив рывок в то неподвластное времени мгновение, когда я читал Вас) Вы написали именно это

versteht gehabt, die ich mit Führung  
und Eingrifflichkeit gelassen habe (denn ich  
war noch ziemlich wenigstens immer erst  
nach einiger Eingrifflichkeit und Führung, nach  
mindestens noch leicht). Ein Aufenthalt  
in Paris, im vorigen Jahr, durch fast acht  
Monate hat mich mit mehreren Freunden,  
die ich fünfzigtausend Jahre nicht gesehen  
habe wieder zu Umgang gebracht. Aber ge-  
lassen, es wird ich mich jetzt fragen, —  
warum ist es mir nicht vergnügt gewesen,  
kann ich begreifen, Marina Khovricha  
Khovricha? Nach Peter Pasternak Brief  
aus ob gleichem das sind beiden aus ist  
die Begreifung der tiefsten inneren Freude  
ausgesprochen. Wird noch das gleiche  
nachleben lassen?!

S. 1.

P. M. Rylke

Freigeizig ist mir dieses verfallen im deutschen, ist auch  
denn für den Fall, dass Ihnen diese Freude, wenn der Augen, gelingen von sollte

Rechnung und hat Mont par  
Glein in der Nacht  
Laut!  
Glein

am 3. Mai 1926

Liebe Dichterin

ich schalte in diesen Brief  
einen noch mündlich ausgesprochenen, von  
Freunde von Khovricha Briefe ich  
gehörten Brief von Peter Pasternak  
über, was dem Schreiben an Dichterin  
und beantwortet in mir aufregt, mit,

Автограф первого письма Р.-М. Рильке Цветаевой

число! Вы считаете, что получили мои книги деся-  
того (отворяя дверь, словно перелистывая страни-  
цы)... но в тот же день, десятого, сегодня (веч-  
ное Сегодня духа) я принял тебя, Марина, всей  
душой, всем моим сознанием, потрясенным тобою,  
твоим появлением, словно сам океан, читавший с  
тобой вместе, обрушился на меня великим потоком  
сердца. Что сказать тебе? Ты протянула мне по-  
очередно свои ладони и вновь сложила их вместе, ты  
погрузила их в мое сердце, Марина, словно в русло  
ручья: и теперь, пока ты держишь их там, его  
встревоженные струи стремятся к тебе... Не  
отстраняйся от них! Что сказать: все мои слова  
(будто они уже присутствовали в твоём письме,  
появившись как бы до поднятия занавеса), все

мои слова рвутся к тебе, и ни одно не желает пропустить другое вперед. Не потому ли так спешат из театра люди, что вид занавеса после обилия прошедшей перед их глазами жизни невыносим для них? Так и мне, прочитавшему твое письмо, невыносимо видеть его вновь в конверте. (Еще раз, еще!) <...> Я открыл атлас (география для меня не наука, а отношения, которыми я спешу воспользоваться), и вот ты уже отмечена, Марина, на моей внутренней карте: где-то между Москвой и Толедо я создал пространство для натиска твоего океана.

...Чувствуешь ли, поэтесса, как сильно овладела ты мной, ты и твой океан, так прекрасно читавший с тобою вместе; я пишу как ты, и подобно тебе спускаюсь из фразы на несколько ступенек вниз, в полумрак скобок, где так давят своды и длится благоуханье роз, что цвели когда-то. Марина: я уже так вжился в твое письмо! И поразительно, что брошенные, как кости, твои слова падают — после того как цифра уже названа — еще на ступеньку ниже и показывают другое, уточняющее число, окончательное (и часто большее)! Милая, не ты ли — сила природы, то, что стоит за пятой стихией, возбуждая и нагнетая ее?.. И опять я почувствовал, будто сама природа твоим голосом произнесла мне «да», некий напоенный согласьем сад, в центре которого фонтан или — что еще? солнечные часы. О как ты перерастаешь и овеваешь меня высокими флоксами твоей солнечной речи!..»

Они обменяются еще письмами, интонация которых сохранит ту же сердечную открытость, и Цветаева вдруг умолкнет. Рильке теряется в

догадках, не в силах объяснить себе, в чем дело. Между тем молчание это заполнено для Цветаевой самоборением, самовзнузданием и горечью. Ее неожиданно больно задела строки в очередном письме Рильке, где поэт говорил об одиночестве как о жестоком, но необходимом условии всякого творчества. Она достаточно хорошо знала, что это святая правда. И все-таки сейчас ей услышалось в его словах отстранение, деликатная просьба о покое. Тем более что в том же письме, упоминая о своем нездоровье, Рильке просил писать ему, даже если он не сможет сразу ответить. Болевая реакция Цветаевой была неадекватной. Боль оглушила ее настолько, что слова о недуге, мучившем поэта, остались явно неслышанными. Не сказались ли здесь собственное несокрушимое здоровье и привычка относиться к изредка подступавшим хворям с пренебрежением?

Но ни сам Рильке, ни его врачи и друзья не подозревали еще в эти месяцы, что жить ему оставалось немногим более полугода. Его болезнь оказалась лейкемией. Это выяснилось слишком поздно — впрочем, все равно лечение не могло принести никаких результатов. Пока еще болезнь определяли как заболевание нервного ствола, и пятидесятидвухлетний Рильке с трудом привыкал к чувству странной неподвижности, которую он все чаще в себе ощущал...

Между тем Цветаева уже самой себе поставила диагноз, объясняющий остроту ее уязвленности. Со своей неукротимой страстью к предельной откровенности она сообщит его через некоторое время и Рильке. А пока, еще не оправившись, она пишет Пастернаку, пугая и расстраивая его



резкостью своих формулировок. Она сравнивает Рильке с морем в Вандее — «холодным, шарахающимся, невидимым, нелюбящим, исполненным себя». Она говорит нарочито жестко, чтобы избавиться от иллюзий. Она хочет ввести в берега их с Борисом сладостные надежды на будущую встречу втроем. Это вовсе не развенчание Рильке, наоборот, новое понимание его высоты. «Меня сбивает с толку, выбивает из стихов — вставший Nibelungenhort<sup>1</sup> — легко ли справиться? — пишет она Пастернаку. — Ему не нужно. Мне больно... Он глубоко наклонился ко мне — может быть, глубже, чем... (неважно) — и что я почувствовала? Его рост. Я его и раньше знала, теперь знаю его на себе».

Спустя три дня она все же решается написать Рильке. Ей всегда легче пойти на риск разрыва, чем играть в недомолвки.

«Сен-Жиль-сюр-Ви,  
3 июня 1926

Многое, почти все, остается в тетради. Тебе — лишь слова из моего письма к Борису Пастернаку.

«Когда я спрашивала тебя, вновь и вновь, что мы будем с тобой делать в жизни, ты однажды ответил: «Мы поедem к Рильке». А я отвечу тебе, что Рильке перегружен, что ему никто не нужен, ничто не нужно. От него исходит холод имущего, в собственность которого я уже включена. Мне нечего ему дать, у него все уже есть. Я не нужна ему, и ты ему тоже не нужен. Сила всег-

---

<sup>1</sup> Сокровище нибелунгов (нем.). Нибелунги — мифическое племя карликов; «Песнь о нибелунгах» — средневековый германский эпос. Цветаева не раз упоминает о нем в своих письмах и произведениях.

да заманчива, но — отвлекает. Нечто в нем (ты знаешь, как это называется) не желает отвлекаться. Не имеет права.

Эта встреча — удар мне в сердце (сердце не прекращает свои удары, но получает их, устремляясь ввысь!), тем более, что я сама такая же в лучшие высшие свои часы...»

Но дальше она объяснит и другое, не менее важное, что поняла о себе самой в минувшие две недели, — Пастернак об этом мог только догадываться: «Моя любовь к тебе раздробилась на дни и письма, часы и строки. Отсюда — беспокойство. (Потому ты и просил о покое!) Письмо сегодня, письмо завтра. Ты живешь, я хочу тебя видеть. Пересадка из Всегда в Теперь. Отсюда — терзание, счет дней, обесцененность каждого часа, час — всего лишь ступень к письму. Быть в другом или иметь другого (или хотеть иметь, вообще — хотеть, все равно!). Я это заметила и замолчала.

Теперь это прошло. Когда я чего-то хочу, я быстро с собой справляюсь. Чего я хотела от тебя? Ничего. Скорей — вокруг тебя. Быть может, просто — к тебе. Без письма уже выходило — без тебя. Дальше — больше. Без письма — без тебя, с письмом — без тебя, с тобой — без тебя. В тебя! Не быть. — Умереть!

Такова я. Такова любовь — во времени. Неблагодарная, сама себя уничтожающая...»

Откуда было знать Рильке, не читавшему ни цветаяевской лирики, ни «Поэмы Конца», что волевой голос и решительные интонации в письмах, пришедших к нему из Вандеи, принадлежат женщине с таким незащищенным сердцем! Что прекрасная поэзия всегда вызывала в ней *личное*

отношение к творцу — и уж тем более, если он сам окликал ее живым сердечным словом.

Не надо ее окликать:  
Ей оклик — что охлест. Ей зов  
Твой — раною по рукоять,—

об этом уже сказано было в ее «чешской» лирике. Там же прозвучала и ее самообороняющаяся мольба:

Уплочено же — вспомни мои крики!—  
За этот последний простор.  
Не надо Орфею сходить к Эвридике  
И братьям тревожить сестер...

Образ Эвридики, которую Орфей пытается почти против ее воли вывести из царства теней в живую жизнь, не раз возникнет в ближайшие два месяца в цветаевских письмах к Пастернаку. Возникнет закономерно: как раз в это время Цветаева читает присланные ей рильковские «Сонеты к Орфею». «До страсти хотела бы написать Эвридику: ждущую, идущую, удаляющуюся... Если бы ты знал, как я вижу Аид!» — пишет она Борису Леонидовичу. В другом письме (ему же) Эвридика, хоть и не названа, но уже открыто спроецирована на саму себя: «Мой отрыв от жизни становится все непоправимей. Я переселяюсь, переселилась, унося с собой всю страсть, всю нерастрату, не тенью — обескровленной, а столько ее унося, что напоила б и опоила бы весь Аид. О, он бы у меня заговорил, Аид!..»

Всю свою жизнь Цветаева проживет с ощущением «нерастраты страстей». Она не винит в этом Форуну. Она догадывается, что еще больше дело в ней самой — протратить сокровищницу ее

страстей, ее запасов нежности было невозможно. Но был и еще один залог «нерастраты» — в ее требовательной, слишком бескомпромиссной природе, целиком подчиненной ее дару, призванию, Всаднику на красном коне — счастливому сопернику всех ее любимых. «Ты же у лиры крепостной», — напишет она однажды Пастернаку — она знает это по себе самой. Взаимосвязь «нерастраты» и призвания она понимала еще в молодые годы:

И не спасут ни стансы, ни созвездья.  
А это называется — возмездье  
За то, что каждый раз,

Стан разгибая над строкой упорной,  
Искала я над лбом своим просторным  
Звезд только, а не глаз.

Что самодержцем вас признав на веру, —  
Ах, ни единый миг, прекрасный Эрос,  
Без вас мне не был пуст!

Что по ночам, в торжественных туманах,  
Искала я у нежных уст румяных,  
Рифм только, а не уст...

Ответное письмо Рильке на цветаевское от 3 июня замечательно. С улыбкой старшего и знающего он принимает ее объяснения; почти невежливая прямота и резкости не смутили его ни на минуту. Он не опровергает, но поправляет: «Перегруженность, ах, нет, Марина, свобода и легкость, и лишь непредвиденность (ты сама сознаешь это) и внезапность оклика! Я совершенно не был подготовлен к нему». Он снова называет и другую причину — болезнь, физическую тяжесть, с которой не может справиться, — вот единственная

реальная подоплека того, что причудилось Цветаевой как отстранение. Рильке вкладывает в конверт свои фотографии и заканчивает письмо нежной просьбой: «Когда, вопреки «нехотению», пришлешь ты мне свою — другую? Я жду ее с радостью, которую не в силах сдержать...»

Но, легко разделавшись с недоразумением, Рильке глубоко отозвался на главное. Это главное он понял с полуслова. Ничего не отменяя и не опровергая, он присоединялся к ее размышлениям. Несоединимость «Всегда» и «Теперь»; обреченность «любви во времени»; столкновение враждующих желаний — «быть в другом» и «иметь другого»... Все это прозвучало в его ушах темой, достойной ответа на высшем языке — лирическом.

В тот день, прочитав письмо, он вышел в виноградник и долго сидел там, прислонясь к слабо прогретой солнцем стене замка, привораживая ящериц бормотанием поэтических строк. Так была написана — он сам рассказал в письме эти подробности — прекрасная элегия. Он отослал и ее вместе с фотографиями в Вандею.

...О, все началось с ликования, но, переполняясь восторгом  
Мы тяжесть земли ощутили и с жалобой клонимся вниз.

Ну что же, ведь жалоба — это предтеча невидимой радости  
новой

Скрытой до срока во тьме...

Каждое слово элегии, каждый поворот мысли и образ были живым откликом на темы, предложенные Цветаевой в ее письме. Любовь «во времени» и любовь «в просторах», присвоение любимого и утрата, жалоба и одиночество — этих тем в прозе и поэзии Рильке касался не раз. Но теперь он будто впервые заново услышал их *трагедийный*

накал. И мягко оспаривал: взглянем иначе. Так устроен мир — сплетенность вечного и временного, печали и радости, гимна и жалобы, бескорыстия духа и темных земных порывов. Из власти первоначал не может полностью освободиться душа, как бы высоко она ни воспарила. Сокрушались ли об этом? Или — воспеть? «Темные боги глубин тоже хотят восхвалений, Марина». Мы неотторжимы от мира. Мы те же волны и море, небо и жаворонок в нем, мы — весна и земля. Мы — все. Но мы ничем не владеем, и жажда владеть — смертоносна. Нам дано лишь коснуться того, что мы любим — легким мгновенным касаньем, как касаются венчика розы, любуясь. Ибо сорвать — погубить...

Пропитанная мощным философским зарядом, элегия была близка Цветаевой всем своим духом — и как не пожалеть о том, что Рильке, некогда изучавший русский язык и даже писавший по-русски, все же знал его недостаточно, чтобы прочесть цветаевские стихи — и самому удостовериться в этой близости! Но он, и не удостоверившись, поверил — и угадал многое. Стихи свои, впрочем, Цветаева все-таки ему послала.

На долгие годы элегия станет ее утешением и тайной радостью. Гордостью, которую она ревниво оберегает от чужих глаз. Даже Пастернак прочтет текст элегии лишь спустя много лет.

Между Пастернаком и Рильке переписки больше нет. Их связующее звено — Цветаева, она пишет по-немецки в Швейцарию, по-русски в Россию...

В этих письмах лета двадцать шестого года

сугубо литературные проблемы обсуждаются не часто; главные драматические узлы завязываются в иной сфере. Но завязываются крепко. Начиная с конца мая переписка постоянно сотрясается толчками, взрывами, неожиданными признаниями, узнаваниями и потрясениями — и мы всякий раз отчетливо ощущаем сквозь текст нешуточную взволнованность участников. Впрочем, могло ли быть иначе вокруг непредсказуемой Цветаевой? Ее корреспонденты мягки и терпеливы, их восхищение всякий раз, кажется, только возрастает в ответ на дерзости, резкости и смятенные речи, которые доносит до них почта из Вандеи. Они осмеливаются, правда, возразить, не согласиться, оспорить — но с полной готовностью услышать и *другую правду*... Сердечные волны, связывающие всех троих этим летом, пульсируют с могучей интенсивностью, так что какой-нибудь экстрасенс, сосредоточившись, пожалуй, мог бы увидеть их колеблющиеся нити над пространствами от Москвы до Сен-Жиля и от Сен-Жиля до замка Мюзо...

Может показаться, на первый взгляд, странным, что цветаевские письма к Пастернаку ничуть не сбавили нежности. «Я так скучаю о тебе, точно видела тебя только вчера», — пишет Марина Ивановна в одном из писем самого конца мая. У заочной любви, видимо, свои законы, — может быть, она ближе к дружбе, не претендующей на единственность... И все же неким шестым чувством Пастернак догадывается о происходящем. Торопясь опередить трудные объяснения, он написал еще раньше, 23 мая: «Отдельными движениями в числах месяца, вразбивку, я тебя не домогаюсь. Дай мне только верить, что я дышу одним воз-





вблизи себя) не желаю иметь сообщника...»

Она отстаивает право на сердечную тайну, право на свой мир, скрытый даже от самых близких. Правдивость — не столь простая вещь, утверждает она; слишком часто сокровенное, едва оно названо, получает фальшивый призыв. Есть на свете высокие радости, разрушающиеся, как только в них допущен третий...

И если мы мало узнаем о литературе из этой переписки, то мы узнаем о ее творцах. Их душевный мир раскрывается нам здесь в ситуациях того напряжения, которое, застывая врасплох и принуждая к немедленной реакции, гарантирует неподдельность проявляемых свойств натуры. Мы не узнали бы их, окажись в центре эпистолярного обсуждения литературные или социально-политические проблемы: там можно обнажить часть, скрывая целое, здесь это невозможно. Мягкая сердечность Рильке, его трепетная душевная открытость и готовность с полной отдачей включиться в размышления, тревоги и сомнения своей неожиданной и страстной корреспондентки... Щедрость Пастернака, безоглядного в нежности, неловкого, трогательного и чуть старомодного в своей почти чрезмерной деликатности; «подарив», в сущности, Цветаевой дружбу Рильке, он готов теперь, по прочтении рильковских писем, отойти в тень, не позволив себе и намека на горечь... Стихийная природа Цветаевой, непрерывно преподносящая ей самой неожиданные сюрпризы... Роль Марины Ивановны в этой переписке напоминает подчас роль подростка, испытывающего — дерзостями и неуправляемыми эскападами — пределы сердечной привязанности близких. Ибо

когда Цветаева теряет душевный покой, она одержима неутолимой страстью говорить «всю правду, как она есть», без смягчения, оглядки — и необходимости; ее шквальное упорство направлено на развенчание всех условностей и самообманов, на срывание всех покровов; она готова потерять всё и всех, но досказать то, что видится ей в эти минуты экстатического подъема.

Спустя два месяца переписка с Пастернаком все же прервется — до печальных событий января следующего года. В клубке нагромодившихся с обеих сторон поводов трудно назвать единственный, но дело было не в Рильке. Решающим оказалось чувство вины, которое испытывал Пастернак перед женой: Евгения Яковлевна тяжело ревновала мужа к Цветаевой. И 30 июля Борис Леонидович пишет в Вандею прощальное письмо. Он явно через силу тверд в нем, объявляя свое решение: прервать на время их письменную связь. Он повторяет: «Главное было сказано навсегда. Исходные положенья нерушимы. Нас поставило рядом. То, в чем мы проживем, в чем умрем и в чем останемся. Это фатально, это провода судьбы, это вне воли...» Взволнованный сам до глубины, на следующий день он снова берется за перо: «Успокойся, моя безмерно любимая, я тебя люблю совершенно безумно, я вчера заболел, написав то письмо, но я и сегодня его повторяю... Умоляю тебя, не пиши мне. Ты знаешь, какая мука будет для меня получить от тебя письмо и не ответить. Пусть будет последним — мое. Благословляю тебя, Алю, Мура и Сережу, и все, все, твое... Кончаю в слезах. Обнимаю тебя...»

Когда спустя два с половиной года Цветаева

будет вспоминать то, что пережила она, читая это «прощальное» письмо, остроту испытанной боли ей придется сравнить с ощущением ножа, проворачиваемого в сердце. Ей было много легче отказаться от встречи с Борисом Леонидовичем, чем от возможности писать ему: в любой момент довериться перу и бумаге, зная, что конверт с несколькими ее страничками внутри будет горячей радостью для далекого друга...

«Я не люблю встреч в жизни — сшибаются лбами», — писала она Пастернаку еще из Чехии. «Хочу Ваших писем: протянутой руки». И еще этой весной 1926 года она писала: «Что бы я делала с тобой, Борис, в Москве (езде, в жизни)? Да разве единица (какая угодно) может дать сумму? Качество другое. Иное деление атомов. Сущее не может распасться на быть имеющее». Это убеждение созрело в ней давно, она повторяет его не раз. Лучшее, что ей видится, — не окончательная совместность, а встречи и разлуки, недолгие свидания и не слишком долгие расставания. «Я не могу присутствия, и ты не можешь. Мы бы спелись», — тому же Пастернаку. В другом письме: «Борис, Борис, как бы мы с тобой были счастливы — и в Москве, и в Веймаре, и в Праге, и на этом свете, и особенно на том, который уже весь в нас...» Это — о том же. Не о соединении судеб, а о счастье коротких встреч. В каком-нибудь безбытном месте, в «нигде», как она это называет, — потому что обстоятельства, окружение, дни и числа всё искажают...

Тридцатого июля Цветаева отмечает свои именины. В Сен-Жиле в это лето ей хватает друзей и знакомых, а значит, поздравлений и добрых слов.

Но самым дорогим подарком оказалось письмо Рильке, пришедшее после двухнедельного перерыва. Как и прежние, оно было завораживающе сердечным — и грустным. Рильке снова написал о болезни — в самом конце письма, объясняя задержку с ответом.

«Райнер, я хочу к тебе, — откликнулась Цветаева спустя два дня, — ради себя, той новой, которая может возникнуть лишь с тобой, в тебе...» Она совершенно уверена, что их встреча принесет и Рильке радость; не считала ли она, что «неподвижность души», на которую он в этом письме жаловался, можно излечить живой нежностью?.. Тяжести состояния поэта она явно не понимает. «Скажи: да, — пишет она ему, — чтоб с этого дня была и у меня радость — я могла бы куда-то всматриваться...» Она ничего не пишет о сроках, ей важно только согласие — до октября она все равно была связана с Вандеей. В следующем письме она возвращается к тому же. Встреча видится ей сначала в каком-нибудь маленьком городке горной Савойи — это почти что «нигде». Рильке жил теперь уже не в Мюзо, а в курортном местечке Рагац. Здесь его безрезультатно лечили в санатории; но, скрывая свое состояние, он написал, что приехал туда, чтобы повидать старых друзей.

Цветаева не знает, что последней возможностью увидеться, встретиться был вот этот август, может быть, еще сентябрь, — позже Рильке слишком страдал, здоровье его стремительно ухудшалось. Не знал этого и он сам, когда 19 августа отправил Марине письмо, оказавшееся последним. «Да, да и еще раз да, Марина, всему, что ты

хочешь и что ты есть, — писал Рильке, — и вместе они слагаются в большое ДА, сказанное самой жизни... но в нем заключены также и все десять тысяч непредсказуемых нет. Если я менее уверен в том, что нам дано соединиться друг с другом, словно два слоя, два нежно прилегающих пласта, две половинки одного гнезда <...>, то все-таки я не меньше (напротив, еще сильнее) нуждаюсь в том, чтобы однажды высвободить себя именно так, из глубины глубин и бездоннейшего колодца. Но до этого — промежуток, страх долгих дней с их повторяемостью, страх (внезапно) перед случайностями, которые ничего не знают об этом и не способны знать. ...Не откладывай до зимы!.. <...> «Можешь не отвечать...» — заключила ты. Да, пожалуй, я мог бы не отвечать: ибо, как знать, Марина, не ответил ли я еще до того, как ты спросила? Уже тогда, в Валь-Мон, я искал его на картах: *cette petite ville en Savoie*<sup>1</sup>, теперь это сказала ты...»

Чтобы состоялась эта встреча, нужно было ехать в Швейцарию немедленно. «Не откладывай до зимы!» Если бы ей дано было расшифровать этот возглас!..

Рильке умолк.

Вернувшись из Вандеи с детьми, Марина Ивановна отправила ему 7 ноября несколько слов — на открытке, изображавшей Бельвю — пригород Парижа, где только что поселилась ее семья: «Дорогой Райнер! Здесь я живу. Ты меня еще любишь? Марина».

Она отослала открытку на адрес замка Мюзю. Но Рильке там уже не было. По странному

---

<sup>1</sup> Этот маленький городок в Савоие (фр.).

совпадению он жил в это время в Сьере в гостинице, носившей то же название — «Бельвю».

Рильке умер 29 декабря. В самый канун Нового года о его смерти Цветаевой сообщил Марк Слоним.

Весть эта была тем страшнее, что никаких известий о ходе болезни Рильке до Марины Ивановны не доходило. Связей с друзьями поэта у нее не было, пресса молчала.

Оставшись в этот день дома одна — со спящим сыном, она села к столу и взяла в руки перо. Письменное слово — ее спасательный круг в самые тяжкие минуты жизни — даже тогда, когда нет уже на земле человека, к которому оно обращено! Два письма написаны Цветаевой в эту новогоднюю ночь. И первое — по-немецки, к Рильке: «Любимейший, я знаю, что ты меня читаешь прежде, чем это написано...» — так оно начиналось. Письмо почти бессвязное, нежное, странное. Но именно в таком виде, не исправляя и не редактируя, Цветаева отошлет его — Пастернаку! Присоединив и отдельное письмо Борису Леонидовичу — первое после летнего его запрета на переписку...

Лучшие цветаевские произведения всегда вырастали из самых глубоких ран сердца. Седьмого февраля 1927 года была завершена поэма «Новогоднее». Подзаголовком проставлено: «Вместо письма».

...Что мне делать в новогоднем шуме  
С этой внутреннею рифмой: Райнер — умер.  
Если ты, такое око, смерклось,  
Значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть.  
Значит, — тмится, допойму при встрече! —  
Нет ни жизни и ни смерти, — третье,  
Новое...

## *Глава пятая*

*МЕДОН,*

*1931*

### *1*

В самом конце 1929 года у Эфрона вспыхнул туберкулезный процесс в легких. Друзья выхлопотали для него стипендию Красного Креста, и это позволило Сергею Яковлевичу почти десять месяцев провести в русской санатории в горной Савойе. Летом тридцатого года Цветаева приехала туда же с сыном; немного позже, сдав экзамены во французской школе рисования, появилась в Савойе и Ариадна. В трех верстах от санатории сняли маленький старый домик, почти прилепившийся к горе, в стороне от остальной деревни. В огромном дворе рядом с сараями и сеновалами возвышалась давно отслужившая мельница. Лето выдалось дождливое, грозовое, иногда гроза гремела по два и три раза в день; всего несколько недель простояли по-настоящему летних. Ближний лес от дождей отсыревал, проридаться сквозь мокрые заросли плюща и ежевики было нелегко, под ногами хлюпала вода. В деревне, кроме молока и сыра,

ничего нельзя было купить, и через день-два приходилось ходить за провизией в Ла Рош, ближайший городок, на рынок.

И все же здесь было прекрасно. Блаженная тишина, блаженные часы наедине с тетрадью, прогулки, приветливые лица местных крестьян...

Летние месяцы давали Цветаевой ничем не заменимый заряд энергии. Осенью, по возвращении, начиналась неизбежная и стремительная его растрата.

В эту осень и зиму мы найдем семью Эфронов в Медоне, маленьком городке, предместье Парижа. Квартирu здесь сняли еще весной 1927 года, когда живы были многие иллюзии. В то время Эфрон принимал активное участие в «евразийских» изданиях, возникших в Париже во второй половине 20-х годов; его редакторский заработок казался стабильным. А у Марины Ивановны той же весной 1927 года появилась возможность опубликовать отдельной книжкой стихи, написанные после отъезда из России. За издание брался приятель Эренбурга, французский литератор, выходец из России И. Е. Путерман; он был пайщиком в издательстве «Плеяда». Практичностью ни Эфрон, ни Цветаева не отличались, и, хотя с деньгами было туго, они сняли квартиру, которая скоро оказалась явно не по карману. Зато в ней нашлась пусть маленькая, но отдельная комнатка-кабинет для Цветаевой, где она сразу с наслаждением разложила свои тетрадки и книги. И были еще две комнаты, и ванная, и центральное отопление — неслыханный комфорт! С некоторыми оговорками, правда, вроде того что уголь для топки приходилось покупать самим.



Улица, на которой они жили, спускается с холма вниз, чтобы потом подняться снова, — ныне она называется авеню Дю Буа, а во времена Цветаевой носила имя Жанны д'Арк. Звучные исторические имена были и у других улочек предместья — буквально за углом начиналась улица Даламбера. Цветаева любила бродить по ним, рассматривая старые дома с красными черепичными крышами, двух- и трехэтажные, сложенные из крупного розоватого камня, обмазанного глиной, стены домов увиты плющом, а балкончики украшены резной чугунной решеткой. Цветы вдоль окон, покой, тишина — и какой-то необъяснимый запах ушедших времен, чудом сохранившийся здесь до сегодняшнего дня. В разные времена в Медоне жили замечательные люди — Ронсар, Руссо и Бальзак, Вагнер, Роден, Айседора Дункан и еще многие, и улочки сохранили почти все эти имена.

Одним своим концом улица Жанны д'Арк вливалась прямо в огромный медонский лес, где некогда охотились французские короли. Окраина леса была замусорена жестянками из-под консервов и засаленными бумажками — их Марина Ивановна собирала и ожесточенно сжигала в кострах, несмотря на строжайший запрет властей разводить здесь огонь. С маленьким Муром далеко не уйдешь, но когда удавалось пойти на прогулку одной или с кем-нибудь из друзей — она готова была бродить по лесу часами.

Если же идти от дома, где они жили, в другую сторону, дорога круто поднимается в гору. По улице Пиерр можно пройти мимо домика Мадлены Бежар, где жил в свое время Мольер, еще выше расположилась дача философа Жака Маритэна, ко-

торого Цветаева изредка встречала теперь на «франко-русских встречах». С верхней террасы Медона в ясную погоду открывается прекрасный вид на Париж: город лежит как на ладони — от собора Сакре-Кёр до Эйфелевой башни.

Сюда, в Медон, осенью 1928 года приезжала к сестре в гости Анастасия Цветаева, здесь навещил Марину Ивановну во время парижских гастролей Вахтанговского театра Павел Антокольский.

К медонскому времени относится глубокая сердечная дружба Цветаевой с Николаем Гронским; теплые отношения завязались здесь с художницей Гончаровой, переводчицей, писательницей и публицисткой Извольской. Пятилетие оказалось насыщенным творчески — впрочем, у великой труженицы Цветаевой иного не было — вплоть до самого конца 30-х годов. В Медоне написаны трагедия «Федра», «Поэма воздуха», поэмы «Красный бычок» и «Перекоп», эссе «Наталья Гончарова», французский вариант поэмы «Молодец».

Последний прижизненный поэтический сбор-



Медон, улица Жанны д'Арк  
(ныне улица Дю Буа), 2

ник Цветаевой «После России», вышедший осенью 1927 года, читательского успеха, увы, не имел, книга раскупалась плохо и доходов не принесла.

Материальное положение семьи особенно ухудшилось в 1929 году. Два конфликта сыграли в этом свою решающую роль.

Первый оказался связан с приездом в Париж Маяковского осенью 1928 года. Цветаева опубликовала на страницах газеты «Евразия» 24 ноября приветствие приехавшему поэту. Оно было расценено эмигрантской прессой однозначно — как одобрение не только творчеству Маяковского, но и всему режиму Советской России. В письме к Р. Н. Ломоносовой Марина Ивановна передавала фразу, сказанную Милюковым: «Она приветствовала представителя Советской власти!» И в наказание Цветаеву «отлучают» два крупнейших эмигрантских издания: газета «Последние новости» и журнал «Современные записки». Первая допустит на свои страницы цветаевскую прозу только спустя четыре года после инцидента, второй — через девять номеров, то есть через два с половиной года. Легко себе представить, как отозвалось это «отлучение» на бюджете цветаевской семьи. Это, разумеется, не помешало Марине Ивановне в следующий, последний приезд Маяковского во Францию, весной 1929 года, снова пойти на его выступления и даже, по просьбе поэта, на одном из вечеров помогать ему в качестве переводчицы. Но чувство благодарности (по крайней мере, по отношению к Цветаевой) Маяковского явно не тяготило. Публично он высказывался о ее стихах с неизменным пренебрежением, «предостерегая» доверчивых читателей от «классово-чуждого» поэ-



Лето в Понтайяке, 1928 г. Цветаева и Эфрон с детьми среди  
«евразийцев»

та. Именно так он упоминал ее в статье 1926 года. А осенью 1929-го, выступая в Москве на правлении РАППа, позволил себе грубый, чтобы не сказать резко, выпад против цветаевской поэзии, не вдаваясь в аргументацию. Это публично. Но в частной беседе с Пастернаком весной 1922 года хвалил только что вышедший ее сборник «Версты». И, по свидетельству Н. Д. Оттена, восхищался цветаевской «Поэмой Конца»: в двадцать седьмом году Маяковский прочел Оттену наизусть всю поэму, пока они шли по улицам и набережным Ленинграда, пересекая город из конца в конец. Добавим сюда и еще одну непоследовательность: на юбилейной выставке «20 лет работы»,

открытой уже в 1930-м, сердечное письмо Цветаевой поэту, написанное в Париже, было выставлено им на почетном месте среди других экспонатов...

Второй конфликт был связан с Эфроном. Журнал «Версты» уже давно прекратил свое существование из-за отсутствия средств. Деятельная энергия Эфрона переключилась на «евразийское движение». Еще с осени 1926 года оно начало быстро набирать силу и расцвело в двадцать седьмом — двадцать восьмом годах, объединив вокруг себя людей, жаждавших выработать «новое политическое сознание». Их идеалом было самостроение России как особого культурного мира — «не Европы и не Азии, не смеси их, а особого материка-океана — Евразии». Евразийцы критиковали советскую власть за узкоматериалистическое мировоззрение и выдвигали идею национального возрождения через православие. Но реальность революционной России, считали они, при всех ее издержках, оставляет надежду на то, что русский народ найдет свои собственные формы государственности, не повторяя слепо европейских. Почти четыре года Сергей Яковлевич Эфрон бескорыстно и безоглядно отдает силы созданию «евразийского клуба» в Париже и работе в евразийских изданиях. Но размежевание внутри русской эмиграции идет быстрыми темпами. В центр дискуссий все более настойчиво выдвигается вопрос об отношении к реальной сегодняшней Стране Советов. И вот так называемый «кламарский раскол» 1929 года покончил с политической терпимостью в кругу «евразийцев». Эфрон оказался среди «левых», был обвинен в апологии большевиков, неумеренном восхвалении революции, искажении основных ев-

разийских идей — и отстранен от всех организационных дел.

После многих месяцев бурной деятельности он оказался в пустоте. Не стало и редакторского заработка...

Цветаева была далека от политических страстей мужа. Однако оба конфликта привели вовсе не только к финансовым трудностям. К началу 30-х годов Марина Ивановна оказалась, по свидетельству Марка Слонима, «более изолирована в Медоне, чем за пять лет до того в чешской деревне. В эмигрантском Париже она явно не пришлась ко двору. В лучшем случае ее терпели в газетах и журналах, где она могла печататься, и сотрудничество ее часто происходило в условиях, казавшихся ей оскорбительными. Она не заняла никакого места в эмигрантском «обществе» с его салонами, политическими и литературными, где все знали друг друга <...>, «сидели за одним чайным столом» и, несмотря на различие взглядов и положений, находились «среди своих». Она же была дичком, чужой, вне группы, вне личных и семейственных связей и резко выделялась и своим обликом, и речами, и поношенным платьем, и неизгладимой печатью бедности...».

## 2

Конец 1930 года прошел под знаком безуспешных попыток найти хоть какой-нибудь заработок для Эфрона. Диплом, полученный им в Праге, не имел решительно никакого веса во Франции. Плохое здоровье не позволяло идти на завод или фабрику; стать шофером такси считалось удачей, на которую нельзя было и рассчитывать. Но, кроме

всего, Сергей Яковлевич, хотя и снизил уровень своих надежд и притязаний, все же остался неисправимым идеалистом.

Всеобщее увлечение «синема» сыграло свою роль в том, что в ноябре 1930 года, вернувшись из Савойи, он записывается на частные курсы при известной кинофирме Патэ. За зиму он приобретает некоторые знания и навыки и уже весной тридцать первого с увлечением бродит по Парижу с камерой в руках, разыскивая сюжеты и практикуясь в операторском искусстве. Курсы стоили денег, отняли немало времени и, разумеется, оказались напрасной затеей. Наивно было и предполагать, что потом он сумеет устроиться в какую-нибудь кинофирму, — их владельцы в эти годы экономического кризиса, освобождаясь от излишней рабочей силы, в первую очередь выбрасывали на улицу иностранцев. Но Эфрон все еще пытался заняться тем, что ему было по душе. В кинематографе он подрабатывал в 1927—1928 годах, снимаясь как статист в нескольких фильмах. Если сохранились ленты «Жанна д'Арк» и «Казанова», Эфрона можно разглядеть на экране — во всяком случае, в письме к сестре в Москву он надеялся, что она его там узнает. Работа статиста была и непрестижна, и утомительна, и все-таки Сергей Яковлевич умудрялся получать от нее удовольствие: с увлечением разыскивал у знакомых старый фрак, по ходу съемок несколько раз прыгал с моста в Сену. «Презреннейший из моих заработков, но самый легкий и самый выгодный, — писал он сестре Елизавете Яковлевне Эфрон в Москву. — За одну съемку получаю больше, чем за неделю уроков».



Медон, начало 30-х гг.

Теперь и это уже было невозможно.

У Цветаевой — свои неудачи.

Она закончила наконец перевод на французский любимой своей поэмы «Молодец». Эта огромная работа была стимулирована тем, что «Молодец» очень понравился Наталье Сергеевне Гончаровой, о которой Цветаева написала в 1929 году очерк-эссе. Гончарова сделала иллюстрации к поэме и пожалела, что нет ее текста на французском — тогда бы появилось больше шансов издать иллюстрированную книгу. И Цветаева берется за перевод. Ее увлекла, несомненно, и надежда обрести французского читателя. Скоро выяснилось, однако, что собственно «перевод» невозможен, нужно заново создавать поэму. Работа заняла почти восемь месяцев.



Теперь она была завершена. Марина Ивановна делает попытки заинтересовать книгой какого-нибудь французского издателя. Ничего не выходит. Не помогает и имя Гончаровой, прославившейся в середине 1910-х годов декорациями и костюмами к «Золотому петушку», показанному на парижской сцене. Только что она разделила успех с мужем, художником М. Ф. Ларионовым, — в связи с постановкой пьесы Савуара «Маленькая Катрин» в театре «Антуан»; их декорации и костюмы хвалили во всех рецензиях на спектакль. Друзья Цветаевой устраивают авторское чтение поэмы в присутствии то одного, то другого влиятельного «литературного француза». Но поэма слишком нестандартна, французский стих ее непривычен, сознательно нетрадиционен — Цветаева и тут шла по пути новаторства. Короче говоря, поэма не нравится, хотя прямо об этом автору не говорят. Из «Ревю Нувель Франсез» текст поэмы кочует в издательство «Галлимар», потом какое-то время ждет своей участи в редакции журнала «Коммерс», где начали появляться переводы русских авторов.

Безрезультатно. Как и предыдущая поэма Цветаевой «Перекоп», французский «Молодец» остается неопубликованным.

### 3

За всеми этими неудачами стояла уже не только цветаевская непрактичность или невезучесть — стоял экономический кризис. Он разразился два года назад и день ото дня, казалось, набирал силу.

Париж был переполнен безработными. Мно-

жество русских вместе со службой теряли сразу же и крышу над головой: нечем было платить за жилье. Русская газета «Последние новости» в марте 1931 года поместила корреспонденцию А. Седых, посетившего ночлежку Армии спасения. В ночлежке, разместившейся на обычной барже, можно было переночевать за 30 су на тюфяке, обшитом клеенкой; для дворян предлагалось особое отделение, где за два франка выдавались простыни и можно было раздеться. Но и это слишком многим оказывалось не по карману. Поздним вечером скамейки парижских бульваров, как и места под арками мостов, становились прибежищем отчаявшихся людей. Русские общественные организации — Красный Крест и Студенческое Христианское движение, в котором уже в это время играла одну из ведущих ролей Елизавета Юрьевна Скобцова, будущая мать Мария, — вели сбор пожертвований. На собранные деньги покупали талоны на обеды и ночлеги, затем талоны бесплатно раздавались безработным, выстраивавшимся за ними в длинные очереди.

Русские газеты публиковали письма, вызывающие о помощи, сообщения о самоубийствах, списки жертвующих деньги. Двадцатого марта в «Последних новостях» рядом со списком пожертвований жирным шрифтом был набран текст: «Дающие, помяните слово Суворова «Порыв не терпит перерыва»! Марина Цветаева». Список выглядел, как и в других номерах: «От Маруси О. — 5 фр., от Московского Землячества — 300 фр., от Н. И. Кульман — 50 фр., от Л. Г. из Болгарии — 10 фр., от А. И. К. — 200 фр.» и т. д. — он занимал в газете ежедневно длинную колонку.

«Меценаты выдыхались, профессиональные издатели кончали банкротством, издатели печатали одни календари...» — вспоминал позже начало 30-х годов русский поэт и прозаик Дон-Аминадо. Но все-таки этой весной еще появлялись и книги. Среди них очередные романы Алданова и Мережковского, «Державин» Ходасевича. Два поэтических сборника были приняты критикой почти восторженно: «Розы» Георгия Иванова и «Флаги» Бориса Поплавского. На парижской сцене пел Шаляпин, Сергей Лифарь ставил новый балет «Вакх и Ариадна»; открылась выставка художника Ларионова; в русском литературно-художественном кружке с успехом шла пьеса Катаева «Квадратура круга». Летом даже возник журнал «Новый сатирик», просуществовавший, правда, всего один год.

Чешское правительство, до сих пор исправно высылавшее нескольким русским литераторам, жившим во Франции, пособие, в 1931 году резко сократило круг своих подопечных. Но Цветаева и Ремизов все еще оставались в числе «счастливиц». Только осенью их содержание было урезано на треть.

Сумма, приходившая из Чехии, могла бы быть достаточной, живи Цветаева одна. Но в семье теперь, кроме маленького Мура, трое взрослых: Ариадне, Але, исполнилось уже восемнадцать лет. Большеглазая, с гладко зачесанными со лба русыми волосами, собранными сзади в пучок, она похудела, вытянулась. У нее обнаружили незаурядные способности к рисованию, и с осени 1927 года она стала посещать художественную школу при Лувре, радуя родителей успехами.

На школьной выставке иллюстраций она заняла первое место и в награду была премирована бесплатным обучением гравюре. Ее иллюстрации к «Крысолову» оказались, по общему признанию, настолько профессионально исполнены, что в семье возник план иллюстрированного издания цветаяевской поэмы. Увы, кризис помешал этому осуществиться. Помимо школы, Аля брала какое-то время уроки и у Натальи Гончаровой, занималась в студии Шухаева. А еще пробовала себя на поприще журналистики в киножурналах — у нее оказалось «легкое перо»...

Но все это требовало времени, и Цветаевой приходится теперь обходиться без дочерней помощи в хозяйственных делах. Пропадали утренние часы, самые плодотворные для творческой работы, труднее становилось выбраться из дома вечерами. И все же изредка Марине Ивановне удастся вырваться из домашнего плена.

В феврале 1931 года в Париж приезжает для публичных выступлений Игорь Северянин. Цветаевой подарили билет, и она присутствует на одном из его вечеров.

Волна сострадания захлестнула ее, когда поэт вышел на эстраду. «Стар до обмирания сердца, морщины, как у трехсотлетнего, — писала Марина Ивановна своей приятельнице вскоре после этого вечера, — но занесет голову — соловей!» Главное, за чем она с тревогой следила во время чтения, был, по ее словам, поединок: Поэта и Времени. Эта тема особенно занимает сейчас ее мысли.

В этот вечер Северянин читал свои новые сонеты. Цветаева нашла их превосходными. Вер-

нувшись домой, поздним вечером, еще не дав себе остыть, она пишет Северянину письмо — с обычной для нее сердечной щедростью, жаждой ободрить, помочь — хотя бы жаром сочувствия. «Вы выросли, — Вы стали простым, — писала Цветаева. — Вы стали поэтом больших линий и больших вещей. Вы открыли то, что отродясь было Вам приоткрыто, — природу. Вы, наконец, раз-нарядили ее... В этом зале были те, которых я ни до, ни после никогда ни в одном литературном зале не видела и не увижу. Все пришли. Привидения пришли, притащились. Призраки явились поглядеть на себя <...>. Среди стольких призраков, сплошных привидений — Вы один были — жизнь: двадцать лет спустя...»

(Через три года в Белграде выйдет книга сонетов Северянина «Медальоны». Среди других, посвященных поэтам, там будет и сонет, создающий образ Цветаевой. Образ скорее молодой Марины, а не «парижской», и больше иронический, чем восхищенный. Личной встречи между поэтами, видимо, никогда не было. Нет и уверенности, что Северянин получил цветаевское письмо: текст его известен нам лишь по копии. Но Цветаева надолго еще сохранит память об этом вечере, и в ее поздних высказываниях о поэте неизменно звучат самые доброжелательные ноты...)

Зато другой вечер того же февраля принес известие, больно ударившее по сердцу.

Это случилось в доме французского драматурга, поэта и переводчика Шарля Вильдрака. Осенью 1929 года Вильдрак побывал в Москве, навестил Пастернака. Борис Леонидович спросил о Цветаевой, но Вильдрак не был тогда еще с ней знаком.

Вернувшись в Париж, он разыскал Марину Ивановну и пригласил бывать у него в доме, где время от времени устраивались литературные приемы. В этом-то доме и встретила Цветаева Бориса Пильняка, только что приехавшего из России. Среди новостей, им привезенных, одна ее оглушила: Пастернак ушел из семьи. В его жизнь вошла новая любовь — Зинаида Николаевна Нейгауз.

Переписка с Пастернаком, начавшаяся девять лет назад, перевалив пик интенсивности в 1926 году, постепенно угасала. И все же еще длилась и прочно входила в незримый фундамент цветаевского противостояния бедам, в сам климат ее психологического самочувствия. За тридевять земель, в родной Москве, был родной человек, радовавшийся каждой ее строчке, горевавший ее горестями, гордившийся ее удачами. Любимый друг, все понимавший с полуслова. У них и без встреч была уже позади насыщенная история взаимных радостей, недоразумений, примирений... Цветаевой казалось, что теперь все это кончилось, оборвалось.

Так оно, в сущности, и было. Переписка, правда, еще тянулась, предстояли и встречи, осталась душевная преданность. Но что-то самое неповторимое и дорогое ушло навсегда.

Тринадцатого февраля она написала в письме к Ломоносовой: «С Борисом у нас вот уже (1923 г. — 1931 г.) — восемь лет тайный уговор: дожить друг до друга. Но КАТАСТРОФА встречи все оттягивалась, как гроза, которая где-то за горами. Изредка — перекаты грома, и опять ничего — живешь.

Поймите меня правильно: я, зная себя, навер-

ное от своих к Борису бы не ушла, но если бы ушла — то только к нему. Вот *мое* отношение. Наша реальная встреча была бы прежде всего большим горем (я, моя семья — он, его семья, моя *жалость*, его *совесть*). Теперь ее вовсе не будет. Борис не с Женей, которую он встретил до меня, Борис без Жени и не со мной, *с другой, которая не я* — не мой Борис, просто — лучший русский поэт. Сразу отвожу руки.

Знаю, что будь я в Москве — или будь он за границей — что встретиться он хоть раз — никакой З. Н. бы не было и быть не могло бы, по громадному закону *родства по всему фронту*: СЕСТРА МОЯ ЖИЗНЬ. Но — я здесь, а он там, и всё письма, и вместо рук — рукописи. Вот оно, то «Царствие Небесное», в котором я прожила жизнь. <...> Потерять — не имев...»

## 4

Эти месяцы, на перевале от зимы к весне, дались ей нелегко.

Очередным свидетельством отторжения Цветаевой от «русского Парижа» был пышный юбилей, отпразднованный 1 марта в ресторане «Феликс Потэн». Чествовали П. Н. Милюкова — десятилетие его деятельности на посту главного редактора самой популярной зарубежной русской газеты «Последние новости». В числе приглашенных гостей был и князь С. М. Волконский, регулярно публиковавший на страницах газеты заметки и статьи на театральные темы. Дружеские отношения Цветаевой с Волконским сохранялись со времен революционной Москвы, и Волконский наверняка рассказывал Мари-

не Ивановне об этом юбилее. Там были Бунин и Бенуа, Дон-Аминадо и Алданов, Адамович и Мочульский — литераторы, художники, театральные деятели русского зарубежья, люди самых разных воззрений и симпатий. Дело не в том, что Цветаеву не пригласили, — шел уже третий год с момента, когда ее перестали печатать. Но она лишний раз ощутила свое неблагополучие, свою неслиянность с соотечественниками, которые и на чужбине все-таки оказались в каком-то сообществе.

Если бы просто с соотечественниками...

На глазах таяла ее прежняя близость с дочерью. Восемнадцатилетняя Ариадна, поглощенная своими занятиями и новыми друзьями, радовалась любому поводу, чтобы вырваться из дома. Прекрасно понимая всю закономерность этого, Марина Ивановна не могла не испытывать горечи, которой с годами суждено было лишь разрастаться. Знавшие близко цветаевскую семью находили, что вместе с тонким чувством поэзии дочь унаследовала и материнскую замкнутость, вспышки иронически-беспоощадного словесного «рипоста» и жесткий характер. Два жестких характера в одном доме — ситуация нелегкая.

Маленький Мур — страстная любовь матери — был совсем другим, чем старшая сестра в его возрасте. Способностей вундеркинда, которыми была наделена маленькая Аля, в нем не обнаруживалось. Не было и Алиной сердечности и романтичности, так согревавших Цветаеву в трудные московские годы. Но развивался он тоже стремительно, опережая возраст, начинал уже читать и писать. Мальчишки на улице не давали ему прохо-



ду из-за его неуклюжести, полноты и рослости — счастье, что он почти не понимал по-французски. «Ему шесть лет, на вид и вес — десять русских и 14 французских», — сообщала Цветаева в одном из писем. Пока он еще был привязан к матери, баловавшей его сверх всякой меры, но пройдет немного времени, и он усвоит по отношению к ней требовательный, а то и снисходительный тон. Несмотря на все свое обожание, Цветаева рано угадывает, что сын, как и дочь, — совсем другой душевной породы, чем она сама. «Ничем не пронзен», — скажет она о нем позже с горечью. «Дома у меня жизнь тяжелая, — признается Марина Ивановна в одном из писем 1931 года, — как у всех нас — мы все слишком особые и слишком разные. Как бы мне хотелось кого-нибудь доброго, мудрого, отрешенного, никуда не спешащего! человека — не-автомобиля, не-газеты... Кто бы мне всегда — даже на смертном одре — радовался. Такого нет. Есть знакомые, которым со мной «интересно», — и домашние, которым со всеми интересно, кроме меня, ибо я дома: — посуда — метла — котлеты — сама понимаю...»

Комментируя эти строки из письма Цветаевой, Слоним вспоминает: «На свою долю она никогда не жаловалась. Вероятно, потому я так хорошо запомнил ее слова во время одного из моих приездов к ней в Медон <...>. Она сидела за кухонным столом, низко нагнувшись над тетрадью. Мур возился в углу. Я спросил, не помешал ли ей. Она, смотря вбок, по своему обыкновению, не глядя на меня, ответила поразившим меня, ей не свойственным упавшим голосом, что просматривает старые черновики, а писать ей сейчас

очень трудно. «Вы ведь знаете, — добавила она, — для меня самое лучшее время — утро, а тут готовь всем завтрак, надо мыть Мура, с ним гулять, потом идти на рынок, выбирать что-нибудь подешевле, какое тут писание. Иногда неделями не хватает времени. При настоящей работе самое важное — вслушиваться в себя, для этого нужен досуг, тишина, одиночество...»

Известие о Пастернаке, неудачи с публикациями, отъединение Али, безрезультатные попытки мужа найти заработок, груз домашнего быта — все сгустилось этой весной до последней безысходности. Каждая попытка прорвать ее круг, казалось, сжимала его еще теснее. Временами Цветаева видит себя просто плохим автоматом, механизм которого еле действует — «из-за остатков души, мешающих машине», как она говорит.

Но зреет и еще одна утрата. Готовится к отъезду в дальние края ближайшая приятельница последних двух лет — Елена Александровна Извольская, единственный, по словам самой Цветаевой, ее настоящий друг из обретенных во Франции. Дочь бывшего русского посла в Париже, она была талантливой писательницей, публицисткой, переводчицей. Это в ее переводе на французский появились в журнале «Коммерц» стихи Пастернака, на которые в начале 1926 года обратил внимание Рильке. Образованнейший человек, прекрасная собеседница, Извольская слыла не только поклонницей, но и знатоком поэзии. В широкий круг ее знакомств входили и русские и французы, в числе их были, в частности, философы Лев Шестов и Жак Маритэн.

По приглашению Цветаевой Извольская

приезжала к ней в Савойю летом 1930 года. То дождливое грозное лето их особенно сблизило. Теперь же предстояла разлука: в апреле Извольская уезжала к жениху в Японию.

В предотъездные дни Цветаева выкраивала каждый свободный час, чтобы быть рядом с Еленой Александровной, помочь ей в сборах. И вот день отъезда настал.

...От нас? Нет, *по* нас  
Колеса любимых увозят!  
С такой и такую-то скоростью в час...

Все, кто был ей дорог, будто сговорились этой весной оставить ее разом, чтобы не растягивать страданий, — замолкали, отстранялись, уезжали... Уже из окна тронувшегося вагона Извольскую поразило лицо Марины Ивановны: то была трагическая маска, которую, казалось, ничто не может оживить...

5

Но чем глубже душевный провал, чем теснее обступают Цветаеву невзгоды, тем яростнее вспыхивает в ней сопротивление. Тем решительнее она отодвигает все помехи и садится за чистую тетрадь. «Кастальский ток» творчества — ее «живая вода», поднимающая из праха, вливающая новые силы, заживляющая все раны. Всегда разительно сопоставление ее стихов и прозы с «биографическим подстрочником», живой ситуацией, в которой они созданы. Откуда, из каких глубин подымается в ней всякий раз это противостояние насилию и нажиму жизни? Подавленность, жалобу мы слышим не раз в ее письмах близким людям. Но вот отложено письмо — и придвинута

рабочая тетрадь. На белую страницу ложатся первые строки — и в них сразу звучит другой голос: независимый, уверенный, свободный, темпераментный. И это тоже *ее* голос. И может быть, гораздо больше *ее* голос, ибо здесь, в своей рабочей тетради, она уже не перед лицом «житейских обстоятельств», а перед лицом того, что ей всегда было по плечу и по силам.

«Благоприятные условия? Их для художника нет, — писала Цветаева в очерке «Наталья Гончарова». — Жизнь сама — неблагоприятное условие. Всякое творчество <...> перебарывание, перемалывание, переламывание жизни — самой счастливой <...>. И как ни жестоко сказать, самые неблагоприятные условия — быть может — самые благоприятные. (Так, молитва моряка: «Пошли мне Бог берег, чтобы оттолкнуться, мель, чтобы сняться, шквал, чтобы устоять!»)»

В ближайшие же недели после отъезда Извольской она начинает — и завершает — «Историю одного посвящения», прозаический очерк-портрет Осипа Эмильевича Мандельштама. Тема и повод возникли случайно; об этом рассказано в первых же абзацах очерка:

«Уезжала моя приятельница в дальний путь, замуж, за море. Целые дни и вечера рвали с ней и жгли, днем рвали, вечером жгли, тонны писем и рукописей. «Это беречь?» — «Нет, жечь». — «Это жечь?» — «Нет, беречь». «Жечь», естественно, принадлежало ей, «беречь» — мне, — ведь уезжала она...»

Заразившись этой расправой, Цветаева решает учинить такую же в собственном архиве. Аля пытается вмешаться, остановить — безуспешно:

«— Мама, не жгите!

— Пусть, пусть горит.

— Мама, вы что-то нужное жжете. Вырезка какая-то. Может быть, о вас?

— Обо мне так долго не пишут. Фельетон целый. Что это может быть?

Подношу к глазам. Двустиишие. Губы, опережая глаза, произносят:

Где обрывается Россия  
Над морем черным и глухим...»

То был «подвал» в старом номере газеты «Последние новости», подписанный именем поэта Георгия Иванова. Отрывок из его книги «Петербургские зимы», вскоре вышедшей в свет. Отрывок повествовал о Мандельштаме в Крыму в предреволюционные годы. Цветаева ахнула, прочтя первые же попавшиеся на глаза строки. Мандельштамовские стихи 1916 года, к ней обращенные, были выданы за дань восхищения некоей хорошенькой врачихой, встреченной поэтом в Коктебеле. Мало этого — сам Мандельштам представлял под пером Г. Иванова не просто нелепым и странным, но и оглупленным, а отношение к нему Волошиных — Максимилиана Александровича и его матери — на грани пасквиля!

Словом, Цветаева не могла не взяться за перо.

Легко было бы догадаться — и самый захудалый литератор догадался бы, — что опубликовать то, что она сейчас писала, ей не удастся: ни один печатный орган не захотел бы ставить в неловкое положение самую авторитетную в эмиграции газету да и Георгия Иванова, ко-

торый (в отличие от Цветаевой!) всюду был «свой». Кроме того, Волошин и Мандельштам были далеко, а автор «подвала» — рядом...

Но когда она бралась за работу, все практические соображения — исчезали, все здравомыслящие голоса — умолкали. Если нужен пример профессионально лишущего человека, в котором бы исходно отсутствовал «внутренний редактор», — лучшего, чем Цветаева, найти трудно. Она настолько его не знала, этого редактора, что это обстоятельство до сих пор иных ее читателей корбит, хоть они, может быть, и не отдают себе отчет, в чем именно дело. Слишком часто она касается тем, о которых принято умалчивать, слишком безоглядно обнажает душевные движения и мотивы, не уместяющиеся в негласном кодексе правил «коильфо». В выборе тем, как и в выборе формы, она не примеряется ни к издателю, ни к читателю: первым она пренебрегает, второму, наоборот, доверяет как себе самой.

Она начинала новую вещь, не имея перед собой никакой иной цели или желания, кроме цели и желания пристальнее взглянуть в то, что ее заинтересовало. В то, что в момент вспышки замысла предстало существенным и необходимым. «Дознаться» — так сама она называла этот стимул. «Я пишу, чтобы *добраться до сути*, выявить суть; вот основное, что могу сказать о своем ремесле», — писала Цветаева в 1930 году Шарлю Вильдраку. «Делаю ли я это ради потомков? — Нет. Скорее ради прояснения моего собственного понимания. И еще для осознания сил моей любви и, если угодно, моего дара» (письмо Р. Н. Ломоносовой, февраль 1930 г.).

Именно так начала она еще в 1929 году «Поэму о царской семье». И вскоре сообщила в письме той же Ломоносовой: «Вещь, которую сейчас пишу, все остальные перележит». Работа растянулась до 1936 года, но была все же завершена. Увы, ее полный текст не сохранился. Цветаева не слишком была довольна результатом, самокритично считая, что в этой поэме «историк поэта загнал». Но она ощущала неотклонимым долгом воздвигнуть свой памятник — не российской монархии, к которой никаких ностальгических чувств не испытывала, а именно *семье*, последней в России царской семье, расстрелянной в Екатеринбурге вместе с больным и безвинным мальчиком-наследником.

Как и следовало ожидать, очерк опубликовать не удалось. Он лег очередным «мертвым грузом» в стол — рядом с «Перекопом» и французским «Молодцем». К читателю при жизни Цветаевой «История одного посвящения» так и не пробилась.

Но однажды обрела слушателей. Тридцатого мая 1931 года Марина Ивановна прочла «Историю одного посвящения» в зале «Эвритмия» на улице Кампань Премьер.

Заглянем в номер «Последних новостей», поместивших сообщение о предстоящем вечере Цветаевой. На авеню Монтень в этот вечер Алехин давал сеанс одновременной игры с десятью игроками, «не глядя на доску»; на рю де ля Помп имела быть «вечеринка русских разведчиков»; в аудитории Сорбонны М. А. Жирмунский читал лекцию о португальской поэзии XVI века. В театре «Ателье» шел спектакль труппы Михаила Чехова; в париж-

ских «синема» демонстрировался фильм «Голубой ангел»... Американский сенатор Рид, выступая в штате Пенсильвания, уверенно прогнозировал падение советского режима в 1936 году. В том же номере «Последних новостей» сообщалось и о начале судебного процесса в Риме над семью членами революционной организации «Джуститиа э Либерта»: места для публики были заняты вооруженными фашистами; обвиняемые заявили, что целью их деятельности была дискредитация режима фашистской диктатуры в глазах общественного мнения...

«Вечер прошел с большим успехом, — сообщала на следующий день Цветаева в письме к Саломее Андрониковой, — зала почти полная. Слушали отлично, смеялись, где нужно, и — насколько легче (— душевно!) читать прозу <...>. Читала в красном до полу платье вдовы Извольского, очевидно, ждавшем меня в сундуке 50 лет. Говорят — очень красивом. Красном — во всяком случае. По-моему: цветом была флаг, а стан — древко от флага...»

Стихи и прозу Цветаева читала на вечерах обычно по тетрадке, близко поднесенной к близоруким глазам, — очков Марина Ивановна упорно не признавала. Удивительно прямоспинная — черта осанки, отличавшая и Ахматову, — она старалась к таким вечерам принарядиться — и как часто наряды ее были заемными! Своими были зато серебряные браслеты, кольца, ожерелья — к ним у Цветаевой была настоящая страсть, как у истой цыганки. Однажды эти украшения чрезвычайно раздражили мецената, которому кто-то из цветаевских доброжелателей всучил дорогой



билет в первый ряд. Его раздраженную фразу передали потом Цветаевой: «Пусть она сначала продаст свои украшения, а уж потом рассчитывает на ссуды».

Любящему же взгляду представала иная картина. Т. П. Милютина в самом начале 30-х годов бывала на всех цветаевских вечерах. «Мне очень запомнилось первое впечатление, — пишет она в своих мемуарах. — Это были юношеские стихи. Я закрывала глаза — и видела особенную пленительнейшую девушку, думающую и чувствующую не так, как другие, знающую для выражения этого неповторимого свои удивительные, только ей одной подвластные слова. Я открывала глаза — и у меня физически начинало болеть сердце. Передо мной была немолодая, небрежно и неумело одетая женщина. От нее веяло неуютом и полной неприспособленностью к жизни. Неровно подстриженные волосы спереди челкой доходили до бровей. От этого лицо теряло свои естественные пропорции, становилось тяжелым и некрасивым. Только глаза были умные, задумчивые и смотрели далеко. Меня чрезвычайно мучил этот разрыв между реальной Цветаевой и той, чудесной, из стихов <...>. Только теперь, вглядываясь в фотографию, я вижу, как прекрасно, необычайно прекрасно лицо Марины Цветаевой».

«Зал никогда не ломился от публики, — вспоминала З. А. Шаховская, — народной любовью Марина Цветаева не пользовалась, но приходили. Она в скромном, затрапезном платье <...>. Серебряные браслеты и перстни на рабочих руках. Глаза зеленые, не таинственно-зеленые, не поражающие красотой, смотрят вперед, как глаза ночной

птицы, ослепленной светом. Так, явно не видящая тех, кто пришел на нее посмотреть или ее послушать, Марина Цветаева читает свои стихи громко, скандируя слова, подчеркивая ударенья, как бы бросая вызов кому-то и нисколько не заботясь о том впечатлении, которое она производит. Я не встречала никого из выступающих перед публикой, более свободного от желания понравиться...»

В памяти Извольской, которая бывала на цветаевских вечерах на протяжении многих лет, — другие подробности: «Марина устраивала свои вечера в Париже в весьма убогом, невзрачном зале. Она читала доклады, стихи. Приходили друзья, но их было так мало! В первом ряду сидели Сергей, Аля, Мур. Аля вязала шарф, Мур сосал карамельки. Сережа слушал, склонив романтически голову. Все трое чувствовали себя как-то неловко. И все же это семья Марины: они без нее, она без них перестали бы существовать. Когда заканчивалось чтение, «публика» обступала Марину. Она, как всегда, рассеянная, близорукая, но как будто оживленная, улыбалась, жала руки. Но вся она была обвеяна холодком, непроницаемой грустью...»

Выступления на вечерах со временем стали существенным подспорьем в бюджете цветаевской семьи, особенно ближе к середине 30-х годов. Тогда удавалось устраивать уже по четыре вечера в год, раз в квартал; особенно охотно шли на ее «прозаические» вечера. Выручка позволяла уехать летом к морю или оплатить очередной трехмесячный квартирный взнос, так называемый «терм». Но на вечерах Цветаева ощущала еще и тепло

живого сопереживания, сочувствия, это не могло не греть ее сердце. Впрочем, с присущим ей юмором, отдававшим горчинкой, она говорила друзьям, что наизусть знает своих постоянных слушателей — нескольких милых старичков и старушек, неизменно засыпавших на первых же фразах или строфах и просыпавшихся от аплодисментов, когда чтение заканчивалось, — чтобы с упорной преданностью через 3—4 месяца явиться снова и сесть на привычное место. Конечно, приходили слушать Цветаеву не только засыпающие старушки, но билеты расходились в основном дешевые. «Ибо любящие — не имеют, имеющие — не любят», — писала Марина Ивановна Ломоносовой.

## 6

Численность «читающей публики» в русском зарубежье год от году катастрофически уменьшалась. Книг и журналов становилось все меньше, они были дороги, а обнищание русских стремительно прогрессировало. Эмигрантская молодежь все охотнее читала по-французски, все меньше интересовалась эмигрантскими авторами. Денационализация подрастающего поколения становилась одним из повторяющихся сюжетов таких тонких и чутких сатириков русского зарубежья, как Тэффи и Дон-Аминадо.

К началу 30-х годов заметно изменилась общая настроенность большинства русских «беженцев» (как они сами себя называли). Надежда на перемены, которые не сегодня-завтра позволят вернуться на Родину, почти бесследно исчезла. Советская Россия вступила во второе десятилетие своего существования, обнародовала первый пятилетний

план развития народного хозяйства, укрепляла свои международные связи. Маяковский, приезжая в Париж, читал победоносные строки:

Я планов наших люблю громаде,  
Размаха шаги саженьи..

«Чемоданный быт», бесправное полунищенство можно было переносить с большей или меньшей стойкостью, пока казалось, что они временны. Но к концу 20-х годов пришло сознание как бы захлопнувшейся ловушки.

Одно из самых трагических стихотворений русской эмиграции «Хорошо, что нет царя...» помечено 1929 годом. Это стихотворение Георгия Иванова заканчивалось строками последнего отчаяния:

Хорошо, что никого,  
Хорошо, что ничего,  
Так черно и так мертво,  
Что чернее быть не может  
И мертвее не бывать.  
И никто нам не поможет,  
И не надо помогать.

Споры о возможности полноценного развития русской литературы за пределами Родины не утихали и в 20-е, и в 30-е годы. Зинаида Гиппиус была негласным лидером правых литераторов, наиболее непримиримо относившихся к молодой Советской Республике. Тезис, ею сформулированный, звучал почти горделиво: «Мы не в изгнании, мы в послании». Чаша русской культуры, утверждала Гиппиус, волею судеб выплеснута за пределы России, и задача русских, оказавшихся «в рассеянии», — сохранить и спасти эту культуру от разрушения.

Марк Слоним, ведущий критик «левого» журнала «Воля России», называл это утверждение «утешительным мифом». Он считал, что русская эмиграция не создала за рубежом ни одной крупной художественной ценности. Исключение он делал только для двух имен: Ремизова в прозе и Цветаевой в поэзии.

Со Слонимом резко спорили. Припоминали имена не только русских, успешно творивших вдали от Родины, Тургенева и Герцена прежде всего, но и Дантес, и плеяду польских поэтов: Мицкевича, Красиньского, Словацкого... «Дело не в том, что Тургенев жил за границей, — откликнулась «Воля России» в 1931 году, — важно, что его романы читались в России и влияли на русского человека, а значит, на русскую культуру и искусство». Именно стена между зарубежьем и живой Россией, куда эмигрантские издания в 30-х годах уже не проникали, — вот что ощущалось наиболее безысходно и трагически. «Мы оказались исключенными из бытия России», — писал Слоним.

Его доклад, озаглавленный «Конец эмигрантской литературы» и прочитанный в 1931 году в литературном объединении «Кочевье», собрал многолюдную аудиторию. «Ответный» вечер устроили молодые литераторы, сплотившиеся вокруг нового журнала — «Числа». Молодые, большинство из которых лишь в эмиграции начали свою литературную деятельность, ощутили кровную задетость самой постановкой вопроса: «быть или не быть» эмигрантской литературе? Они полны были решимости не сдаваться на милость обстоятельств, додержаться до лучших дней, донести до будущих поколений пусть две-три строчки, а может быть, и

несколько стихотворений, которые, как бутылка, брошенная в море, что-то сообщат тем, будущим, о погибших на чужбине...

Но решимость не спасала их от мрачной ипохондрии, усугубленной экономическим кризисом. Именно в это время определилась та черта зарубежной русской поэзии, которая с легкой руки поэта Бориса Поплавского получила название «парижской ноты». Даже в глазах ее защитников этой поэзии присуща была «утонченная анемичность» (Г. Адамович). В стихах настойчиво варьировались темы обреченности, заброшенности, одиночества, умирания. Старших поражала духовная неустойчивость поэтической молодежи, несравненно бóльшая, чем у предыдущего поколения. Непримируемый Слоним, не желая сентиментальничать, называл «Числа» «органом духовного пораженчества», объединением людей, бесконечно уставших, несмотря на молодость.

Резкость таких оценок — лишнее подтверждение неоднородности литературной среды русского зарубежья. В 20-е и 30-е годы там шли свои бурные процессы политического и эстетического самоопределения. Горячие споры молодых поэтов в начале 20-х годов кипели вокруг футуризма, дадаизма, сюрреализма, имажинизма; к концу 20-х страсти разгорались чаще вокруг другого: отношения к поэтическому опыту Маяковского, Пастернака и Цветаевой. Их преобразования в области русского стихосложения уже невозможно было игнорировать.

Владислав Ходасевич, сблизившись в 1925 году в Париже с Союзом молодых поэтов и писателей, укрепил своим авторитетом позиции тех, кто позже



Парижские кафе, облюбованные русскими эмигрантами

назвал себя «неоклассиками», стремящимися к «акмеистической ясности». Так возникла группа «Перекресток», в которую входили поэты Ю. Терапиано, Д. Кнут, Г. Раевский, Н. Берберова, Вл. Смоленский. Чаще всего они собирались в Латинском квартале на улице де-л-Ирондель, в кафе «Ла Болле», где некогда бывали Уайльд и Верлен. Завоевав определенный авторитет, авторы «Перекрестка» удостоивались приглашения на собрания «Зеленой лампы», руководимой четой Гиппиус — Мережковский, или на воскресные чтения, проходившие на квартире самих Мережковских в Пасси, на улице Колонель Бонне.

Другое литературное объединение — «Кочевье» — собиралось в «Таверне Дюмениль» на Монпарнасе; возникнув в 1928 году, оно быстро

получило репутацию «неблагонадежного». Поэтов здесь особенно интересовали поиски новых поэтических форм, но в целом группа была больше спаяна не стилевыми пристрастиями, а «левыми» взглядами, живым интересом к молодой советской литературе. Объединение курировал Марк Слоним, и приглашения рассылались поначалу на



бланках «Воли России». «Хороший тон «Кочевья» требовал от беллетриста отталкивания от Бунина и подражания Ремизову, — отмечала в газете «Возрождение» Н. Городецкая. — Поэты были самостоятельнее, т. е., отдав дань Пастернаку и Цветаевой, могли петь под Блока и мудрить под Ходасевича, оставив Союзу молодых поэтов — Гумилева». В «Кочевье» читали свои стихи Алексей Эйсер, Анна Присманова, Гингер, Ладинский, Вадим Андреев. Несколько раз здесь выступала и Цветаева.

Она не входила ни в одну из группировок, посещая разные вечера. Исключением были собрания Мережковских — там она не бывала: их взаимное неприятие после конфликта 1926 года определило отношения раз и навсегда.



Читательский кризис тяжело переживали русские зарубежные литераторы всех направлений и поколений. В 1931 году в очередном номере «Чисел» этой теме посвящена была статья под знаменательным названием: «Без читателя»...

Тоска по настоящему читателю, оставшемуся в России, росла год от года и у Цветаевой. В ее памяти все еще стояли переполненные залы Политехнического музея или консерватории первых лет революции, когда она писала осенью 1931 года: «Здесь множеств физически пет, есть группы. Как вместо арен и трибун России — зальца, вместо этического события выступления (пусть наступления) — литературные вечера, вместо безымянного незаменимого слушателя — России — слушатель именной и даже именитый. В порядке литературы, не в ходе жизни. Не тот масштаб, не тот ответ. В России, как в степи, как на море, есть откуда и куда сказать. Если бы давали говорить...» («Поэт и время»).

И это пишет Цветаева, которая к одной из своих статей взяла эпиграфом диалог из Монтеня — диалог, в котором писатель гордо декларировал свою независимость от читателя: «С меня довольно немногих. С меня довольно одного. С меня довольно и никого!» Но этот эпиграф Марина Ивановна поставила еще в самые первые месяцы пребывания во Франции. Еще жива была — пусть неосознанная — надежда на временность этого «никого», теплилась вера в то, что стихи, созданные здесь, попадут в Россию. А через два года в письме к Горькому Цветаева уже просила его помощи в распространении последнего ее стихотворного сборника «После России» там, на Родине...

Итак, вечер 30 мая с чтением «Истории одного посвящения» прошел вполне успешно: «Слушали отлично, смеялись, где нужно...» Но в ближайшие же дни после этого вечера Цветаева напишет стихотворение «Лучина»:

До Эйфелевой — рукою  
Подать! Подавай и лезь.  
Но каждый из нас — такое  
Зрел, зрит, говорю я днесь,  
Что скушным и некрасивым  
Нам кажется ваш Париж.  
«Россия, моя Россия,  
Зачем так ярко горишь?»

## 7

В июне 1931 года Эфрон передал через советское полпредство в Париже прошение во ВЦИК о советском паспорте.

Двадцать девятого июня, сообщая об этом сестре в Москву, он просит ее обратиться за содействием к давнему ее другу большевику Заксу. Когда-то, еще в дни Февральской революции, Сергей Яковлевич непримиримо с ним спорил, оценивая обстановку в стране. Позже Закс какое-то время жил постояльцем в Борисоглебском переулке на квартире Эфронов; с Мариной Ивановной у них были вполне дружественные отношения. Может быть, теперь Закс походатайствует во ВЦИКе? «В течение пяти лет,— пишет Сергей Яковлевич сестре,— я открыто и печатно высказывал свои взгляды, и это дает мне право так же открыто просить о гражданстве...»

Одновременно Эфрон шлет письма Пастернаку и Горькому — также с просьбой о поддержке. Ему кажется, что теперь день возвращения не за

горами. В последующих письмах он старался предупредить сестру: «Думаю, что, увидев меня, ты порядком разочаруешься — не только потому, что я начал быстро стареть, а потому, что от прежнего меня ни крупинки не осталось». «Я все пугаюсь, когда встречаю людей после очень длительной разлуки. Они все те же, а я изменился страшно. Они же говорят со мною как с прежним и, конечно, разочаровываются...»

Однако ни в этом году, ни через год Эфрон не получит ни отказа, ни разрешения вернуться. В начале 30-х годов советское гражданство дают русским эмигрантам еще очень выборочно, лишь тоненькая струйка возвращающихся сочтется примерно до 1935 года, только позже она становится немного обильнее. В 1932 году уезжает в СССР верный друг цветаевской семьи филолог и публицист Дмитрий Петрович Святополк-Мирский. В октябре 1933 года Цветаева — Тесковой: «С. здесь, паспорта до сих пор нет, чем я глубоко счастлива <...>. Я решительно не еду, значит, расставаться, а это (как ни грыземся) после 20-летней совместности — тяжело...» В августе следующего, 1934-го, Эфрон — сестре: «Почти все мои друзья уехали в Советскую Россию. Радуюсь за них и огорчаюсь за себя...»

Дома, в семье, Эфрона горячо поддерживает в вопросе об отъезде дочь Ариадна. Сын еще мал, но и он жаждет немедленно ехать в СССР. Упрямо сопротивляется только Цветаева. Когда в 1936 году она в очередной раз говорит мужу, что возвращаться в Москву сейчас не хочет, он неожиданно предлагает ей ехать в Тифлис. «А Вы?» — «А я — где скажут, я давно перед страной в дол-

гу...» В этом диалоге, приведенном в Цветаевском письме к Тесковой (29 марта 1936 года), знаменательнее всего то, как сам Эфрон понимает причину оттяжки его возвращения на Родину: он считает совершенно справедливым, что участие в белой армии лишает его права свободно распоряжаться своей судьбой...



С. Я. Эфрон

В письмах Сергея Яковлевича к сестре в Москву все 30-е годы настойчиво звучит: «Если бы я был один!», «с Мариной прямо зарез...», «с нею ужасно трудно. Прямо не знаю, что и делать...»

Кажется, что вешнее предчувствие с неодолимой силой удерживает Марину Ивановну от безоговорочного «да», которого так ждет от нее муж. Трудно назвать это просто словом «страх». То было почти знание, а не безотчетный страх, знание-предчувствие несчастья для всех: для всей семьи. Она колебалась, пыталась взвешивать «за» и «против», сравнивая при этом себя с Иваном-царевичем на раздорожье: «Влево поедешь — коня загубишь, вправо поедешь — сам пропадешь...»

Конечно, тоска по Родине ей мучительно

знакома. И чем категоричнее звучит «мне все равно» в стихотворении 1934 года, так и названном «Тоска по родине» («Мне совершенно все равно, Где абсолютно одинокой Быть, по каким камням домой Брести с кошелкою базарной...»), чем больший накал набирает с каждой строфой это «все равно», тем явственнее проступает глубочайшая связанность Цветаевой именно с тем, от чего она отрекается здесь с такой страстью.

Оказавшись летом 1935 года на знаменитом своими красотами Лазурном берегу, Марина Ивановна вдруг останавливает во время прогулки свою русскую приятельницу:

— Нет, я хочу — туда!

— Куда — туда? — спрашивает изумленная спутница.

— Туда, туда, на Оку!

Отсюда же, из Фавьера, она напишет Тесковой: «Мне вовсе не нужно *такой* красоты, *столькой* красоты: море, горы, мирт, цветущая мимоза и т. д.». «Я соскучилась по русской природе, по лопухам, по неплющевому лесу, по себе там», — сказано в письме к Пастернаку. Русские просторы, русское огромное небо над ними — это в ее глазах символ российской безмерности, которую она так сильно ощущает в себе самой. Но, конечно, не только символ. Просторы, лопухи, Ока, рябина — это зримые образы родной земли, с детских лет вцементированные в «состав души». Они невытравимы никакими разумными рассуждениями. Убедительнейшие доводы в прах рассыпаются перед живым воспоминанием:

Но если на дороге куст  
Встает, — особенно рябина...

От громкоголосого «русофильства», от упоенных разговоров о «Руси» и «народе-богоносце» Цветаева неприязненно сторонится. «Я никогда не буду утверждать, — писала она в 1923 году Роману Гулю о «русофилах»-эмигрантах, — что у здешней березы «дух не тот» <...>. Они не Русь любят, а помещичьего «гуся» — и девок».

«Россия не есть условность территории», — настаивала она, отвечая на одну из анкет. Можно не жить в России — и носить ее в своем сердце; Цветаева знает это прежде всего по себе. И все-таки, услышав о кончине талантливого русского ученого Н. П. Кондакова, с которым ей довелось встречаться в Чехии, она непоследовательно радуется: «Хорошо, что умер он в славянской Праге, а не в Берлине или Париже!» Анне Тесковой в 1930 году: «Как Вы глубоко правы — *так* любя Россию! Старую, новую, красную, белую — *всю*! Вместила же Россия — всё <...>. Наша обязанность, вернее, обязанность нашей любви — ее всю вместить».

Сердце — вмещает. Но в отличие от мужа Цветаева не отмахивается так легко от дурных известий с Родины. А они идут все гуще: некий ксендз, чудом бежавший с Соловков, рассказывает о страшном лагере, где гибнут безвинные люди; бывший секретарь Сталина Бажанов публикует в одной из эмигрантских газет первые главы своих мемуаров; упорно распространяются слухи о голоде на Украине...

В одном из писем сестре Эфрон утверждал: «Марина — человек социально совершенно дикий, ею нужно руководить как ребенком». Что ж, в самом деле «дикий», если называть диким человека,

который не хочет и не может думать, говорить и делать то же, что вокруг него, в ближайшем окружении, думают, говорят и делают. Конформизма в Цветаевой не было ни грана. Сама же она называет это иначе: «Не дал мне Бог дара слепости!» Ибо Эфрон и его друзья, поглощенные и почти раздавленные ностальгией и комплексом вины перед Родиной, демонстрировали разительную способность: *смотреть — и не видеть*. Бесценная переписка с Анной Тесковой сохранила нам суждение самой Цветаевой о политической зоркости ее мужа. «С. Я. совсем ушел в Советскую Россию, — пишет Марина Ивановна в октябре 1932 года, — ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет...»

Осенью 1931 года в гости к Цветаевой впервые пришел поэт А. В. Эйснер, страстно увлеченный цветаевской поэзией. Позже он сдружился с Эфроном, почти забросил стихи, чего Цветаева ему никогда не простила, потом воевал в Испании, вернулся в Россию, был репрессирован, отбыл свое время в сталинских лагерях. Он много и охотно рассказывал о Цветаевой и ее муже. И вот важное его свидетельство. «Я считал Цветаеву замечательным поэтом, крупнейшим поэтом, — рассказывал Алексей Владимирович. — Я всех и всюду зачитывал ее стихами. Но, как и Сергей Яковлевич, я был убежден, что в вопросах социально-политических Марина ничего не понимает. Ее оценки происходящего в России в 30-е годы казались мне наивными преувеличениями человека, не разбирающегося в сложностях общественного развития. Только десятилетия спустя я осознал, что это мы, а не она ничего не понимали, что это мы,

а не она обольщались лозунгами и призывами и были упорно слепы к тому, что теперь известно каждому. Она же и видела, и почувствовала это гораздо раньше, чем многие...»

Цветаевой не нужно было знать *всего* для того, чтобы верно оценить атмосферу и тенденцию, сформировавшуюся в Советской России к началу 30-х годов. Она читала советские журналы, встречалась с людьми, приезжавшими из России (на время или навсегда), — это были Антокольский и Пильняк, Замятин и Сергей Прокофьев, художник Синезубов, хорошо знавший Маяковского и Пастернака. Наверное, виделась и с Бабелем, дружившим с О. Е. Черновой, давней подругой Марины Ивановны (достоверно, что с Бабелем встречался Эфрон). Пастернаковских писем к Цветаевой 30-х годов мы не знаем, но, наверное, и в них она умела читать между строк. Ей было этого достаточно.

Две статьи, созданные ею в том же году, когда Сергей Яковлевич написал свое прошение о советском паспорте, чрезвычайно характерны. Эти статьи явственно *противостоят* тому, что на те же темы и как раз в это время пишут «рапповские»



А. В. Эйснер  
(публикуется впервые)



критики, захваченные неумной страстью «изобличать», смешивая с грязью, художников-«попутчиков».

В феврале 1931 года газета «Последние новости» перепечатала из «Правды» сообщение о состоявшейся 9 февраля Всероссийской конференции по детской литературе. На конференции, в частности, говорилось о том, что «классовый враг проник в детскую литературу под видом «чуковщины»; одним из самых отсталых участков названа дошкольная книга. А незадолго перед тем журналы громили писателей за отрыв от реальной жизни в литературе для детей. Итак, в начале февраля проходит Всероссийская конференция. А к концу того же месяца Цветаева уже закончит статью «О новой русской детской книге». В ней с восхищением говорится о внимании детского писателя в Советской России именно к реальному, живому, красочному миру, который прежде так часто подменялся сусальным повествованием о феях, гномах и эльфах — в их «тамбовском», как пишет Цветаева, варианте. Она отметила и прекрасные иллюстрации, и высокую культуру стиха, цитируя книги Маршака и Шварца, Полонской и Дилакторской. И — знаменательно! — статья завершалась фразой, прямо опровергавшей выводы конференции в Москве: «Закончу спокойным и удовлетворенным утверждением, что русская дошкольная книга — лучшая в мире».

Написанная по горячим следам «рапповского» разноса, статья должна была появиться в одной из парижских газет уже в начале марта — полемичность ее стала бы особенно очевидной. Увы! В парижской редакции обиделись за дореволюцион-

ную детскую книгу — и статью не приняли.

Вторую статью, получившую название «Поэт и время», Цветаева пишет поздней осенью того же 1931-го. И эта статья тоже насыщена открытой и скрытой полемикой с «рапповцами» и «напостовцами». Главная ее тема — современность художника. Подлинная «современность» обратна «злободневности», — утверждает Цветаева, — «современно не то, что перекрикивает, а иногда и то, что перемалчивает». «Быть современником, — читаем в статье, — творить свое время, а не отражать его, а если и отражать, то щитом, то есть с девятью десятými его сражаться, как сражаешься с девятью десятými своего черновика».

«Чуковщина» в детской литературе стояла в одном ряду с «полонщиной» и «воронщиной» в критике, «булгаковщиной» в драматургии, «переверзевщиной» в литературоведении, «головановщиной» в музыкальном искусстве, «чаяновщиной» в сфере экономической мысли — этими ярлыками пестрят страницы советской периодики в тридцать первом году. «Теорию литературы» Бориса Томашевского, вышедшую шестым изданием, назовут «залежалым ядовитым продуктом», Андрея Платонова за повесть «Впрок» — кулацким писателем, Пильняка именуют «Савонаролой с Тверского бульвара» и желтым романистом, написание «Повести о непогашенной луне» ему уже пришлось признать своей «грубой ошибкой»... А как обстоит дело с поэтами? Анна Ахматова после «Anno Domini» (1921 год) не выпустила ни одной поэтической книги, и с 1924 года журналы не публиковали уже и отдельных ее стихотворений. В поэме Пастернака «Спекторский» журнал «На литературном посту»

обнаружил «порочный художественный метод». Зато образцом поэта тот же журнал объявил Демьяна Бедного, только что опубликовавшего свой шедевр «Слезай с печки». Вот где достигнута «непревзойденная степень приближения к диалектико-материалистическому методу»! Утверждая, что Демьян Бедный превзошел достижения Некрасова, Ю. Либединский выдвинул лозунг «одемянивания» советской поэзии.

В тот самый день, когда Цветаева выступала на вечере с чтением своего эссе «История одного посвящения», Михаил Булгаков обращался к Сталину с письмом, являющим собой один из самых трагических документов истории советской литературы. В июне того же года аналогичное письмо Сталину написал Евгений Замятин. Цветаева, конечно, не знала этих фактов. Но эпидемия «проработок», разгулявшаяся с конца 20-х годов на страницах советских газет и журналов, позволяла ей легко представить ситуацию затравленного художника, не желающего (словами Булгакова) становиться в ряды «илотов, панегиристов и запуганных «услужующих». Булгакова не выпускают из России даже на несколько месяцев, оставляя без внимания все его просьбы. Летом 1930 года отказали в выезде к родным Пастернаку. Замятину с женой разрешают уехать. Но когда Пильняк оказался в том же 1931 году в Париже, проездом в Америку, некоторых это насторожило. Не потому ли ему после тяжелых «проработок» разрешен столь дальний выезд, что за два месяца перед тем в «Известиях» появилась его статья «Слушайте поступь истории!»? Статья проклинала «спецов-вредителей». В Москве в это



МАРИНА ЦВЕТАЕВА

## ПОСЛЕ РОССИИ

1922 — 1925

ПАРИЖ  
1928Обложка сборника «После  
России».

время идет «процесс Промпартии», и на скамье подсудимых сидят «седовласые ученые бандиты» Громан и Рамзин, обвиненные во вредительстве.

На таком фоне понятнее становится упорная несговорчивость Цветаевой, когда заходит речь о немедленном возвращении на Родину. В ее письмах 1931—1932 годов сказано внятно: «Всё меня выталкивает в Россию, в которую — я ехать не могу. Здесь я не нужна. Там я невозможна». «Там меня раз (на радостях!) и два! — упекут. Я там не уцелею, ибо негодование — моя страсть, а есть на что...» «Там мне не только заткнут рот непечатанием моих вещей — там мне и писать их не дадут».

Но Сергей Яковлевич убежден, что исток всех опасений жены — просто в непонимании «великого эксперимента», который идет в Советской России. Конечно, там много противоречивого и трудного, но все это временное, наносное, и надо уметь отличать главное от второстепенного! С этой позиции Эфрона ничто не может сдвинуть. Он заморожен в 30-е годы грандиозностью пятилетних планов, подвигом строителей Магнитки и Днепрогэса, «стахановцев» и «челюскинцев», строками поэмы Маяковского и «Тихим Доном» Шолохова, фильмами Пудовкина и Эйзенштейна. Да он ли один! Со сколькими делил он этот дальтонизм, на какие высокие авторитеты опирался, повторяя слова о «маловеерах» и «великом социальном эксперименте»! Но Цветаева не разделяет иллюзий мужа. А он в письме к сестре уже в 1936 году по-прежнему твердит свое: «Мне горько, что из-за меня она здесь. Ее место, конечно, там. Но беда в том, что у нее появилась с некоторых пор острая жизнебоязнь. И никак ее из этого состояния не вырвать...» В глазах Эфрона «острая жизнебоязнь» — всего лишь болезненное состояние жены. Его нужно преодолеть, из него Марину Ивановну необходимо «вырвать»...

В этом же году Цветаева напишет стихотворение, которое позже на Антифашистском конгрессе деятелей культуры, собравшемся летом 1935 года в Париже, подарит Николаю Тихонову:

С фонарем обшарьте  
Весь подлунный свет.  
Той страны на карте —  
Нет, в пространстве — нет.

Вышита как с блюда:  
Донышко блестит!  
Можно ли вернуться  
В дом, который — скрыт?

Заново родися!  
В новую страну!  
Ну-ка, воротися  
На спину коню

Сбросившему! (Кости  
Целы-то — хотя?)  
Эдакому гостю  
Булочник — ломтя

Ломаного, плотник —  
Гроба не продаст!  
*Той ее — несчетных*  
Верст, *небесных* — царств,

Той, где на монетах —  
Молодость моя,  
Той России — нету.  
Как и той меня.

## 8

Летом 1931 года, на побережье Средиземного моря, под Тулоном, куда ей удалось уехать с сыном на месяц с небольшим, она создает цикл «Стихи к Пушкину». О нем можно сказать многое, но, помня психологические обстоятельства, в которых он создан, трудно не изумиться самой тональности этих стихов. Какой наступательный ритм, какая воинствующая интонация — с первых же строк:

Бич жандармов, бог студентов,  
Желчь мужей, услада жен,  
Пушкин — в роли монумента?  
Гостя каменного? — он,

Скалозубый, нагловзорый  
Пушкин — в роли Командора?..

Это яростный, другого слова не подберешь, спор с теми, кто пытался провозгласить поэта эталоном умеренности и «истинной гармонии», а на языке Цветаевой — «низости двуединой золота и середины».

Главное обаяние Пушкина в глазах Цветаевой — его независимость, непокорство, бунтарство. Его способность к противостоянию, противоборству — вот что сейчас ей особенно дорого. Свершения Пушкина, настаивает Цветаева, плод не только великого поэтического дара, но и великого усилия, мощи духа:

Преодоление  
Косности русской —  
Пушкинский гений?  
Пушкинский мускул

На кашалотей  
Туше судьбы —  
Мускул полета,  
Бега,  
Борьбы.

Это стихи о Пушкине — и о себе: вариация любимейшей темы цветаевского творчества. В этом году она получила почти злободневное звучание. Усилие противостоянья. Вопреки разлукам, нажиму обстоятельств, непризнанию — противоборство творчеством. Верность себе. Вышнему, что несешь в себе...

Среди немногих радостей осени 1931 года оказался день, когда к дому Цветаевой подъехал автомобиль. За рулем сидел Сергей Сергеевич Прокофьев, с ним вместе приехали его жена и Слоним. Сорокалетний Прокофьев уже получил к этому времени европейское признание как композитор и активно концертирующий пианист-виртуоз. Возможно, они уже виделись раньше — во всяком случае Цветаева, редко посещавшая театры, присутствовала на балете «Блудный сын», когда Прокофьев дирижировал оркестром. Она могла быть и на парижской квартире композитора, дружившего с Сувчинскими и Натальей Гончаровой: в 1929 году на этой квартире Маяковский читал поэму «Хорошо!». Еще в 1927 году Прокофьев сумел получить советский паспорт и с тех пор дважды побывал в СССР: первый раз триумфально, а второй — неудачно, попав в полосу яростных «проработок», не обошедших и его творчество.

Цветаевскую поэзию Прокофьев давно знал и любил, особенно восхищаясь энергичной ее ритмикой, как он говорил, «ускоренным биением крови».

Встреча в Медоне прошла весело, почти празднично. Чувствуя дружеское расположение собеседника, Цветаева всегда оживлялась, колючая настороженность ее исчезала, она становилась раскованной и блестящей. Марк Слоним рассказывает: «М. И. была очень рада нашему посещению, накормила нас супом, читала свои стихи и много шутила. Когда Прокофьев в разговоре употребил какую-то поговорку, М. И. тотчас обрушилась на пословицы вообще — как выражение ограниченности и мнимой народной мудрости.



И начала сыпать своими собственными переделками: «где прочно, там и рвется», «с миру по нитке, а бедный все без рубашки», «береженого и Бог не бережет», «тишь да гладь — не Божья благодать», «тише воды, ниже травы — одни мертвецы», «ум хорошо, а два плохо», «тише едешь, никуда не приедешь», «лучше с волками жить, чем по-волчьи выть». Прокофьев хохотал без удержу, Лина Ивановна улыбалась снисходительно, а Сергей Яковлевич одобрительно.

В конце вечера Прокофьев заявил, что хочет написать не один, а несколько романсов на стихи М. И., и спросил, что она хотела бы переложить на музыку. Она прочла свою «Молвь», и Прокофьеву особенно понравились первые две строфы:

Емче органа и звонче бубна  
Молвь — и одна для всех.  
Ох — когда трудно, и ах — когда чудно,  
А не дается — эх!  
Ах — с эмпиреев, и ох — вдоль пахот,  
И согласись, поэт,  
Что ничего, кроме этих ахов,  
Охов, у музы нет.

«А воображение? — спросил Прокофьев. — Разве не это самое главное у Музы?» Тут завязался спор. М. И. утверждала, что не одна поэзия, но вся жизнь человеческая движется воображением. Колумб воображал, что между ним и Индией — вода, океан, — говорила она, — и открыл Америку. Ученые, не видя, находят звезды и микробы, тот, кто вообразил полет человека, был предтечей авиации. И нет любви без воображения. «Что же, по-вашему, — опять спросил Прокофьев, — это озарение?» — «Нет, это способность

представлять себе и другим выдуманное как сущее и незримое как видимое». Прокофьев потом признался, что был согласен с Цветаевой, но нарочно вызывал ее на беседу...»

Всю обратную дорогу Прокофьев был радостно возбужден, восхищался напряжением и силой цветаевского мировосприятия, а затем с азартом стал обсуждать, какие стихи Цветаевой лучше положить на музыку. Он так увлекся этой темой, что уже в Париже въехал на полном ходу в пилястр надземной железной дороги. И только чудом машина не перевернулась и все остались целы.

К середине сентября не пришло чешское «пособие», которое обычно поступало в самом начале месяца. В доме воцарилась мрачная безнадежность. 15 октября надо было отдать квартирным хозяевам сразу 1200 франков. Кроме того, предстояло платить и за школу рисования, где училась Ариадна. А в семейном кошельке оставались считанные франки. Цветаева — Тесковой, 14 сентября 1931 года: «Наше положение прямо отчаянное: 14-е число, а чешского иждивения нет. Без него мы погибли... По нашим средствам мы все должны были бы жить под мостом. <...> Умоляю, дорогая Анна Антоновна, попытайтесь отстоять меня у чехов.— Совестно просить всегда, но виновата не я, а век, который десять Пушкиных бы отдал за еще одну машину...» Эфрон — сестре 18 сентября 1931 года: «Ты спрашиваешь, как мои дела. Должен сознаться, что хуже нельзя. Кризис (ужаснейший и со дня на день растущий) и мои советские взгляды сделали то, что я вот уже

год не могу найти заработка. Что будет дальше — думать страшно. Живем изо дня в день, каким-то образом выворачиваемся. Но боюсь, что и выворачиванию придет конец. Эта зима в Париже будет сверхтрудной...»

Осенью сорвалась и еще одна попытка устроить французского «Молодца» через давнего, российских лет, приятеля — француза Шюзвиля. Надежда вспыхнула — и погасла: поэму постигла очередная неудача.

Как бы ни была Цветаева уверена в своем даре, эта цепь отказов из всех редакций, это вежливое равнодушие и молчание, снисходительный тон Георгия Адамовича, упоминавшего в своих литературных обзорах Цветаеву с неизменным сожалением о «болезнях ее вкуса», — не могли поднять ее жизненный тонус.

Но что появляется в цветаевских рабочих тетрадях в те самые дни, когда она пишет свое отчаянное письмо Тесковой?

— Не нужен твой стих —  
Как бабушкин сон.  
— А мы для *иных*  
Сновидим времен.

— Докучен твой стих —  
Как дедушкин вздох.  
— А мы для *иных*  
Дозорим эпох...

. . . . .  
— Насмарку твой стих!  
На стройку твой лес  
Столетний!

— Не верь, сын!

И вместо земных  
Насильных небес —  
Небесных земель —  
Синь.

Ни жалобы, ни отчаяния, ни обвинений. Спокойная уверенность: «моим стихам настанет свой черед».

В последний момент помощь приходит: и чешское «иждивение» (правда, сокращенное), и деньги, собранные друзьями. Дамоклов меч выселения больше не висит над головой. Можно перевести дух. И Марина Ивановна разом стряхивает напряжение. Внешние невзгоды никогда не затрагивают ее глубоко; в сердце она их не впускает. «Я вообще за *grands efforts*<sup>1</sup> в жизни,— пишет она Тесковой 8 октября,— лучше сразу непомерное, чем понемножку...»

Жизнь продолжается. Цветаева погружена в работу; к ноябрю она уже закончена: это статья «Поэт и время».

«На свете счастья нет, но есть покой и воля...» Размышляя над этими пушкинскими строками в сентябрьском письме к Андрониковой, Цветаева вносит свою поправку в их смысл. «Воли-свободы» тоже нет, пишет она Саломее Николаевне, зато есть другое: «воля волевая». Воля как усилие, как мощное желание и превозможение. Она не дает счастья, но помогает жить и делать свое кровное дело, которое за тебя не может сделать никто другой.

---

<sup>1</sup> Большие усилия (фр.).

## Глава шестая

КЛАМАР-ВАНВ,

1934

### 1

Начало тридцать четвертого года во Франции было ознаменовано очередным министерским кризисом. На этот раз толчком для него послужило раскрытие крупной финансовой аферы, в которой были замешаны парламентские депутаты, министры и видные чины французской полиции. На страницах газет замелькали портреты Александра Ставиского, выходца из России, талантливого жулика, ворочавшего миллионами и пользовавшегося доверием даже видных дипломатов. Между тем русские эмигранты едва оправились от судебного процесса над другим своим соотечественником — Горгуловым, застрелившим в 1932 году французского президента Думера. Теперь они в очередной раз обостренно ощутили неуют гостей, которые незвано явились в чужой дом и досаждают хозяевам скверными выходками. Правда, в отличие от Горгулова, Ставиский не был эмигрантом, но родился он все же в Киеве, — этого

было достаточно, чтобы русские втянули голову в плечи, ловя на себе (как им во всяком случае казалось) косые взгляды французов.

События разворачивались стремительно. Инцидентом воспользовались группировки французских фашистов, ждавших повода для выступления. Еще с конца 1933 года стали появляться на улицах Парижа молодые люди в синих рубашках; они устраивали митинги, выкрикивали лозунги, призывавшие к борьбе «за здоровое государство с сильной властью», вербовали в свои ряды безработных. Шестого февраля соединенные фашистские силы «Патриотической молодежи», «Боевых крестов» и «Французской солидарности» атаковали на площади Конкорд Бурбонский дворец, где заседал в это время французский парламент. «Фашисты жгли автобусы, — описывает этот день очевидец событий Илья Эренбург, — опрокидывали в Тюльерийском саду статуи нимф, резали ноги лошадей республиканской гвардии лезвиями бритв. Подроспели уголовники, начали громить магазины. К утру все устали и разошлись по домам...» Но спустя два дня на улицы Парижа по призыву французских коммунистов вышли рабочие с антифашистскими лозунгами, а 12 февраля в знак антифашистской солидарности разразилась всеобщая забастовка. Закрылись магазины, бездействовал транспорт, не работала почта, не вышла ни одна газета. На площади Насьон, где собрались бастующие, статую Республики украсили красным флажком. «12 февраля, — вспоминал Эренбург, — было первой черновой репетицией Народного фронта, который два года спустя потряс Францию...»

Еще в январе, почти одновременно с портретом Ставиского появился в русских газетах, выходявших в Париже, и еще один фотопортрет — в траурной рамке. То был портрет Андрея Белого, скончавшегося в России 8 января. В «Последних новостях» было помещено даже два снимка, и один из них Цветаева назвала «переход»: в старой шляпе, с тростью в руке, Андрей Белый шел по каким-то мосткам, запечатленный в позе полета. «Этот снимок — астральный снимок», — писала позже Цветаева в эссе «Пленный дух», настаивая, что вот так, перехода не заметив, и перешел Андрей Белый на тот свет.

Двадцатого января небольшая группа русских собралась на панихиде, которую отслужил о. Сергей Булгаков в темной, казавшейся от пустоты огромной церкви Сергиевского подворья. В числе присутствовавших были Цветаева, Ходасевич и критик Вейдле.

Вейдле увидел Марину Ивановну впервые. Ему уже приходилось отзывать в печати о ее стихах, они не слишком ему нравились. Спустя много лет Вейдле вспоминал этот день и свое потрясение от встречи с Цветаевой. После панихиды несколько человек зашли к о. Сергию, через некоторое время вместе вышли и затем проехали, не расставаясь, часть пути в метро.

«Не преувеличу, если скажу, что долго потом я в себя не мог прийти от совсем неожиданного открытия: вот она какая. Как никто. Поэт, как никто. Никогда, ни получаса, ни двух минут я вблизи такого человека не был. Что ж мне с этим делать? Перечесать, прочесть все ею написанное в надежде найти все это гениальным? Могла, каза-

лось бы, такая мысль прийти мне в голову, но, помнится, не пришла. Впечатление не нуждалось в проверке и не изменилось бы, если бы я остался при старом мнении о ее стихах. Достаточно ее самой. Пусть живет. Только бы жила. Что-то в этом роде я себе мысленно твердил. Спросил, наконец, себя — уж не влюбился ли я в нее. Нет. Открытие мое не меня касалось, и «вот она какая» этого не значило.

Ей было сорок два года (ненамного меньше и мне). Хороша она, по снимкам судя, не была и в юности <...>. У о. Сергия, тогда, вид у нее был усталый и скорее тусклый. Держалась она просто, приветливо и скромно, говорила грудным своим голосом сдержанно и тихо. Женственна она была. Женственности ее нельзя было забыть ни на минуту. Но в том, вероятно, разгадка несходства ее — ни с кем — и заключалась, что женственность или даже грубее, женскость не просто вступила у нее с поэтическим даром в союз (как у Ахматовой) и не отреклась от себя, ему уступив (как у Гиппиус), а всем своим могучим порывом в него влилась и неразрывно с ним слилась. <...>

Тогда, у о. Сергия, когда я впервые ее живую увидел, Елабуга была далеко, посмертное чтение писем еще дальше. Почувствовал я в ней, однако, именно это: насыщенность всего ее существа электричеством очень высокого вольтажа...»

В ближайшие же дни Цветаева начнет работу над воспоминаниями об Андрее Белом.

Она живет теперь в Клараме. Квартиру в Медонне пришлось оставить весной 1932 года — она оказалась слишком дорога. После долгих поисков



нашли более дешевое жилье — по другую сторону медонского лесного массива.

В Кламаре еще раньше поселились две семьи, с которыми Марина Ивановна дружила в Чехии — Черновы и Андреевы. Жили здесь и многие «евразийцы», не утратившие связей друг с другом, несмотря на то, что движение уже пережило свой апогей и кризис и растеклось по разным руслам и ручейкам. В двухэтажном особняке, подаренном богатой поклонницей, жил Николай Александрович Бердяев. С ним Цветаева знакома еще с середины 10-х годов (они встречались тогда в Москве в доме Жуковских, у поэтессы Аделаиды Герцык). Заработка ради в 1932 году одну из работ Бердяева Цветаева перевела на французский язык. В кламарском доме Бердяева по воскресеньям за чайным столом собирались интересные люди — поэты, молодые ученые, философы. Среди последних были Шестов, Федотов, Карсавин — Цветаева поддерживает с ними дружеские отношения. Особенно с Карсавиным, который живет здесь же, в Кламаре. Марина Ивановна часто бывает в его доме, дружит с Лидией Николаевной, женой Карсавина, иногда читает здесь свои стихи, удивляя слушателей редкостной простотой манеры. Карсавин любил шутку и, обладая прекрасной памятью, иногда подтрунивал над Цветаевой, цитируя какие-нибудь строки ее стихов. Она весело смеялась, ей нравилась эта игра.

Но Кламара она не полюбила. После Медона с его уютными улочками, взбирающимися по склонам холма, с его старыми домами, сложенными из розоватого нетесаного камня и затянутыми кружевом плюща, — Кламар был скучен. Безликие мно-

гоэтажные дома казались Цветаевой тщедушными после медонских особняков, пропитанных духом ушедших веков. И лес здесь был много дальше, и окраины его еще более замусорены...

Два года жизни в Кламаре прошли безвыездно — включая и оба лета, душных, мучительно жарких, когда листья на деревьях уже в июле желтели и съезживались, совсем не давая тени. Но выехать к морю было не на что. С деньгами стало настолько скверно, что однажды, открыв на звонок дверь своей кламарской квартиры, Цветаева с недоумением увидела на пороге трех господ, похожих на гробовщиков. Как выяснилось, господа пришли описать имущество хозяев за неуплату налогов. Описывать ничего не пришлось: «обстановка» оказалась состоящей из табуретов, столов и ящиков, и тогда господа составили очень строгую бумагу о немедленной высылке семьи из Франции в случае неуплаты налогов в кратчайшие сроки. Спас гонорар, присланный именно в этот день из журнала, долгожданный и лелеемый в мечтах совсем для других, более приятных вещей...



Кламар,  
улица Кондерсэ, 101

И все-таки два с лишним года, проведенных Цветаевой в Кламаре, заслуживают нашей благодарности. Потому что именно здесь началась ее замечательная *лирическая проза*.

Обстоятельства принудили Марину Ивановну еще в начале 30-х годов принимать новые решения в сфере, которая всегда казалась ей обителью свободы, — в творчестве. Неудачи с публикациями поэтических произведений — «Перекопа» и французского варианта «Молодца» — заставили осознать, что главному ее призванию, поэзии, отныне придется потесниться, уступая место другой литературной работе — прозе. Она писала ее и раньше, но то было всякий раз вольное отступление от главного дела, свободно избираемый перерыв.

Теперь ситуация изменилась. Цветаева органически не способна поступиться собственной позицией — и даже интонацией, но о заработке она вынуждена помнить постоянно. И все чаще она обращается к прозаическому слову; ее статьи и эссе берут в эмигрантскую периодику гораздо охотнее. Она испробует разные жанры — кроме одного: беллетристики. Повести и рассказы с выдуманными героями и сюжетом — это не для нее. Любопытно, что она и как читатель не слишком нуждалась в прозе, будь то даже Толстой или Достоевский. В ее письмах и сохранившихся откликах — множество поэтических имен, но упоминания о прозаиках можно перечесть по пальцам. Исключения лишь подтверждают правило — и они касаются Пруста и Сигрид Унсет. Может быть, эта проза в ее глазах близка документальной? (Как ни странно это определение, особенно для «Кристин, дочь Лавранса», любимейшей цветаевской книги...)

Цветаевская проза в первой половине 20-х годов — «Мои службы», «Октябрь в вагоне», «Вольный проезд», «Чердачное» (из так и не увидевшей света книги «Земные приметы») — это почти не обработанные дневниковые записи первых лет революции. Позже пошли статьи — своеобразная цветаевская эссеистика: «Поэт и критика», «Поэт и время», «Эпос и лирика современной России»...

Но поворотным моментом в цветаевской прозе стала работа над очерком о Максимилиане Волошине осенью 1932 года. Именно с этого времени Цветаева как прозаик обретает себя в новом творческом русле — и лирическую прозу скоро назовет самым своим любимым жанром после стихов.

В Кламаре созданы четыре безусловные жемчужины: «Живое о живом», «Дом у Старого Пимена», «Пленный дух» и «Хлыстовки» (переименованные у нас почему-то в «Кирилловны»). Но не только эти четыре: началась здесь уже и проза об отце и его музее, о матери и музыке, о детстве.

Очерк, рассказ, эссе, воспоминания — все эти термины к жанру, созданному Цветаевой, можно отнести, только оговорив их условность — и даже непригодность; сама она называла этот жанр просто: «проза». «Тема, по существу, мемуарная, — писал Владислав Ходасевич, — в них разработана при помощи очень сложной и изящной системы приемов — мемуарных и чисто беллетристических. Таким образом, оставаясь в пределах действительности, Цветаева придает своим рассказам о людях, с которыми ей приходилось встречаться, силу и выпуклость художественного произведения».

Даже крайне скупой на похвалы Бунин с одоб-

рением принял лирическую прозу Цветаевой. Ею восхищался Адамович. Откликаясь на «Дом у Старого Пимена», он писал: «Вот человек, которому всегда «есть что сказать», человек, которому богатство натуры дает возможность касаться любых пустяков и даже в них обнаруживать смысл. <...> Проза М. И. Цветаевой должна бы у всех рассеять сомнения, ибо проза, по сравнению с поэзией — это, так сказать, «за ушко да на солнышко». За рифмами в ней не спрячешься, метафорами не отделаешься... «На солнышке» Цветаева расцветает. Вспоминает она свое далекое детство, рассказывает о старике Иловайском и каких-то давно умерших юношах и девушках, — что нам, казалось бы? Но в каждом замечании — ум, в каждой черте — меткость. Нельзя от чтения оторваться, ибо это не мемуары, а жизнь, подлинная, трепещущая, бьющая через край...»

Над очерком об Андрее Белом Марина Ивановна работала с увлечением два с лишним месяца. Первые страницы написаны были еще в январе, но домашние дела постоянно отвлекали. В начале февраля состоялся вечер, посвященный памяти поэта. С воспоминаниями выступил Ходасевич. Цветаева пошла его слушать с опаской и настроенностью — зная о ссоре Белого с Ходасевичем при их последней встрече в Берлине 1923 года. Но тревога оказалась напрасной. В письме, написанном в ближайшие дни жене Бунина Вере Николаевне, Марина Ивановна назвала доклад «изумительным», «лучше нельзя», тактичным, правдивым, ответственным в каждом слове и каждой интонации. Она признавалась, что «пришла именно, чтобы не было сказано о Белом злого, то есть

лжи. А ушла — счастливая, залитая благодарностью и радостью».

Спустя полтора месяца на другом вечере уже сама Цветаева читала свое эссе о Белом, а Ходасевич сидел в зале. Это произошло 15 марта того же 1934 года. Завершить «Пленный дух» помогли невеселые обстоятельства: заболел корью сын, потом дочь, и, наконец, началось обострение желудочно-печеночных болезней у мужа. Тем самым отпала гимназия Мура и прогулки с ним, отнимавшие по три часа в день. А когда все начали понемногу выздоравливать, часть необходимых домашних хлопот легла на Алю и Сергея Яковлевича, лишенных из-за болезни возможности убегать из дома по своим неотложным делам.

Соревнование с «изумительным» докладом Ходасевича, судя по всему, Цветаева выдержала успешно. «Мой вечер Белого (простое чтение о нем) прошел при переполненном зале с единым, переполненным сердцем», — писала она Тесковой. Вечер поразил ее самой силой человеческого сочувствия. И это был случай, когда Цветаевой даже не пришлось, отослав рукопись в редакцию, ждать проблематичного ответа. «Пленный дух» был принят прямо «на слух» присутствовавшим в зале одним из редакторов журнала «Современные записки» В. В. Рудневым. Оставалось лишь «дочистить» рукопись; еще «тепленькой», прямо из-под пера, она пошла в типографию — и в мае уже появилась в очередном номере журнала.

## 2

Смерть Андрея Белого послужила поводом к сближению Цветаевой с Ходасевичем. Спустя не-

сколько недель после вечера, где был прочитан «Пленный дух», она получила письмо, которое привело ее в замешательство. Владислав Фелицианович предлагал встретиться где-нибудь в кафе, поговорить. Цветаева взяла в руки перо, чтобы ответить, — и больше половины письма заполнила размышлениями о том, насколько заочная дружба лучше очной. Она припомнила, как разочаровал ее в 1926 году реальный Лондон, такой знакомый до встречи, «Лондон всех Карлов и Ричардов»; воспользовалась случаем, чтобы изложить свои представления о разных возможностях узнавания и познания, отдавая явное предпочтение интуиции перед эмпирикой. Было достаточно ясно, что предложение повидаться в кафе подпадает под категорию не узнавания друг друга, а «туристского налета», только сбивающего с толку. «Наедине хотя бы со звуком тех Ваших интонаций в ушах или букв Вашего письма — больше, лучше, цельнее, полнее, вернее Вас знаю, чем — сидя и говоря с Вами в кафе, в которое Вы придете из своей жизни, а я — из своей...» И после других интересных вещей неожиданно закончила: «А все-таки очень хочу с Вами повидаться <...>. Не могли бы приехать ко мне — Вы, к 4-м часам. Ведь просто! Есть № 89 трамвая, доходящий до Clamart — Fourche, а от Fourche — первая улица налево (1 минута)...»

Знакомы они были еще с предреволюционных лет. Оба были москвичами, оба участвовали в поэтическом сборнике, изданном «Мусagetом» в 1911 году. Встречались и в Москве и в Коктебеле, у Волошина. В 1916 году в Крыму Ходасевич познакомился и с Эфроном, который ему очень понравился. Но близких дружеских отношений тогда не воз-

никло. Затем были еще встречи — в летнем Берлине 1922 года, в Праге конца 1923-го, — но и они не сблизили. В их отношении друг к другу преобладало, скорее, даже отталкивание, а временами и раздражение. Впрочем, оно прорывалось лишь в отзывах третьим лицам. Для этого было достаточно причин: и резкая несхожесть лично-психологического склада, и решительное расхождение в эстетических установках. Убежденный приверженец классической поэтики, Ходасевич долгое время с недоверием следил за процессом обновления

поэтического языка, который энергично шел в русской поэзии конца 10 — начала 20-х годов. Цветаева же, зная это, склонна была принимать на свой счет ядовитые ходасевичевы стрелы, выпущенные против «поэтической зауми». И, в свою очередь, признавалась в одном из писем (Бахраху, 1923 год), что в стихах Ходасевича ей недостает «чары



В. Ф. Ходасевич



и магии» — в отличие, например, от стихов Мандельштама.

В 1926 году между ними пролегла другая межа, во многом иллюзорная. Но пока это иллюзорное развеялось, прошли годы. Ходасевич выступил тогда против журнала «Версты», в котором сотрудничала Цветаева. Личные контакты прервались, но до личной вражды дело не дошло. Так что Марина Ивановна позже имела все основания сказать: «Нашей ссоры совершенно не помню, да нашей и не было, ссорился кто-то и даже что-то — возле нас, а оказались поссорившимися — и даже поссоренными — мы. Вообще — вздор, — продолжала Цветаева в том же письме. — Я за одного настоящего поэта (или, как в Чехии говорили: осьминку его, если бы *это целое* делилось!) — отдам сотню настоящих не-поэтов».

Это строки из письма 1933 года, когда Цветаева сделала как бы первый шаг навстречу. Она обратилась к Владиславу Фелициановичу в связи с упоминанием его имени в своем очерке о Волошине. Шаг был облегчен тем, что Ходасевич, регулярно выступавший в роли критика на страницах русской эмигрантской прессы, неизменно проявлял заинтересованное внимание к развитию цветаевского таланта, столь непохожего на его собственный.

Еще в 1925 году он назвал «восхитительной» поэму Цветаевой «Молодец», оценив ее как талантливейший прецедент поэтической обработки народной сказки — причем средствами, решительно отличающимися от укоренившейся пушкинской традиции. Правда, тремя годами позже он не принял новаторства цветаевской «Федры», найдя в ней

«безвкусное смешение стилей» и «нарочитость языка». Но в 1928 году его отклик на только что вышедшую книгу ее лирики — «После России» в очередной раз продемонстрировал широту и непредвзятость его критических характеристик.

Многое в этом поэтическом сборнике, где новый стиль цветаевской поэзии являл себя в полной мере, Ходасевичу показалось более чем спорным. Цветаева, считал он, «неправа, слишком часто заставляя читателя расшифровывать смысл, вылуцивать его из скорлупы невнятицы, происходящей не от сложности мысли, но от обилия слов, набранных спешно, бурно, без выбора, и когда, не храня богатств фонетических, она непомерно перегружает стих так, что нелегко уже выделить прекрасное из просто оглушающего. <...> Всякое искусство все-таки именно «мир мер», соотношений, равновесий...»

Последнее Цветаевой приходилось слышать слишком часто. Но и в несогласии Ходасевич был иным, чем другие критики, легко соскальзывавшие на дорожку пренебрежительной иронии. Даже там, где ему виделись просчеты, «не найденная автором гармония между замыслом и осуществлением», он чувствовал *масштаб* цветаевского поэтического дара. Он отлично понимал, что перед ним совсем не тот случай, когда поэт не справляется с задачами ремесла. И готов был предположить, что цветаевские «темноты» — результат поиска *иной* гармонии, обеспеченной запасом новых смысловых задач. Его спор был творческим спором; несогласия не помешали выразить искреннее восхищение.

Ходасевич писал в той же рецензии на сборник «После России»: «Из современных поэтов Марина

Цветаева — самая «неуспокоенная», вечно меняющаяся, непрестанно ищущая новизны: черта прекрасная, свидетельствующая о неизменной живучести, о напряженности творчества». «Она созерцатель жадный, часто зоркий и всегда страстный <...>. Эмоциональный напор у Цветаевой так силен и обилён, что автор словно едва поспевает за течением этого лирического потока...» Он сравнивал поэзию Пастернака и Цветаевой и отдавал предпочтение последней. Он находил, что «словесную стихию» Цветаева использует «не только целесообразней, умней, но главное — талантливей, потому что запас словесного материала у нее количественно и качественно богаче. Она гораздо одареннее Пастернака, непринужденней его — вдохновенней. Наконец и по смыслу — ее бормотания глубже, значительней <...>. Если развеять словесный туман Пастернака — станет видно, что за туманом ничего нет или никого нет. За темнотою Цветаевой — есть. Есть богатство эмоциональное и словесное, расточаемое, быть может, беспутно, но несомненное. И вот, говоря ее словами — «Присягаю: люблю богатых!», сквозь все несогласия с ее поэтикой и сквозь все досады — люблю Цветаеву».

В апреле 1934 года они все-таки встретились: впервые наедине и впервые без всякого делового предлога. Спустя недолгое время Цветаева познакомилась и с женой Ходасевича — Ольгой Борисовной, встречи стали более или менее регулярными. И хоть тесной дружбы так и не вышло, укрепилось ощущение внутренней соединенности, «родства по духу» — посреди больших и малых эмигрантских распрей. Теперь, когда судьба загна-

ла их в один и тот же безнадежный тупик, было уже не до споров о классической, неоклассической и модернистской поэтике, во всяком случае (если они и были) из них бесследно ушло ожесточение. На первый план выступило то, что объединяло: общность главных жизненных ценностей, общность отношения к эмигрантским иллюзиям и дутым авторитетам, творчество в условиях глухой барокамеры и пустынное одиночество в чужой земле. То ощущение, которое так прекрасно воссоздал Пастернак, думая о Цветаевой:

Чужая даль... Чужой, чужой из труб  
По рвам и шляпам шлепающий дождик  
И отчуждёньем обращенный в дуб  
Один, как мельник пушкинский, художник...

## 3

Летом 1934 года Цветаева написала две прозаические миниатюры — «Страховка жизни» и «Китаец». На фоне всей ее прозы они единственны в своем роде. Потому что в их основе — не воспоминания о давно ушедших временах, а живые впечатления «сиюминутной» реальности. Автобиографичность обеих миниатюр не вызывает сомнений, хотя в «Страховке жизни» повествование и идет «от третьего лица».

Сюжет первой миниатюры: неожиданный визит страхового агента в семью русских эмигрантов и короткий разговор с ним в дверях кухни. Сюжет второй — случайная встреча на почте с китайцем, торгующим своими изделиями. Но там и там — тема одна и та же: чужеродность русских во французской среде, под чужим небом. Невозможность найти душевно общий язык с людьми дру-

гой судьбы и иной культуры. Бездна взаимная глухота в сфере нравственного обихода, даже при искреннем желании понять друг друга.

Вежливый, воспитанный страховой агент-француз из всех сил старается понравиться потенциальной русской клиентке — и доводит ее чуть не до обморока настойчивыми уверениями в выгоде и утешительности денежной компенсации за смерть мужа. Муж здесь же, на кухне, сидит за ужином, однако при разнообразии несчастных случаев, терпеливо перечисляемых молодым человеком, будто читающим наизусть прейскурант, он, муж, вполне может погибнуть каждый день. Жена пытается остановить, прервать поток этой гладкой вежливой речи, объяснить: «Мы другого поколения, лирического поколения... мы суеверные, сентиментальные, фаталисты, вы, наверное, про это уже слыхали? Про ам слав?..<sup>1</sup>» Бездна.

Симпатичные почтовые барышни («Китаец»), тщательно обдумывающие трату каждого су из своего кошелька, ни во что не ставят собственные радости, если они заранее не предусмотрены и не взвешены. Как пугаются они пустячного подарка, который хочет сделать им странная русская дама! А ей, этой даме (то есть самой Цветаевой) несравненно легче говорить с китайцем — языка его она не знает, но с ним сразу возникает контакт, едва выясняется, что мадам — русская, а торговец бывал в России.

«— Русский? — вдруг, мне, китаец. — Москва? Ленинград? Харашо!

— Так вы и по-русски знаете? — я, бросив барышню, бросаюсь к китайцу, радостно.

---

<sup>1</sup> Славянскую душу (*фр.*).

— Москва была, Ленинград была. Харашо была! — тот, сияя всем своим родным уродством.

— Он знает Россию, — я, барышне, взволнованно. — Мы ведь соседи, это почти компатриот...»

Эта анекдотичная логика, по которой китаец оказывается почти соотечественником, вдруг подтверждается его жестом при прощании: подарком мальчику, сыну русской, — бескорыстным подарком, в знак «родства по России».

Но Цветаева видит здесь и другое родство и братство: она называет его братством «по уязвленной гордости». «Потому что каждому из нас любой, пусть пьяный, пусть пятилетний, может в любую минуту крикнуть «метек»; а мы этого ему крикнуть — не можем. Потому что, на какой бы точке карты, кроме как на любой — нашей родины, мы бы ни стояли, мы на этой точке — будь она целыми прериями — непрочны: пога непрочна, земля непрочна... Потому что малейшая искра — и на нас гнев обрушится, гнев, который всегда в запасе у народа, законный гнев обиды с неизменно и вопиюще-неправедными разрядами. Потому что каждый из нас, пусть смутьян, пусть волк, — здесь — неизменно ягненок из крыловской басни, заведомо виноватый в мутности ручья. Потому что из лодочки, из которой, в бурю, непременно нужно кого-нибудь выкинуть, — непременно, не повинно и в конце концов законно, будем выкинуты — мы...»

Ностальгии по «русским березкам» Цветаева не испытывает. Но чувство отторгаемого «чужака», который острейшим образом ощущает и собственную неспособность раствориться в не-своей культуре, — это она знает. И не хочет самообманов.

За тридцать с лишним лет, которые ей придется прожить во Франции, она так и не приживется в этой стране, некогда столь горячо ею любимой — в давние юные годы...

В «Китайце» слышна и живая тревога, разбуженная событиями, разыгравшимися во французской столице в первые месяцы этого года. Врожденная ксенофобия французов подогревалась теперь двумя реальными обстоятельствами: трудностями экономической ситуации (кризис едва начал сдавать свои позиции) и свежим притоком новых беженцев — уже не из России, а из фашистской Германии.

— Убирайся в свою страну! Грязный иностранец! — эти возгласы легко возникали теперь при малейшем уличном конфликте. И долгим эхом отдавались в ушах русских, рождая чувство безысходности и непроглядного тупика.

На короткий период в бурные февральские дни показалось, что напряженная враждебность может сгладиться на почве общих испытаний. Когда рабочие Парижа объявили всеобщую забастовку, русские в нее включились — несмотря на всю сложность своего положения. «Иллюстрированная Россия» с удовлетворением рассказывала, например, о сближении русских таксистов со своими французскими коллегами. Они вместе вырабатывали требования, общими усилиями организовывали оптовые закупки продуктов для семей — казалось, это рождало общее чувство братства. Увы! То были лишь недолгие эпизоды единения. «Мы в лучшем случае все — бедные родственники за богатым столом, которым кусок хлеба становится поперек горла, а в худшем —

непрощенные едоки там, где и своего не хватает», — писал тот же русский еженедельник.

Неприкрытая враждебность на уровне простого обывателя соединялась с поистине ледяным равнодушием к положению русских эмигрантов среди культурных слоев французского общества. Правда, на рубеже 20-х и 30-х годов тут наметилось было некоторое сближение. Цветаева несколько раз присутствовала на собраниях Русско-французской студии, проходивших в помещении издательства «Юманите Компорен». Замысел был отличный. Состоялись вечера, посвященные творчеству Толстого, Достоевского, Пруста, Андре Жида, Поля Валери. С французской стороны участвовали Андре Моруа, Жорж Бернанос, Поль Валери, Гариэль Марсель, Жак Маритэн. Цветаева отлично, темпераментно, ярко выступила на «прустовском» вечере — то была всего лишь обстоятельная реплика, возражение докладчику — Борису Вышеславцеву, но именно такие резкие и точные реплики всегда ей блестяще удавались. Впрочем, «встречи» в студии довольно скоро прекратились, распавшись на самостоятельные личные связи. Некоторые образовались и у Цветаевой.

Чтобы упрочить связи, нужно было жить в Париже, а не в предместьях. И нужен был другой склад характера. В больших собраниях Марина Ивановна обычно держалась замкнуто и напряженно, иным это казалось надменностью, — а это не слишком располагало к сближению...

Французские контакты ее еще предстоит изучить. Но известно, что в некоторых «литературных домах» Парижа Марина Ивановна бывала. Возможно, посещала вместе с Извольской «воскре-



сенья» супругов Бассиано в Версале, устраивавшиеся для сотрудников журнала «Коммерс». И чаще всего разочаровывалась. «Скучно с французами! — читаем в ее письме, написанном в 1930 году Саломее Гальперн. — А может быть, с литературными французами... Разговоры о Бальзаке, о Прусте, о Флобере. Все знают, все понимают и ничего не могут (последний смогший и изнемогший — Пруст)». Еще более горько о том же — в письме к Тесковой: «Париж мне душевно ничего не дал. Знаете, как здесь общаются? Гостиные, много народу, частные разговоры с соседом — всегда случайным, иногда увлекательная беседа и — прощай навсегда. Так у меня было много раз, потом перестала ходить (пишу о французах). Чувство, что всякий все знает и понимает, но занят целиком собой, в литературном кругу (о котором пишу) — своей очередной книгой. Чувство, что для <нрзб.> тебя места нет. Так я недавно целый вечер пробеседовала с Alain Jerbault, знаменитым одиноким путешественником (*A la poursuite du soleil*)<sup>1</sup> И — что же? Да то, что самая увлекательная, самая как будто — душевная беседа француза ни к чему не обязывает. Безответственно и беспоследственно. Так, как говорит со мной, говорит с любим, я только подставное лицо, до которого ему никакого дела нет. Французу дело до себя. Это у них называется искусством общения...»

Ощущение неслиянности с французами у большинства русских эмигрантов с годами только возрастало. Среди анекдотов, пущенных Дон-Аминадом со страниц «Последних новостей», был в ходу не чересчур веселый: «Французский взгляд на ве-

<sup>1</sup> Ален Жербо, автор книги «Вслед за солнцем».

щи: «Этот человек так опустился, что у него нет даже сберегательной книжки!» Русский взгляд на вещи: «Как опустился этот человек! Он завел себе сберегательную книжку!..»

Несмотря на неудачу с публикацией поэмы «Молодец», в сущности заново созданной на французском языке, Цветаева еще будет продолжать попытки выйти к французскому читателю. Она пишет на французском «Письмо к амазонке» и несколько автобиографических миниатюр в прозе: «Шарлоттенбург», «Мундир», «Приют», «Машинка для стрижки газона», — но ни одно из этих произведений опубликовать ей так и не удастся.

## 4

В конце июля семья разъехалась в разные стороны. Двадцатидвухлетняя Ариадна отправилась на три месяца на побережье океана с семьей немецких эмигрантов: ее пригласили на «полный кошт» за уроки французского языка. Сергея Яковлевича позвали к себе в гости друзья, жившие в знакомой уже ему горной Савойе. А Марине Ивановне удалось найти славный домик в десяти верстах от Версаля, в живописном уголке Эланкур, напомнившем ей чешские пейзажи. С удовольствием она сообщала Тесковой: «Настоящая деревня — редкому дому меньше 200 лет и возле каждого — прудок с утками...» Здесь много простора, а в перелесках — масса грибов. Французы ничего в них не понимают, считают сплошь ядовитыми, и это замечательно: обеденные проблемы тем самым облегчены наполовину.

Вырываясь из городской обстановки, Цветаева

воскресала; с природой, с лесом, просторами, горами у нее была какая-то сокровенная связь. Среди них она распрямлялась, высвобождалась, обретала новое дыхание. Весь сонм забот, бед, огорчений, от которых в городе некуда было спрятаться, отступал — и даже исчезал, проваливался куда-то в небытие. То было ее счастливое свойство, сохраненное со времен юности. Тогда оно могло казаться легкомыслием, но вернее назвать это иначе: целительный эгоизм души, жаждущей обновления, почти совсем уже задохнувшейся и наконец-то глотающей чистый воздух свободы.

В Эланкуре мать и сын могли всласть нагуляться, не спеша наговориться и начитаться. Цветаева в пятый раз с наслаждением перечитывает «Кристин, дочь Лавранса». В ее глазах Кристин — высший образец «женской мужественности», сочетание сердечного богатства с великой силой духа, негибимой стойкости с суровым пониманием человеческого долга. «Я там все узнаю», — писала Марина Ивановна Тесковой об этой книге. А Мур привез с собой два огромных тома: Мишле и Тьера — о Великой Французской революции. Сам их высмотрел и выторговал у старьевщика, отдав по крохам собранные сбережения.

Ему пошел уже десятый год. Нрава он был буйного, темперамента самоутверждающегося, способностей блестящих — так характеризовал сына Эфрон в письмах этого года. Прошлой осенью Мур начал ходить в школу. Марина Ивановна мечтала отдать его в русскую гимназию — туда же, где учились дети Леонида Андреева, но для этого нужно было переезжать в другое предместье, Булонь, а квартиры там были недешевы. И все

сорвалось. Мура отдали в частную французскую школу в Кламаре.

Можно было устроить мальчика и в бесплатную коммунальную школу. Но Цветаева не захотела. И если прежде, в Чехии, окружение осуждало ее за то, что дочь Аля всего год посещала гимназию, теперь хор ближних и особенно дальних знакомых дружно сходилась во мнении, что при цветаевском безденежье благоразумнее было бы удовольствоваться школой коммунальной. Отголоски осуждающей молвы доходили, конечно, и до Марины Ивановны, и в ее ушах они звучали уже жестковатым упреком в неоправданной расточительности. Упреком, тем более болезненным, что Цветаева получала в конце 20-х и начале 30-х годов довольно регулярную денежную помощь друзей и мобилизованных ими доброхотов. Саломея Андроникова-Гальперн, Елена Извольская и Марк Слоним были главными организаторами-попечителями этого сбора, совсем не легкого в годы экономического кризиса. Посылала свои



Георгий (Мур) — школьник

маленькие подарки, а то и просто денежные переводы из Чехии и Тескова — при своих совсем скромных доходах. (Чешское «пособие», десять лет подряд существенно выручавшее семью, уже прекратилось.)

И все-таки Цветаева считала себя вправе сделать такой выбор. Вере Буниной она писала позже: «Почему не в коммунальной? — Потому, что мой отец на свой счет посылал студентов за границу, и за стольких платил, и, умирая, оставил из своих кровных денег 20 000 рублей на школу в его родном селе в Талицах Шуйского уезда, — и я вправе учить Мура в хорошей (хотя бы тем, что в классе не 40 человек, а 15!) школе. Т. е. вправе за него платить из своего кармана, а когда пуст, — просить...»

Школа не оправдала ожиданий. Даже российские гимназии, о которых Марина Ивановна всегда писала с отвращением («звонки, зевки — на столько лет!»), теперь представляются ей райскими. Во французских все обучение сведено к зубрежке, выучиванию наизусть — отрывками, кусками — всего: от таблицы умножения до Священной истории. С ностальгией вспоминает она теперь русских учителей с их обычным: «расскажите *своими словами...*» «У нас могли быть плохие учителя, — пишет Цветаева Буниной, — у нас не было плохих методов. Растят кретинов, т. е. «общее место» — всего: родины, религии, науки, литературы. Всё — готовое: глотай. Или — плюй».

— Так коротко рассказывать, как Бог создал мир, — жаловался матери восьмилетней Мур, — по-моему, непочтительно: выходит — не только не

six jours, a six secondes<sup>1</sup> Французы, мама, даже когда верят, настоящие безбожники!

Но дети Цветаевой главную школу проходили дома, а не в учебных заведениях. Всего год обучавшаяся в гимназии Ариадна Сергеевна Эфрон выросла человеком широкой разносторонней культуры — мне пришлось не раз с ней встречаться и подолгу разговаривать. Правда, она считала, что знания ее бессистемны, обрывочны, — но этот грех разве что ей самой был замечен. И что прежде всего поражало при встрече с ней — это ее речь, замечательная по богатству, образности, насыщенности литературными ассоциациями и реминисценциями. Увы, она решительно отказывалась от даже короткой записи на магнитофон. Впрочем, в ее письмах и в ее незаконченных воспоминаниях сохранились следы этой удивительной одаренности, взлелеянной домашним воспитанием.

В один из августовских дней в Эланкур приехала на несколько дней погостить Анна Ильинична Андреева. Деятельная, энергичная, властная



А. И. Андреева  
(публикуется впервые)

<sup>1</sup> Не шесть дней, а шесть секунд (фр.).

вдова Леонида Андреева не просто сердечно любила Цветаеву, но и искренне восхищалась ею как поэтом и личностью. Они сблизились в чешских Вшенорах, за несколько месяцев до совместного переезда в Париж. Потом дела, хлопоты, неустойства развели их в разные стороны, но дружба сохранилась, а с переездом Марины Ивановны в Кламар заново упрочилась. Теперь они жили совсем рядом и при каждом удобном случае встречались. Несмотря на всю занятость и обремененность большой семьей, Андреева не раз выручала свою приятельницу, перепечатывая ее стихи и прозу на пишущей машинке.

Дом, где жила семья Андреевых, имел плоскую крышу, обнесенную балюстрадой. Эксцентричная Анна Ильинична («вся из неожиданностей», писала о ней Цветаева), с разрешения хозяина, устроила под открытым небом свою личную резиденцию, обзавелась картой звездного неба и в теплые летние ночи оставалась на крыше до утра, не разрешая нарушать свое уединение даже подросткам. Но Цветаева была здесь желанной гостьей. И легко представить себе, каким оазисом посреди земных забот и будней были для них обеих протекавшие тут часы дружеских бесед. Вспоминались ли Марине Ивановне далекие безмятежные ночи на другой крыше — волошинского дома в Коктебеле, — тоже наполненные звездами, стихами, радостью сердечного общения?..

Теперь, в Эланкуре, они могли подолгу гулять, наслаждаясь тишиной и природой, напоминавшей и чешскую и русскую. Счастье долгих прогулок соперничало у Цветаевой даже с радостями творчества — недаром же создала она свою «Оду



С Муром. Клармар, 1934  
(?) г.

Фавьер, лето 1935 г.

пешему ходу». Счастье дороги, когда за каждым поворотом — подарок; и не просто глазу, а сердцу: дерево, ручей, облако, входящие «прямо в разверстую душу...».

Андреева же была не только отличный «ходок», но и замечательный собеседник. В недавно вышедшей книге «Эхо прошедшего» Вера Леонидовна Андреева писала об отношении ее матери к Цветаевой: «Она просто со всей страстностью и бескомпромиссностью своей натуры прильнула к ней, распознав, наконец, долгожданного друга и единомышленника. Вот с кем маме не нужно было сни-



жаться в мыслях и в разговоре до уровня собеседника. Вот с кем не надо было бояться, что не поймет, не оценит, когда, наоборот, она все понимает с намека, с полуслова, вот с кем можно было, окутавшись дымом сигарет, отделиться от земли, воспарить в какое-то высшее пространство».

В свою очередь, и Цветаева осталась навсегда благодарна судьбе, которая свела ее с человеком, ни на йоту не разочаровавшим ее за 14 лет дружбы. Андреева была умна и образована, но у Марины Ивановны в ее оценках людей была своя шкала ценностей. Больше всего другого она ценила в Анне Ильиничне то, что привыкла называть «природностью»: неподстриженное своенравие, неспособность подделываться под «принятое», пренебрежение тем, что «скажут». «Вся из неожиданностей», «пуще всех цыганок», — говорила о ней Цветаева. А самой Андреевой она написала в прощальном письме, уже перед отъездом в Россию: «Живописнее, увлекательнее, даровитее, неожиданнее и, в чем-то глубоком — НАСТОЯЩЕЕ человека я никогда не встречу»...

Душевная цветаевская щедрость известна — и по ее стихам, и по письмам. Но Анна Тескова далеко (с отъездом Цветаевой из Чехии они так никогда больше и не увиделись), с Ольгой Черновой, Еленой Извольской, Саломеей Андрониковой-Гальперн, Маргаритой Лебедевой — по разным обстоятельствам — встречи редки. Отдадим им должное: каждая из них — личность. В выборе приятельниц у Цветаевой прекрасный вкус, и женскими дружбами судьба ее не обделяет. Но именно потому, что все это были женщины независимого и деятельного склада, — они были друзья, а не под-

ружки. У каждой из них — свое дело в жизни и свои нелегкие обстоятельства, свой недосуг... Именно Андреева — и по масштабу, и по складу личности — была Марине Ивановне ближе других. Как жаль, что не сохранилась их переписка! Уезжая из Франции к сыну в Америку, Андреева взяла с собой свой архив, сохранилась лишь его часть, в которой писем Марины Ивановны — нет.



Е. А. Извольская  
(публикуется впервые)

Летом за городом Цветаева всегда сводила бытовые хлопоты к минимуму — и обретала, говоря ее словами, «долгое время», необходимое для творчества поэтического. Успех ее прозы не заглушал требовательного голоса главного призвания, она не могла примириться с «обреченностью на прозаическое слово». Тут было ее решительное расхождение с Ходасевичем, который в 30-е годы не только почти перестал писать стихи, но и утверждал при случае, что и вообще их писать уже не надо. В письме, отправленном поэту вскоре после их сердечной встречи в Клараме весной этого года, Цветаева решительно возражала: «Нет, *надо* писать стихи. Нельзя дать ни жизни, ни

Вишнякам, ни «бриджам», ни всем и так далеям — этого торжества: заставить поэта обойтись без стихов, сделать из поэта — прозаика, из прозаика — покойника. Вам (нам!) дано в руки что-то, чего мы не вправе ни выронить, ни переложить в другие руки (которых — нет). <...> Не отрешайтесь, не отрекайтесь, вспомните Ахматову:

А если я умру, но кто же  
Мои стихи напишет Вам?..

не Вам и даже не всем, а просто: *кто — мои стихи...*

Никто. Никогда. Это неозвратно...»

В Эланкуре Цветаева завершила цикл «Куст» — превосходный образец ее лирики 30-х годов. Это, по существу, еще одна ода, присоединившаяся по своему духу и пафосу к «Оде пешему ходу», написанной чуть ранее. Ода таинственной связи человека и природы, ода целительной тишине, до краев наполненной богатством, «Куст» поэтически воплотил чувство, которое можно назвать чувством медиума, обращенного слухом, зрением, а главное — сердцем к целостному бытию, универсуму. Нечто близкое уже звучало в цветаевском цикле «Час души», 1923 года. Но теперь тема обнаружила новый поворот: *не только для нас* животворна и очищающая связь с тишиной и прелестью цветущего куста, но и кусту, и природе, и универсуму необходимы наше участие, наш отклик, наша помощь...

Со второй половины 20-х годов Цветаева пишет несравненно меньше лирических стихов, чем в свои молодые годы. Тогда лирика, казалось, изливалась из нее неиссякаемым потоком. Но в середине 20-х

в ее поэтическом творчестве преобладает крупный жанр. С энергией, не уступавшей предшествующему периоду, она писала поэмы и драмы в стихах. Все началось с «Крысолова». Работа над поэмой растянулась на весь 1925 год. Сочетать лирику с крупным жанром Марина Ивановна не умела: либо — либо. И получилось, что «Крысолов» как-то замкнул в ней стихи. Позже она пробовала объяснить себе и другим, почему большие вещи влекут ее сильнее, чем прежде. В письме к Петру Сувчинскому (4 сентября 1926 года) приведена как основная причина психологического порядка. Цветаева утверждает, что каждое стихотворение для нее — катастрофа: взрыв, обвал, пожар. Катастрофа — и саморастрата: не успеешь войти в созданный мир, как уже пора его покидать. «Из лирического стихотворения я выхожу разбитой», — писала она Сувчинскому. Иначе в крупном жанре: «В большую вещь вживаешься, вторая жизнь, длительная, постепенная, ото дня ко дню крепчающая и весчающая. Одна здесь — жизнь, другая там (в тетради). И посмотрим еще, какая сильнее!»

Итак, выбор крупного жанра продиктован стремлением глубже уйти в тот веский пласт бытия, который открыт художнику в часы творчества. Иногда Цветаева называет его «третьим царством» (ибо есть царство небесное и царство земное), иногда «княжеством слов». Там она дома, там — «правит бал», там чувствует себя полновластно и уверенно, как птица в полете. Внешне это похоже на самооборону от внешнего мира. И пожалуй, это самооборона. Но только та, которая помогает приблизиться к сердцевине бытия, а не уводит от нее. «Царство слов» — не игра в слова.

Это княжество смысловое, возможность осмыслить череду дней, встреч, чувств, явлений.

Вот почему трудно согласиться с теми зарубежными исследователями творчества Цветаевой, которые говорят об иссыхании ее лирики в 30-е годы как о творческом кризисе. Кризис — свидетельство непреодоленного конфликта внутренних сил, у Цветаевой же дело было, главным образом, в обстоятельствах внешнего порядка.

Ее стихи 30-х годов подтверждают суждение Ходасевича о неостановимом развитии как характернейшей черте цветаевского таланта. Они являют нам поэта, далеко ушедшего от своей стилистической манеры не только 10-х годов, но и начала 20-х. Уже в лирике чешских лет Цветаева была неузнаваемо иной, чем прежде, — перемены в ее поэтике сопутствовали переменам, происходившим в ее мироощущении. Щедрая и легкая отзывчивость на жизненные впечатления, присущая ее молодой поэзии, исчезла. Цветаева стала несравненно строже к самому отбору «поводов» для лирического воплощения. Появился безусловный критерий в этом отборе: оплаченность воплощаемого переживания кровью сердца. Молодая Цветаева еще не была так строга. Безоглядность, с которой она тогда отдавалась — во всяком случае в своей лирике — сердечным бурям, едва позволяла ей выплыть, не захлебнувшись, «на парусах своих стихов». Но когда волна так сильна, пловцу не до океана, не до вечного неба над головой и не до бескрайних далей.

Цветаевская экзатичность никуда не исчезла. Однако новые ориентиры, появившиеся в духовном мире поэта, не могли не отразиться на ха-

рактуре его творчества. И в лирике чешских лет мощно зазвучала трагедийная тема человека, удушаемого современной цивилизацией, ни во что не ставящей ценность личности и ее духовно-эмоциональные богатства. В противовес этому нажиму времени Цветаева в начале 20-х годов идет по пути открытия новых просторов «внутренней вселенной» человека, скрытой от глаз «деловитого» прагматика. К концу 20-х на ее лирике явно сказывается и опыт работы над такими поэмами-размышлениями, как «Новогоднее» и «Поэма воздуха». Тональность стихов в очередной раз меняется, исчезают (уходят в подпочву) одни краски, появляются другие. Жаркая эмоциональная насыщенность стиха уступает место не менее жаркой насыщенной мысли. Именно «жаркой», потому что в истоке цветаевской философской лирики всегда сердечный толчок, а не холодное наблюдение. Философский заряд рождается как бы непредусмотренно, на стыке горячего чувства — и масштабы, с какой поэт смотрит теперь на мир. У сиюминутного, еще кровотокающего переживания обнаруживаются корни, уходящие в «прабытие», в «основу мира», а сквозь частный случай начинает просвечивать «порядок вещей»...

Под Версалем написано еще одно замечательное стихотворение — «Уединение»; уже по возвращении из Эланкура закончен «Сад», декабрем помечена «Тоска по родине». Перечитывая эти стихи, замечаешь, в частности, что Цветаева достигает в них своего уровня «неслыханной простоты», о которой писал Пастернак. При всей плотности поэтического слова, многослойности и смысловой насыщенности каждого образа эти стихи почти

прозрачные. В особенности если их сравнивать с лирикой чешских лет, где немало «темных» стихов, с трудом поддающихся расшифровке. Не теряя глубины, цветаевская поэзия 30-х годов ушла от чрезмерной герметичности, как бы освоившись за десятилетие в круге тем, появившихся тогда впервые. Эта новая «простота» — свидетельство зрелости миросозерцания, упрямо обращенного теперь к бытийной стороне человеческого существования.

Но есть и другая черта, объединяющая стихи, созданные в этом году: буквально в каждом из них мы слышим ноты глубочайшего трагизма, граничащего с отчаянием последней покинутости. Так что кажется порой — только «пуповинная» связь с мощным бытием природы еще держит Цветаеву на краю жизни.

За этот ад,  
За этот бред  
Пошли мне сад  
На старость лет.

На старость лет,  
На старость бед;  
Рабочих — лет,  
Горбатых — лет...

Кажется, невозможно представить себе, что это та же Марина, которая всего 15 лет назад писала стихи, искрящиеся озорством, буйством нерастраченных сил, неумной жизненностью: «Кто создан из камня, кто создан из глины, А я — серебрюсь и сверкаю! Мне дело — измена, мне имя — Марина, Я — бренная пена морская!..»

## 5

Осенью 1934 года семья Цветаевой живет уже в Ванве, третьем (и последнем) парижском предместье, связанном с ее именем. Это недалеко от Кламара, и дом здесь старый, что Марине Ивановне всегда очень нравится, хотя уже осенью придется стучать зубами от холода («как челюскинцы и их собаки», — сообщает она с юмором своей приятельнице). И все же она довольна тем, что уехала от «скучного нового Кламара», довольна, что их дом стоит «на чудной каштановой улице» (рю Жан Батист Потэн, 65). «У меня чудная большая комната с двумя окнами и, в одном из них, огромным каштаном, сейчас желтым, как вечное солнце. Это — моя главная радость».

Чувство душевной освобожденности с концом лета сразу исчезало, вытесненное очередными хлопотами и тревогами. Едва начинались городские будни, Цветаева снова попадала в их беспощадное силовое поле...

В октябре подходит время очередного «терма», ежеквартальной квартирной платы. Само звучание слова вызывало у Цветаевой мрачные фантазии («какое жуткое слово «терм», какое дантовское слово: если бы я была римским поэтом, я бы написала о нем стихи...»). Хозяева категорически отказывались принимать деньги в рассрочку, внести надо было всю сумму сразу. Но денег в доме нет, и Цветаева обращается в редакцию газеты «Последние новости» с просьбой об авансе за очерк «Китаец». Он отдан на чтение три месяца назад и должен, как ее не раз уверяли, вот-вот появиться на страницах газеты.



В редакции «Последних новостей», где была еженедельная четверговая «литературная страница», Марину Ивановну любили те, от кого совершенно не зависела судьба ее рукописей. Зато явно недолюбливал главный редактор — Павел Николаевич Милюков, высказавшийся однажды (с некоторым, впрочем, недоумением), что если уж он, преподававший в двух университетах, новой цветаевской поэзии не понимает, то, может быть, это плохая поэзия? Или не поэзия вовсе?.. И в 30-е годы Цветаева уже не предлагает в газету стихов. Но и проза ее проходит здесь нелегко. Почти всегда приходится по несколько месяцев ждать — даже не публикации, а определенного ответа: принята ли рукопись? Между тем «подвал» в «Последних новостях» оплачивался хорошо, каждый раз то была незаменимая подмога ко дням разорительных квартирных платежей. И вот теперь она дважды приезжает в редакцию за гонораром — и оба раза остается с пустыми руками. Сначала болел кассир. Потом он выздоравливает, но получает от И. П. Демидова, фактического распорядителя дел в редакции, строжайший запрет на выплату аванса. Наконец, выясняется, что рукопись все еще не прочитана Милюковым. А тем временем всюду, где только удалось, Цветаева уже одолжила для «терма» деньги, уверенно обещая, что вернет не сегодня завтра...

Письмо к Вере Буниной, повествующее об этом эпизоде, полно отчаяния. При отчужденных отношениях с самим Буниным Марина Ивановна вынуждена пересилить себя: «Не вступился ли бы за меня Иван Алексеевич, разъяснив Демидову, что я все-таки заслуживаю одного термового фельетона



И. А. Бунин с женой Верой Николаевной

(хорошо бы двух!). Что так делать — грех. Что нельзя, без объяснения причин, от чистейшей подлости обречь настоящего писателя — на нищенство и попрошайничество (да никто уже и не дает!). Либо, если И. А. так — неудобно, пусть бы запросил Демидова, почему меня никогда не печатают, — что у меня все же есть читатель, что я, наконец, стою чего-то...»

«Никогда не печатают» — это сказано от горечи; время от времени ее в «Последних новостях» печатали. Но скольких других, имена которых навеки ушли в Лету, публиковали на страницах литературного «четверга» не в пример и чаще и щедрее!

Бунин, видимо, вмешался. «Китаец» вскоре был опубликован, деньги выплачены, долги розданы. Но сходные ситуации возникали не раз и не два. За несколько месяцев до упомянутого инцидента Цветаева прямо на глазах сотрудников той же редакции не смогла удержаться от вдруг хлынувших слез — и только тогда получила в руки собственный гонорар.

Легко представить себе, каково было снова и снова гордой Марине Ивановне переживать унижение, из последних сил укрощая независимый и строптивый нрав, чтобы не сорваться и не высказать всего, что накопилось, в лицо своим мучителям. «У меня уже сердце кипит, — писала она Буниной, — и боюсь, что кончится пощечиной полной правды — т. е. разрывом».

Так оно и случилось в начале следующего, 1935 года. Не выдержав четырехмесячного переключивания с недели на неделю статьи о погибшем поэте Николае Гронском, превосходно понимая, к чему приведет «пощечина полной правды», Цветаева все-таки написала резкое письмо Демидову — и ее отношения с редакцией газеты на этом закончились уже навсегда. Последней публикацией в «Последних новостях» оказалась проза «Сказка матери», искаженная до неузнаваемости. «Сокращено в сорока местах, — сообщала Цветаева Тесковой 18 февраля 35-го года, — из которых — в 25-ти — среди фразы. Просто — изъяты эпитеты, придаточные предложения и т. д. Без спросу. Даже — с запретом, ибо я сократить рукопись — отказалась... И вдруг — без меня. Я, читая, плакала...»

С высоты времен кажется поразительной эта

хладнокровная редакторская расправа с текстом профессионального писателя, проза которого только что — года не прошло! — получила восхищенный отклик не только в парижских, но и в самых отдаленных уголках русского зарубежья. В сущности, первая половина 1934 года по праву могла считаться триумфальной для Марины Цветаевой — публикации шли одна за другой, и какие! В трех номерах подряд «Современных записок» — проза: «Живое о живом», «Дом у Старого Пимена», «Пленный дух»; в журнале «Встречи» проза — «Открытие музея» и «Хлыстовки» плюс поэтические циклы — «Стол» и «Jci — haut»; в очередном сборнике «Числа» — статья «Два лесных царя». Масштаб цветаевского таланта был, во всяком случае, уже неоспорим... но не для бронезащитной природы главных редакторов. Их равнодушие пересиливала временами разве что опаска перед самой Мариной Ивановной. Цветаевский независимый нрав, колючий холод, который она ощутимо источала, если ей приходилось вступать в прямой контакт с литературными вельможами, да еще беспощадно острый язычок, не останавливавшийся ни перед какими авторитетами, — все это было уже хорошо известно в «русском Париже».

Характерен эпизод 1930 года, когда редактор «Чисел» Н. Оцуп задумал отпечатать несколько экземпляров сборника специально для продажи богатым библиоманам. Цена за экземпляр была назначена внушительная — по тысяче франков каждый; выручку обеспечивали наклейки с автографами крупнейших литераторов. С этим-то планом Оцуп и обратился к Цветаевой: не пришлет ли она

автограф какого-нибудь стихотворения в пяти экземплярах? Марине Ивановне затея не понравилась: участие самих авторов в солидной выручке, которую должна была получить редакция «Чисел», не предполагалось — в каком бы бедственном положении они ни находились. «На продажу не дарю, либо уж дарю, либо продаю», — приготовилась она ответить. Но, поразмыслив, передумала. И решила отослать Оцупу стихотворение «Хвала богатым», полное едкой иронии по отношению к владельцам толстых кошельков. Саломее Гальперн она писала: «Убью на переписку целое утро (40 строк по пять раз — итого 200), хоть бы по франку за строку дали! Но и покушают же «богатые». <...> Пущу с собственноручной пометой: «ХВАЛА БОГАТЫМ» (предоставленная автором для нумерованного экземпляра Чисел — безвозмездно)». Мне нравится! Но м. б. — откажутся. Тогда пропали мои 200 строк и рабочее утро. Где наше не пропадало! Лист будет вклейкой. Кому не понравится — пусть выдерет».

Жаль, что нельзя установить — принял ли Оцуп, и без того более чем прохладно относившийся к Цветаевой, ее колкий подарок? Включил ли «Хвалу богатым» в тысячефранковый сборник?

На юбилейной фотографии сотрудников и авторов «Чисел», сделанной летом 1934 года в честь выхода десятого номера, Цветаевой мы не увидим — хотя в двух номерах из десяти были опубликованы и ее произведения. Вряд ли это случайно...

В «Современных записках», главном журнале русского зарубежья, в отделе поэзии имя Цветаевой не имеет ни малейшего преимущества

перед другими. Ее стихи, если и принимаются, то идут в общей подборке, слепым сплошняком, завершая строго алфавитную очередность поэтов: редакция очень заботится о том, чтобы никого не обидеть. «Мы хотим, чтобы на шести страницах было двенадцать поэтов», — пояснял Цветаевой позицию журнала один из пяти его редакторов В. В. Руднев — именно с ним Марине Ивановне всегда приходится иметь дело. Шесть страниц на поэзию из почти 500 всего журнала — и ни одной больше, хоть явись Державин или Блок с того света. И потому здесь не принимают не только поэм, но даже и поэтических циклов. Только одно стихотворение — и не в каждый, конечно, номер.

За цветаевскую поэзию пытался заступиться поэт Алексей Эйсер. Придя впервые к Марине Ивановне в гости и воочию увидев уровень ее житейского неблагополучия, он чуть ли не на следующий день помчался в «Современные записки», чтобы задать там гневный вопрос: «Как случилось, что стихи такого замечательного поэта почти не появляются в крупнейшем журнале русского зарубежья? Кого, как не Цветаеву, печатать? Почему в поэтическом отделе публикуют из номера в номер посредственные стихи, а то и просто рифмованные строчки, а одного из лучших поэтов обрекают на нищенство?»

— Вы совершенно правы, — отвечал Алексею Владимировичу Бунаков-Фондаминский, один из редакторов журнала. — Цветаева действительно несравненный поэт. Но что же делать, если эмигрантским барышням нравятся совсем другие стихи — попроще?..

«Пишите понятнее, Вас нелегко воспринимать,

ориентируйтесь на среднего читателя», — отечески советовал Цветаевой другой редактор. «Я не знаю, что такое средний читатель, — парировала Марина Ивановна, — никогда его не видела, а вот среднего редактора я вижу перед собой...»

Цветаевскую «Оду пешему ходу», уже набранную, ей возвращают: «Читатель не поймет...» «Стихов моих, забывая, что я — поэт, нигде не берут, никто не берет — ни строчки. «Нигде» и «никто» называются Последние новости и Современные записки — больше мест нет, — пишет Цветаева Анне Тесковой. — Предлог — непонимание меня, поэта, — читателем, на самом же деле: редактором, а именно: в последних Новостях — Милюковым, в современных записках — Рудневым, по профессии — врачом, по призванию — политиком, по недоразумению — редактором (NB! литературного отдела). Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно...»

Как всякий стандартный редактор, Руднев постоянно чего-нибудь да боится: что обидится другой поэт, не попавший в подборку, что «новые стихи» трудно понять, что в цветаевской прозе читателю будут скучны, например, подробности о матери Волошина («Живое о живом»). Что фигура историка Иловайского недостаточно крупна («Дом у Старого Пимена»), что богобоязненного читателя оскорбит концовка цветаевского «Черта», что на «Пленный дух» обидится Любовь Дмитриевна Блок...

Цветаевой приходится выслушивать советы и соображения Руднева, о чем и о ком ей лучше писать, терпеливо пояснять ему правомерность своих стиливых особенностей. И всякий раз скру-

пулезно подсчитывать количество печатных знаков. Готовая рукопись почти никогда не совпадает с заранее выделенным редакцией объемом, и приходится сражаться со страстью редактора выбрасывать «лишнее». Естественно, что понятия «лишнего» у Руднева и Цветаевой расходятся. И когда рукопись в очередной раз превышает на несколько страничек заданный объем — тяжелых объяснений не избежать. Марина Ивановна предлагает не оплачивать ей «лишних» страниц, пытается растолковать, что тот или иной эпизод — не прихоть памяти, что он «работает» на характеристику главного образа, что рукопись «уже сокращена, и силой большей, чем редакторская: силой внутренней необходимости, художественного чутья».

Литературно воспитать своих редакторов ей, конечно, не удастся. И если Руднев временами все же отступает, то, скорее, из некоторого страха перед цветаевским напором. Но самой Цветаевой этот напор, эта необходимость постоянно отстаивать и обороняться — с трудом соблюдая меру между вежливостью и твердой настойчивостью, — обходятся не в пример дороже. Всякий раз ей надо перебороть прежде всего себя. Ибо единственное, чего ей в этих случаях хочется, — забрать обратно из редакции рукопись. «Я не могу писать так, как нравится Рудневу или Милюкову! Они мне сами *не нравятся!*» — вырывается в одном из цветаевских писем. Но выбора нет: нет других «площадок» для публикаций, нет ренты, нет мецената или просто хорошо зарабатывающего мужа. Есть только неумолимые сроки платежей — за квартиру, за гимназию сына...



Одно из наиболее резких писем к Рудневу относится ко времени, когда шла корректура «Дома у Старого Пимена», то есть к декабрю 1933 года: «...Я слишком долго, страстно и подробно работала над Старым Пименом, чтобы идти на какие бы то ни было сокращения. Проза поэта — другая работа, чем проза прозаика, в ней единица усилий (усердия) — не фраза, а слово, и даже часто — слог. Это вам подтвердят мои черновики, и это Вам подтвердит каждый поэт. И каждый серьезный критик: Ходасевич, например, если Вы ему верите.

Не могу разбивать художественного и живого единства, как не могла бы, из внешних соображений, приписать по окончании ни одной лишней строки. Пусть лучше лежит до другого, более счастливого случая либо идет — в посмертное, т. е. в наследство тому же Муру (он будет **БОГАТ ВСЕЙ МОЕЙ НИЩЕТОЙ И СВОБОДЕН ВСЕЙ МОЕЙ НЕВОЛЕЙ**) — итак, пусть идет в наследство моему богатому наследнику, как добрая половина написанного мною в эмиграции, в лице ее редакторов не понадобившегося, хотя все время и плачутся, что нет хорошей прозы и стихов.

За эти годы я объелась и опилась горечью. Печатаюсь я с 1910 г. (моя первая книга имеется в Тургеневской библиотеке), а ныне — 1933 г., и меня все еще здесь считают либо начинающим, либо любителем — каким-то гастролером. <...>

Не в моих нравах говорить о своих правах и преимуществах, как не в моих нравах переводить их на монету; зная своей работе цену — цены никогда не набавляла, всегда брала что дают, — и если я нынче, впервые за всю жизнь, об этих своих правах и преимуществах заявляю, то только

потому, что дело идет о существовании моей работы и о дальнейших ее возможностях.

Вот мой ответ по существу и раз-навсегда».

«Объелась и опилась горечью...» Она могла бы это повторить и через год, и через три.

В «русском Париже» регулярно устраиваются в пользу бедствующих писателей то «подписные обеды», то благотворительные балы и даже благотворительные бриджи. Но всегда нужно напоминать о себе, писать прошения и заявления. А между тем отношения с дамами-патронессами, стоявшими на распределительных постах благотворительности, у Марины Ивановны — самые неприязненные. Накопляющаяся год от году душевная усталость заставляет ее подозревать этих дам в чувствах даже более активных, чем просто неприязнь, — и поэтому временами случается, что взрыв очередного цветаевского негодования выстреливает и вовсе не по адресу...

Она устала.

Послушаем голос Дон-Аминадо — поэта и прозаика, все более решительно уходившего в 30-е годы от веселого юмора в самый горчайший сарказм. Это ему несколько лет спустя Цветаева напишет замечательное письмо, чтобы сказать, как радуется его таланту, как высоко его оценивает — может быть, гораздо больше и серьезнее даже, чем сам его обладатель. Итак, вот всего абзац «прозаического» Дон-Аминадо, смеющегося Дон-Аминадо 30-х годов: «Страшно подумать, из чего состоит наша вечная борьба за существование, трепка нервов и биография! Какие влажные, липкие и полупреступные рукижимаем мы с утра до вечера, и с

каким лицемерным усердием! В какие равнодушные и жестокие глаза глядим без веры и без надежды. И с какой нечеловеческой усталостью возвращаемся мы домой, в это грустное царство недействующих выключателей, продавленных диванов, расстроенных нервов, провалившихся на экзаменах детей и сбежавших алюминиевых чайников, которым тоже ведь надоело это вечное клокотание и кипячение без смысла и цели!» Тому же автору принадлежит афоризм: «Что есть лицо эмигранта? Лицо эмигранта есть посмертная маска, снятая еще при жизни».

В деловых письмах Цветаевой теперь все чаще встречаются резкие, жесткие интонации и хлещущие, как пощечина, формулировки. Впрочем, ведь не только в письмах — и в стихах:

Квиты: вами я объедена,  
Мною — живописаны.  
Вас положат — на обеденный,  
А меня — на письменный.

.....  
В головах — свечами смертными —  
Спаржа толстоногая.  
Полосатая десертная  
Скатерть вам — дорогою!

.....  
А чтоб скатертью не тратиться —  
В яму, место низкое,  
Вытряхнут вас всех со скатерти:  
С крошками, с огрызками.

Каплуном-то вместо голубя  
— Порх! — душа — при вскрытии.  
А меня положат — голую:  
Два крыла прикрытием.

Она устала от унижений, от вынужденных отношений с людьми, с которыми не хочется говорить даже о погоде, устала от вечного осуждающего шепота, шелестящего вокруг нее. Осуждение ближних и уж особенно дальних сопровождает ее везде — да и как может она нравиться тем, кто твердо, с рождения знает, как надо и как не надо? Ее осуждают за колючий неуступчивый характер, за «чрезмерную» любовь к сыну, за «слишком личную» тональность прозы, за мужа с его открыто «просоветскими» взглядами. При всей ее независимости она устала от этого постоянного сопровождающего ее жужжания. Настолько, что в одном из писем этой осени просит Тескову издать рассудить ее с обвинителями в одном из вспыхнувших конфликтов. А это уже совсем на нее не похоже. Она нуждается в поддержке, опоре, ободрении — так неодолимо подступает к ней временами последнее отчаяние...

## 6

Тяжкий упадок духа, чувство депрессии переживает в середине 30-х годов не только Цветаева. Ходасевич-критик пишет о растерянности, усталости, анемичности, отразившейся в творчестве даже совсем молодых поэтов-эмигрантов; философ Федотов — о «чувстве, близком к удушению», испытываемом посреди культурной пустоты, которая окружает русского человека на чужбине; Ремизов признается, что эмигрантское существование он ощущает как бессрочную и бессмысленную каторгу. К 1934 году относятся слова Рахманинова (в его интервью Камерону): «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись Родины,

я потерял самого себя...» Бунин отказывается от покупки виллы на юге Франции, в Грассе, где он живет много лет, хотя присуждение ему осенью 1933 года Нобелевской премии сделало такую покупку вполне возможной. Его удерживает единственная мысль: неужели так и не будет — России? Неужели здесь обосновываться навсегда?..

Один из парижских русских журналов напомнил этим летом читателю изречение Паскаля: «Человек живет вместе, умирает же всегда один». Напомнил, чтобы сопроводить грустной сентенцией: «Но в эмиграции очень многие познают это смертное одиночество задолго до смерти... Наиболее могучие человеческие связи и узы — узы родины, семьи, быта — разорваны или ослабели до полного почти исчезновения...»

Десятого октября в Марселе совершено очередное политическое убийство, даже двойное: убит французский министр иностранных дел Барту и сербский король Александр, только что прибывший с визитом во Францию. Мотивы убийства неясны, убийцы не найдены, но среди русских снова ползет назойливый слухок, что и тут не обошлось без соотечественников, с той ли, с этой ли стороны границы: сербский король покровительствовал русским эмигрантам, а Барту выступал за сближение Франции и Советской России. Так или иначе — призрак Горгулова оживает вновь. Как и призрак ягненка, заведомо виноватого в мутности ручья...

Цветаева почти не читала газет, вряд ли отличала Даладье от Лавалля, тем более что правительственные кабинеты во Франции менялись в середине 30-х годов с калейдоскопической быстротой. Но она прекрасно улавливала грозное направ-

ление происходящих в мире перемен. Погромы, расстрелы, концлагеря в Германии; фашистские мятежи, прокатившиеся в 34-м году чуть ли не по всем странам Европейского континента; чернорубашечники в Италии, синерубашечники во Франции — все это заставляло ее почти физически ощущать запах агрессии, разраставшейся в мире.

Русское зарубежье добавило свой пай в котел человеконенавистничества: в апреле того же 34-го было подписано соглашение о создании «Все-российской фашистской организации» со штабом в Харбине. Этого факта Марина Ивановна скорее всего и не знала. Зато ее обостренное чутье отлично улавливало запах гнили в призывах, звучавших куда ближе. Она безошибочно распознавала яд в речах (и статьях), которыми даже люди, нравственно вполне здоровые, готовы были подчас обольститься. Ибо слова «Русь», «Россия», «русский мессианизм», повторявшиеся чуть не в каждом абзаце, мощно воздействовали на тех, кто истосковался по родной земле. В облатке, сильно подслащенной «патриотизмом», неискушенный читатель или слушатель готов был глотать, не замечая, ту же отраву расизма, на этот раз — русского. Сбивало с толку, что в эмигрантских журналах «Утверждения» или «Завтра» рядом со статьями, несшими в себе этот до поры до времени упрятанный опасный заряд, публиковались и безусловно светлые люди русского зарубежья, такие, как мать Мария, Бердяев или Бунаков-Фондаминский. Идеологи «Утверждений» горячо приветствовали тенденции «национал-большевизма», оформлявшиеся, по их мнению, в Москве. Сами себя они именовали «национал-максималистами». И

существовали еще «младороссы» («молодые люди, не доросшие до России», — саркастически шутил Дон-Аминадо).

Различия между ними были, и немалые, но Цветаева не желала в них вдаваться. Во всяком случае объединяться с «национал-максималистами» под одной обложкой — на это ее плюрализма (как мы сказали бы теперь) не хватало. Тут она была непримирима, от ее «аполитизма» не оставалось и следа. Юрию Иваску, ее эстонскому корреспонденту, она отвечала на его вопросы: «Я — с Утверждениями? Уж звали и слышали в ответ: там, где говорят: еврей, а подразумевают: жид — мне, собрату Генриха Гейне — не место. Больше скажу: то место меня — я на него еще и не встану — само не вместит: то место меня чует, как пороховой склад — спичку.

Что же касается младороссов — вот живая сценка. Доклад бывшего редактора и сотрудника Воли России (еврей) М. Слонима: Гитлер и Сталин. После доклада — явление младороссов в полном составе. Стоят, «скрестивши руки на груди». К концу прений продвигаюсь к выходу (живу за городом и связана поездом) — так что стою в самой гуще. Почтительный шепот: «Цветаева». Предлагают какую-то листовку, которой не разворачиваю. С эстрады Слоним: «Что же касается Гитлера и еврейства...» Один из младороссов (если не «столп», так столб) — на весь зал: «Понятно! Сам из жидов!» Я, четко и отдельно: «Хам-ло!» (Шепот: не понимают). Я: «Хам-ло!» — и, разорвав листовку пополам, иду к выходу. Несколько угрожающих жестов. Я: «Не поняли? Те, кто вместо еврей говорят жид и прерывают оратора, те —

хамы. (Пауза и, созерцательно:) «Хам-ло». Засим удаляюсь. (С каждым говорю на его языке)).

Сколько раз мы встретим в ее письмах ожесточенное отрешивание от «злости дня»! Каким презрением пронизано стихотворение «Читатели газет»! А вот о том же еще и в письме к Вере Буниной: «События, войны, Гитлеры, Эррио, Бальбо, Росси и как еще их зовут — вот что людей хватает по-настоящему заживо: ГАЗЕТА, которая меня от скуки валит замертво...» Эти признания совершенно искренни. Но к ним нужны непременно оговорки, как и вообще ко всяким признаниям, делаемым в письмах (ибо они всегда — расчет на *конкретного* адресата).

Цветаева не терпит политиков, не принимает современных политических жупелов, это правда. «Ни с теми, ни с этими, ни с третьими, ни с со-тymi, и не только с «политиками», а и с писателями — *не*, ни с кем, одна, всю жизнь, без книг, без читателей, без друзей — без круга, без среды, без всякой защиты, причастности, хуже, чем собака, а зато... А зато — *все*». Это сказано тоже в письме, тому же Иваску. И здесь тоже есть свои преувеличения и своя правда, во всяком случае — не рисовка, может быть, состояние минуты, несколько сгустившей краски. Но мы можем все-таки сказать, что она была — *с кем*. Нам легче — мы знаем больше, потому что живем позже. Она была, по крайней мере, с Ходасевичем и Замятиным во Франции, и она была в одном стане с Пастернаком и Ахматовой, с Булгаковым и Платоновым, с Мандельштамом и Зощенко в России. О тех, кто в России, она сейчас мало знает. Зато хорошо помнит давнего своего учителя и друга, которого уже



нет в живых. И утверждает при случае, что исповедует «гуманизм: максизм в политике». Термин она создает из имени Волошина. Это гуманизм, обрекающий на мужество одинокого поиска и постоянного усилия: различение мнимого и подлинного, кажущегося и реального не может быть передоверено никакому авторитету. Куда как проще примкнуть к одному из станов! Довериться — и плыть со всеми вместе, не зная муки ежечасного личного выбора и самостоятельных решений. «Максизм» давал нелегкую установку — установку неконформизма: смотреть прямо в лицо несправедливому миру, не отворачиваясь и не заслоняясь никакими доктринами, — и жить по высшим нравственным законам, не оглядываясь ни на какие сегодняшние или вчерашние авторитеты.

Двух станов не боец: судья, — истец, — заложник —  
Двух — противубоец. Дух — противубоец.

Так закончила Цветаева год спустя прекрасное трагедийное стихотворение, посвященное теме «ни с теми, ни с этими». В его раскаленных строфах — манифест свободного духа, знающего *свои ценности* и не отступающегося от них, даже если бы весь мир твердил иное:

...Вы с этой головы, настроенной — как лира:

На самый высший лад: лирический...

— Нет, стой!

Два строя: Домострой (— и Днепрострой — на  
выбор!)

Дивясь на ответ безумный: — Лиры — строй.

И с этой головы, с лба — серого гранита

Вы требовали: нас — люби! тѣх — ненавидь!

Не всё ли ей равно — с какого боку битой,

С какого профиля души — глушимой быть!

Как ни сложно было Цветаевой выбираться из дому, она посещала и евразийские доклады, и, как мы видели, вечер, посвященный теме «Гитлер и Сталин»; бывала на выступлениях Керенского, когда он рассказывал о событиях октября 1917 года; присутствовала при остром и отнюдь не литературном споре Мережковского с Вайяном-Кутюрье на вечере в «Андре Жид и СССР». Куда ее никогда не тянуло, так это на Монпарнас, к завсегдатаям кафе, где из вечера в вечер собирались русские литераторы, художники — поговорить об искусстве и жизни. Одним из таких завсегдатаев был, в частности, талантливый поэт Анатолий Штейгер, интересный для нас еще и тем, что спустя полтора года он станет адресатом нескольких горячих цветаевских писем. В июле 1934-го, вскоре после ужаснувшей мир «ночи длинных ножей», в очередной раз продемонстрировавшей изменившийся климат Европы, Штейгер писал Зинаиде Шаховской: «На Монпарнасе <...> все по-старому; мне кажется, что если бы даже какое-нибудь там моровое поветрие скосило всех парижан, то, придя вечером в Наполи, Вы все же застали бы там Адамовича, Ладинского, Иванова, Варшавского и еще кой-кого, мирно обсуждающих достоинства нового романа...»

Летом уехал в Москву на Первый съезд советских писателей Эренбург. Вернувшись, он выступил в зале «Мютюалите» вместе с гостями съезда — Луи Арагоном, Андре Мальро и Ж.-Р. Блоком. Бурно приветствуя ораторов, люди в зале скандировали: «Советы — повсюду!»

«Франция шла налево», — писал позже об этом времени Эренбург. Сочувствие «левых» французов

молодой Советской Республике питалось теперь прежде всего надеждой на Страну Советов как на главный бастион сопротивления фашизму. В этом чувстве надежды к ним присоединялись и известнейшие писатели других европейских стран. Из номера в номер журнал «Наш Союз», выходивший при активном участии С. Я. Эфрона, публиковал восхищенные высказывания об СССР М.-А. Нексе, Эптона Синклера, Ромена Роллана, Бернарда Шоу. Последний, отвечая на одну из анкет, утверждал: «СССР больше всего способствует прогрессу человечества тем, что занимается величайшим социальным экспериментом, какой когда-либо производился сознательным образом в истории людей».

С Эренбургом у Марины Ивановны давно уже нет прежней дружбы, но изредка они видятся, а что уж совсем несомненно — в близких отношениях с Ильей Григорьевичем Эфрон. Так что Цветаева имеет свежую информацию о том, что происходит в России. Она знает не только о строительстве первой очереди Московского метрополитена, но и об эшелонах «раскулаченных», отправленных в далекие необжитые края Сибири. Узнает она и о грандиозном плане реконструкции Москвы. К его осуществлению уже приступили. Эренбург рассказывал, что снесены Сухарева башня, Китай-город, Красные ворота, начали уничтожать зеленое кольцо бульваров с их вековыми деревьями. «Москва тогда впервые узнала горячку строительства, — читаем в соответствующей главе книги «Люди, годы, жизнь», — она пахла известкой, и от этого было весело на душе. <...> Я не узнавал многих хорошо мне знакомых улиц: вместо кривых домишек — ле-

са, щебень, пустыри. Над городом стоял оранжевый туман...»

Легко догадаться, зная Цветаеву, что от известий такого рода у нее не могло быть на душе весело. Проект перестройки Тверской, уничтожение Страстного монастыря, а затем и храма Христа Спасителя — в ее глазах то была беда, беда непоправимая: любимая с детства Москва уходила в небытие.

В цветаевском доме никто не разделял печали Марины Ивановны. Отношения внутри семьи все более напряженные, и случаются дни, когда кажется, что общий язык в семье окончательно утрачен. Упрямо опершись лбом в ладонь, Цветаева пишет очередную прозу: теперь это «Черт», снова воскрешающий далекие дни ее детства, старую Москву, любимую Тарусу, Оку, мать... Так уходит она в свою «щель», полагая, впрочем, это вовсе не бегством от сегодняшнего дня, а активной защитой исчезающих в мире великих ценностей — духа, сердца, человечности. «Что мы делаем, как не защищаем: бывшее от сущего и, боюсь, будущего, — писала она Буниной. — Будущего боюсь не своего, а «ихнего», того, когда меня уже не будет, — бескорыстно боюсь...»

И той же Буниной, в другом письме, — жалоба: «Мои живут другим — во времени и со временем...» Девятилетний Мур, рвущийся, как и отец с сестрой, в Москву, с некоторым даже превосходством пеняет матери:

— Бедная мама! Какая Вы странная! Вы как будто очень старая!..

## 7

С прошлой осени, когда сын начал ходить в школу, стало еще тяжелее выкраивать минуты для письменного стола. Цветаева помогала Муру готовить уроки — ему плохо давалась арифметика, как некогда матери; кроме того, она считала необходимым подолгу гулять с сыном в любую погоду...

И день оказывался разбитым на мелкие кусочки. Но едва выдается просвет — она бросается к столу и посреди кипящих кастрюль и чадающих примусов с головой уходит в работу, для которой родилась на свет. Продуктивность ее поразительна, даже если не знать всех этих обстоятельств. И все-таки ее не покидает ощущение неизрасходованной, подавленной силы, хотя, как сама она говорит:

Не меньше, чем пол-России  
Покрыто рукою сей!

Нескончаемое кухонное мытарство в жалких условиях быта нелегко и для домовитой женщины, в руках которой всё спорится, — для Цветаевой же то была каторга, вдесятеро усугубленная превозможением своей органической непригодности к делам такого рода. Ни один из поэтов, с которыми Цветаеву обычно сравнивают, — Ахматова, Пастернак, Мандельштам — не знал этой ежедневной пытки, затянувшейся на долгие годы. У них хватало своих испытаний, но не было этой изнурительной ежедневности бытовых забот, дробящих не просто время — душу. Плохо ли, хорошо ли, Цветаева бессменно с семнадцатого года везла на себе дом, хозяйство, заботы о маленьком сыне.

Но мы никогда не найдем в ее письмах жалобы

на то, что из-за необходимости заработка надо писать, иначе не прожить. Жалобы всегда другие: «Устала от *не своего* дела, на которое уходит — жизнь»; «Страшно хочется писать. Стихи. И вообще. До тоски»; «Главное — не успех, а: успеть». Всегда это жалоба на то, что хочется к столу, а надо — на рынок. Или гулять с Муром. Или стирать. Никогда — жалоб на недостаток тем или творческой энергии. Если и хочется передышки, то только от быта, от той «достоверной посудной и мыльной лужи, которая есть моя жизнь с 1917 года» (письмо Ю. Иваску, 1934 год). В другом письме, к Вере Буниной, того же года: «На мне ведь дом: три переполненных хламом комнаты, кухня и две каморки. На мне — едельная (Мурино слово) кухня, потому что придя — захотят есть. На мне весь Мур: проводы и приводы, прогулки, штопка, мывка. И, главное, я никогда никуда не могу уйти после такого ужасного рабочего дня — никогда никуда, либо сговариваться с С. Я. за неделю, что вот в субботу, например, я уйду... Мне нужен человек в дом, помощник и заместитель, никакая уборщица делу не поможет, мне нужно, чтобы вечером, уходя, я знала, что Мур будет вымыт и уложен вовремя. Одного оставлять невозможно: газ, грязь, неуют пустого жилья, — и ему только девять лет...»

В это время Сергей Яковлевич принимает самое активное участие в деятельности Союза возвращения на Родину. Союз возник еще в 1925-м, но по-настоящему расцвел к середине 30-х годов, когда в состав его бюро вошел Эфрон. В нескольких комнатах второго этажа на улице Де Бюси почти каждый вечер «возвращенцы» собирались

то на очередной семинар, то на лекцию, устраивали просмотр нового советского кинофильма или выставку художников. Театральная студия готовила спектакли, в библиотеке можно было познакомиться с последними новинками советской литературы и подписаться на любое советское издание. Здесь же размещалась и редакция журнала «Наш Союз», пропагандировавшего успехи и достижения Страны Советов; на протяжении нескольких лет вел журнал Сергей Яковлевич Эфрон. Однако, как ни увлечен он своей разнообразной деятельностью, по письмам к сестре в Москву видно, что ни на один день его не оставляет надежда уехать, как только это окажется возможным. «Не знаю, на что я буду годен, когда наконец попаду к тебе», — вырывается из-под его пера в одном из писем 1935 года.

Мы можем только предположить — документальные подтверждения вряд ли когда-нибудь найдутся, — что Эфрон в это время теснейшим образом связан с советским полпредством в Париже и что работа в Союзе возвращения поручена ему во испытание его верности и готовности служить советскому режиму. Он «зарабатывает» право на возвращение. Когда именно начинают ему давать другие поручения, выходящие за рамки чисто культурной деятельности, сказать наверняка трудно. А. В. Эйсер считал, что это произошло около 1933 года, но это частное мнение человека, который сам не имел дел с советской контрразведкой. Одно можно сказать уверенно: иностранный отдел НКВД вербовал эмигрантов тонко, деликатно, обставляя предложения о «сотрудничестве» благороднейшими целями. И не пугая чрезмерной

оплатой людей такого альтруистического и жертвенного склада, каким был Эфрон. Ясно, что в домашний бюджет вклад его пока скромнен, ибо денежная проблема в семье в середине 30-х годов стоит еще остро.

Внутри семьи в этом году — разлад. Аля все более сближается с отцом, принимает горячее участие в делах «возвращенцев», участвует как переводчица и иллюстратор в журнале «Наш Союз». В общении же с матерью — уже не просто вспышки и ссоры, но прочно укоренившееся раздражение, для которого не надо искать повода. И в один из ноябрьских дней, после очередной ссоры, Ариадна уходит из дома. Мы не знаем подробностей — куда и надолго ли, — но Анастасия Ивановна Цветаева помнит, что сестра сообщала ей об этом в письмах. Сто девятнадцать строк пропущено в публикации ноябрьского письма Цветаевой к ее чешскому другу Тесковой — эта книга писем, напому, вышла еще при жизни Ариадны Сергеевны. Купюра явно относится к горькому инциденту. Но Виктория Швейцер опубликовала неизвестные ранее выдержки из двух цветаевских писем к Буниной. Одна относится к тому же ноябрю и содержит рассказ о тяжелой и оскорбительной ссоре, другая датирована февралем 1935 года. В февральском письме Цветаева вспомнила об осени 1923 года, когда она разрывалась между чувством семейного долга и желанием быть вместе с Родзевичем. «...Но мне был дан в колыбель ужасный дар — совести: неможение чужого страдания. Может быть (дура я была!) они без меня были бы счастливы: куда счастливее, чем со мной! Сейчас это говорю — наверное. Но кто бы меня — тогда



убедил?! Я так была уверена — они же уверили — в своей незаменимости: что без меня умрут. А теперь я для них, особенно для С., ибо Аля уже стряхнула, — ноша, Божье наказание. Жизни ведь совсем врозь. Мур? Отвечу уже поставленным знаком вопроса. Ничего не знаю. Все они хотят жить, действовать, общаться, «строить жизнь» — хотя бы собственную...»

Никогда прежде Цветаева всерьез не жаловалась на здоровье. Правда, время от времени ее мучили долго не проходившие нарывы (видимо, то, что мы теперь называем фурункулезом), она относилась к ним на счет малокровия и скверной пищи; в июне этого года ей даже прописали курс уколов в бесплатной лечебнице для безработных русских. Но в ноябре 1934-го она впервые в жизни ощутила сердце, стала задыхаться при ходьбе, даже на ровном месте. «Мне все эти дни хочется писать свое завещание, — читаем в ее письме Анне Тесковой 21 ноября. — Мне вообще хотелось бы не-быть. Иду с Муром или без Мура, в школу или за молоком — и изнутри, сами собой — слова завещания. Не вещественного — у меня ничего нет — а что-то, что мне нужно, чтобы люди обо мне знали: *разъяснение...*»

Марк Слоним вспоминал об одной из встреч с Мариной Ивановной в 1934 году в парижском кафе. «Вот и вам негде печататься, — сказала она мне, — и вы переключились на французский. А мне попросту дышать нечем». <...> Я никогда не видел М. И. в таком безнадежном настроении. Ее ужасали наши речи о неизбежности войны с Германией, она говорила, что при одной мысли о войне ей жить не хочется. «Я совершенно одна, — повторяла

она, — вокруг меня пустота». Мне показалось, что она не только болезненно переживала свое отчуждение, но даже готова была его преувеличивать. Я это сказал ей, повторив ее же слова о «заговоре века». Она покачала головой: «Нет, вы не понимаете». И, глядя в сторону, процитировала свои знакомые мне строки:

Но на бегу меня тяжелой дланью  
Схватила за волосы судьба.

И прибавила: «Вера моя разрушилась, надежды исчезли, силы иссякли». Мне никогда не было так ее жалко, как в тот день...

«Вокруг меня пустота», «я никому здесь не нужна», «я достоверно зажила» — эти мотивы будут упорно повторяться в цветаевских письмах середины 30-х годов. Между тем Марина Ивановна вовсе не была лишена дружеского круга и дружеского участия. Не была она и замкнутой нелюдимкой — наоборот, страдала от своей вынужденной отъединенности, ежевечерней несвободы, потому что любила бывать в гостях, оживала от хорошей беседы, легко находила общий язык с самыми разными людьми. Совсем не нужно было быть непременно высоколобым интеллектуалом, чтобы заслужить ее внимание и расположение: она скучает как раз с плоскими умниками, «мозговиками», как назвал их еще Андрей Белый, с самоуверенной посредственностью, рассуждающей о судьбах человечества. С такими ей пронзительно одиноко, «пустынно», она с трудом «держит» приличное выражение лица — а иногда и не выдерживает. У нее возникает ощущение «собаки, брошенной к волкам, то есть скорее я — волк, а они

собаки, но главное дело — в розни», пишет она Буниной. Зато какой приветливой и ласковой вспоминает ее Вера Андреева, изумлявшаяся еще тогда, в середине 30-х, терпеливому и заинтересованному вниманию Марины Ивановны к ней, совсем еще юной девушке, и ее юным братьям, которые время от времени бегали к Цветаевой обсуждать свои важные жизненные проблемы. «Она любила людей, и люди ее любили, — утверждает другая мемуаристка — Елена Извольская. — В ней была даже некая «светскость», если не кокетство, — желание блеснуть, поразить, смутить, очаровать <...>. Мы часто навещали Марину. Она всегда была нам рада и вела с нами бесконечные беседы: о поэзии, об искусстве, музыке, природе. Более блестящей собеседницы я никогда не встречала. Мы приходили к ней на огонек, и она поила нас чаем, вином. А по праздникам баловала: блинами на масленицу, пасхой и куличом после светлой заутрени...»

Но, как писал Торо, «одиночество не измеряется милями, которые отделяют человека от его близких». Сама Цветаева говорила об «ужасном одиночестве совместности, столь обратном благословенному уединению». И в «Черте», созданном этой осенью, снова — об одиночестве, как о зачарованном круге, из которого вырваться не в ее силах. О круге, «всюду со мной передвигающемся, из-под ног рождающемся, обнимающем меня как руками, но как дыхание растяжимым, всё вмещающем и *всех* исключаящем»...

Это одиночество на горных вершинах, блаженство и проклятие творца, не умеющего жить по законам земных долин. В мучительные дни душев-

ной угнетенности Цветаевой кажется порой слишком тяжким этот крест. «О, знал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют...» — писал о том же и Пастернак.

Переписка между ними почти прекратилась в эти годы. Но для Цветаевой Борис Леонидович и теперь еще оставался единственным на земле человеком, который мог бы без слов услышать и поддержать ее в минуту отчаяния. Слава Богу, она еще не знает пока, что увидит его очень скоро, всего через полгода, и какой горькой окажется эта встреча...

## 8

Через полгода, в июньские дни 1935 года, в Париже стояла невыносимая жара, внезапно сменившая холодное и дождливое ненастье. Время от времени гремели грозы, и снова сгущался душный зной. Антифашистский конгресс под девизом «В защиту культуры» открылся в пятницу 21 июня в огромном зале «Мютюалите», вмещавшем около двух тысяч участников и гостей. В работе конгресса приняли участие виднейшие европейские писатели — Андре Жид и Анри Барбюс, Олдос Хаксли и Вирджиния Вулф, Карел Чапек и Леон Фейхтвангер, Джон Пристли и Бертран Рассел. Делегация Советского Союза оказалась самой многочисленной. Ее должен был возглавить Максим Горький, но в последний момент он не приехал. Сообщили о его болезни, но скорее всего дело было не в этом: за несколько месяцев до того Горькому уже отказали в выезде за границу на лечение. Он стал «невъездным» —

возможно, в связи с попыткой заступиться за Каменева.

Эмигрантские газеты поначалу игнорировали конгресс, но затем были вынуждены нарушить молчание. «Возрождение» раздраженно констатировало: «Защита культуры приобретает характер пропаганды советского режима». И это было справедливо. Зал разразился аплодисментами после слов Андре Жида, заявившего: «СССР теперь для нас — зрелище невиданного значения, огромная надежда. Только там есть настоящий читатель...» Год спустя, освещая деятельность конгресса, Шарль Вильдрак писал (в советском журнале «Литературный критик», № 8) об «общем энтузиазме к высокому и бодрящему примеру, данному теперь СССР всему миру». В зале «Мютюалите», по мнению того же Вильдрака, собрались в те дни «прозорливые писатели всего мира, одушевленные общим возмущением и общими желаниями...» Характеристика Вильдрака, мягко говоря, неточна. «Прозорливости» оказалось явно недостаточно, как показали грядущие события. А «всеобщий энтузиазм» был, но хотя он действительно заглушил другие голоса — эти другие голоса все же звучали. Один из них принадлежал итальянскому антифашисту Сальвемини. Он попытался направить протест собравшихся против подавления личности и духовной свободы не только в гитлеровской Германии, но и в любой стране:

— Разве холод деревни Сибири, куда ссылают идейных врагов режима, лучше концлагерей Германии? Разве Троцкий не такой же эмигрант, как Генрих Манн?..

«Зал встрепенулся от изумления», — сообщал

обозреватель «Возрождения» С. Литовцев. Вспыхнувшие было в разных местах зала аплодисменты были заглушены негодующими возгласами. По свидетельству того же обозревателя, энтузиазм брал свое: «Умеренные делегаты выступали робко, советофилы гремели, говорили смело, страстно, зажигательно...»

Пастернак и Бабель не были включены в советскую делегацию, но французские организаторы конгресса обратились за содействием к советскому послу в Париже Потемкину, и благодаря их ходатайству вопрос был пересмотрен. В подмосковном санатории «Узкое», где находился в это время Пастернак, раздался телефонный звонок секретаря Сталина Поскребышева. И больной Борис Леонидович вынужден был подчиниться требованию выехать немедленно; он сумел только оговорить невозможность лететь самолетом. В поезде его состояние еще ухудшилось. Он приехал во Францию почти невменяемым от депрессии и бессонниц.

В Париже он раньше никогда не был и много лет мечтал о поездке, но теперь ему было не до столицы столиц. Позже, вспоминая эти дни, он назвал свое тогдашнее состояние «внутренним адом». «Этим летом меня не было на свете, и не дай Бог никому из вас узнать те области зачаточного безумья, в которых я <...> пребывал», — признавался он в письме к жене.

Тем не менее Борису Леонидовичу пришлось выступить на конгрессе. Представил его собравшимся Андре Мальро: «Перед вами — один из самых больших поэтов нашего времени...» Тот же Мальро прочел в переводе на французский одно из пастернаковских стихотворений — «Так начинают

года в два...». И хотя Пастернак, выйдя на трибуну, произнес всего несколько слов о природе поэзии, зал устроил ему долго не смолкавшую овацию. Шел уже последний день работы конгресса, 26 июня. Для тех, кто не смог попасть внутрь, громкоговорители транслировали речи в вестибюль.

За неделю до начала работы конгресса Цветаева отвела к врачу сына: десятилетний Мур жаловался на боли в животе. Хирург диагностировал аппендицит. Мальчика срочно оперировали, и он провел в больнице еще десять дней. Тем не менее Марина Ивановна присутствовала на всех заседаниях конгресса.

Но уже через день после окончания его работы, 28 июня, несмотря на то что советская делегация, а с ней и Пастернак еще оставались в Париже, Цветасва уезжает с сыном на юг, в Фавьер, к морю.

Позже она назвала это свидание с Пастернаком «невстречей». Они могли видаться только в течение трех дней: 25, 26 и 27 июня. Сидели рядом на заседаниях конгресса, ездили вместе с Ходасевичем в Версаль и Фонтенбло — видимо, на машине художника Юрия Анненкова. Успели побывать Борис Леонидович в Ванве, на квартире Цветаевой? Сказать наверняка трудно, однако Пастернак познакомился не только с Алей, но и с Сергеем Яковлевичем.

Конечно, они встречались с Цветаевой наедине. Но прошло уже почти полтора десятилетия с того времени, когда они в последний раз виделись в Москве. И девять лет с той весны двадцать шестого года, когда Пастернак готов был примчаться к

ней во Францию. Слишком долгие сроки... Слишком многое переменялось, не столько в них самих, сколько в мире,— и это «в мире» сказалось и на встрече.

Самочувствие Пастернака в Париже не улучшилось, и он не скрывал этого. С каким чувством слушал он на конгрессе речи о свободе художника в СССР, о пролетарском гуманизме, о Стране Советов как примере истинной заботы о человеке? Рассказал ли он Цветаевой о той поездке, когда он своими глазами увидел украинскую деревню и изнанку процессов «сплошной коллективизации»? Рассказал ли о телефонном звонке Сталина к нему на квартиру ровно год назад и о странном разговоре, который тогда состоялся? Мы не знаем этого. Достоверно другое: Цветаева все же задала Борису Леонидовичу вопрос, который ее теперь мучил постоянно: можно ли сейчас возвращаться в Россию? Ответ показался ей невнятным, противоречивым. Пастернак и сам это как будто подтверждает: «Я не знал, что ей посоветовать»,— пишет он в «Людах и положениях». Но ведь сказал же он ей во время заседания конгресса на ухо о том, как почти насильно отправили его в Париж: «Я не посмел не поехать, ко мне приехал секретарь Сталина, и я испугался. Меня посадили в самолет и привезли...» (Пастернак приехал поездом, не самолетом, но в данном случае это цитата из письма Цветаевой к Тесковой.) Другой вариант предостережения передает Е. Н. Федотова, скорее всего тоже со слов самой Цветаевой,— обстоятельства совпадают: «Марина, не езжайте в Россию, там холодно, сплошной сквозняк!» Тоже шепотом, тоже во время заседа-



ния. Иносказательность фразы и конспиративность обстоятельств наводят на мысль, что и в Париже Борис Леонидович опасался следящих глаз и подслушивающих ушей.

Гораздо больше, чем методам «делегирования» поэта на конгресс, Цветаева ужаснулась страху Бориса Леонидовича. Пастернак испугался — вот что было для нее непонятно, непредставимо. Она не распознала мучительного состояния, в котором он находился в это время, о подлинных причинах его не догадалась, недомолвок — не поняла. Но потому и не поняла, что воображения не хватило — даже у нее, ко многому как будто уже готовой! — представить, как далеко все зашло в стране, куда так нетерпеливо рвался ее муж.

В эти дни Цветаева тоже далеко не в лучшей своей форме, и ее душевное напряжение и тревога лишь способствовали тому, что недоразумение накладывалось на недоразумение. По счастью, сохранилось ее письмо к Николаю Тихонову, написанное уже после отъезда на юг. Отрывок из этого письма дает нам представление о состоянии обоих: «От Б. — у меня смутное чувство. Он для меня труден тем, что все, что для меня — право, для него — его, Борисин, порок, болезнь.

Как мне тогда (Вас, впрочем, не было, — тогда и слез не было бы) — на слезы: — Почему ты плачешь? — Я не плачу, это глаза плачут. — Если я сейчас не плачу, то потому, что решил всячески воздерживаться от истерии и неврастения. (Я так удивилась — что тут же перестала плакать.) — Ты — полюбишь Колхозы!

.. В ответ на слезы мне — «Колхозы»,  
В ответ на чувства мне — «Челюскин»!

Словом, Борис в мужественной роли Базарова, а я — тех старичков — кладбищенских. А плакала я потому, что Борис, лучший лирический поэт нашего времени, на моих глазах предавал Лирику, называя всего себя и все в себе — болезнью. (Пусть — «высокой». Но он и этого не сказал. Не сказал также, что эта болезнь ему дороже здоровья и, вообще, дороже, — реже и дороже радия...)».

Л. Флейшман, автор превосходного исследования «Пастернак в тридцатые годы», считает, что Цветаева верно уловила «оттенок неполной, неокончательной правды» в том, что говорил в эти парижские дни Борис Леонидович, прикрываясь жалобами на нездоровье. А все-таки нездоров он был достоверно, не просто «непоправимо несчастен». Но разрушительности его душевного недомогания Цветаева не поняла. «Признававшая только *экспрессии*, никаких депрессий Марина не понимала, — пишет в своих воспоминаниях А. С. Эфрон, — болезнями (не в пример зубной боли!) не считала, они ей казались просто дурными чертами характера, выпущенными на поверхность, — расхлябанностью, безволием, эгоизмом, — слабостями, на которые человек (мужчина!) не в праве...»

Больного Бориса Леонидович до самого его отъезда преданно опекала Ариадна, почти ежедневно с утра приходившая в гостиничный номер отеля «Мэдисон»; она просто сидела рядом, когда он не хотел никуда идти, вязала. И он постепенно отходил, напряжение в его глазах исчезало; слушая ее болтовню, он начинал улыбаться и понемногу реагировать: «вот так я его разговаривала», вспоминала позже Ариадна Сергеевна. Она

подтверждала, что он «был в ужасном состоянии, и мама была ему, конечно, просто противопоказана...».

Так или иначе, Цветаева назвала это «не-встречей», а Пастернак позже — «упущенным, уступленным, проплывшим мимо...». Оба сполна пережили горечь еще одного, совсем уж обидного разминовения.

И все-таки вернемся к году 1934-му, к его последнему месяцу.

Убийство Кирова в Смольном 1 декабря и последовавшие сразу аресты широко комментировались за рубежом. Многих крайне насторожила перепечатка указа Советского правительства об ускоренном рассмотрении дел арестованных, запрете кассаций и немедленном приведении приговоров в исполнение. Союз возвращения на Родину, в котором виднейшую роль играл Сергей Яковлевич Эфрон, отправил в Москву телеграмму: «Возмущены контрреволюционным злодеянием...» Другой указ, опубликованный в советской прессе ровно через неделю после убийства, обрадовал тех, кто жадно ловил хорошие новости и из всех сил отстранялся от плохих. То был указ об отмене в СССР с 1 января 1935 года карточной системы на хлеб, муку и крупу. Изошренная тактика «кнута и пряника» продолжается все 30-е годы, успешно отводя доверчивых от страшной догадки...

Именно в декабре Цветаева пишет стихотворение, которое Ходасевич назовет одним из самых замечательных в современной русской поэзии. Вспомним его начало:

Тоска по родине! Давно  
Разоблаченная морока!  
Мне совершенно все равно —  
*Где* совершенно одинокой

Быть, по каким камням домой  
Брести с кошелюкою базарной  
В дом, и не знающий, что — мой,  
Как госпиталь или казарма.

Мне все равно, каких среди  
Лиц ошестиниваться пленным  
Львом, из какой людской среды  
Быть вытесненной — непременно —

В себя, в единоличье чувств...

Новогодний номер журнала «Наш Союз» открывался неподписанной передовицей: в ней, в частности, говорилось: «Единственная страна во всем мире, встретившая 1935 год с радостной бодростью и твердой уверенностью, что в наступившем году ее ждут новые победы и великие творческие достижения, несомненно, была наша Родина... Главнейшие трудности преодолены. Страна Советов вступает в 1935 год с бодрым сознанием, что самое трудное уже сделано, что та работа, те препятствия и те трудности, которые ждут в будущем, несравненно легче того, что уже сделано...»

Не был ли Эфрон автором этого оптимистического прогноза? Предположение кажется вполне реальным. Во всяком случае, именно так Сергей Яковлевич представлял себе ситуацию в Советской России.

## *Глава седьмая*

### *ВАНВ – ПАРИЖ, 1937—1939*

#### 1

Лето 1937 года Цветаева провела с сыном у моря в Лакано-Осеан. Ариадна еще весной, в марте, уехала в Москву, первой из семьи. От нее шли восторженные письма; ей нравилось там все, хотя постоянной работы пока не было, жить приходилось у тетки. И все-таки она уже сотрудничала в кольцовском «Жургазе», пока внештатно, но осенью обещали взять в штат, и будущее виделось ей сквозь радужные надежды. В одном из первых же писем ей, правда, пришлось огорчить мать: она сообщила о смерти Софьи Голлидэй. То была подруга Марины Ивановны, давняя и недолгая, но горячо любимая и не заслоненная в памяти ни временем, ни разлукой. Горькая весть из России «всколыхнула все глубины», признавалась Цветаева в письме к Тесковой. «А может быть, я просто спустилась в свой вечный колодец, где все всегда — живо». И теперь, в Лакано, забыв все вокруг, она писала свой очередной реквием.

«Повесть о Сонечке» стала последней ее прозой.

Она начала ее писать почему-то по-французски, затем перешла на русский, но так и оставила посреди текста большие куски, написанные на чужом языке. Она воскрешала весенние месяцы 1919 года — такого страшного в конце, что первые его месяцы теперь казались почти легкомысленными: еще были надежды, были радости. Голод тогда уже набирал силу, но обе дочери еще были

рядом — и целых три весенних месяца были озарены нежной дружбой с маленькой, прелестной и своенравной актрисой Второй студии Художественного театра. Теперь, спустя 18 лет, Марине Ивановне казалось, что она никого и никогда не любила в жизни так, как эту Сонечку, покорившую ее душевным богатством и щедростью не меньше, чем актерским талантом. И все лето в Лакано прошло под знаком той весны девятнадцатого года; это были не воспоминания — живая реальность, видимая, правда, ей одной; даже вставая



Ариадна Эфрон перед  
отъездом из Парижа

из-за стола, она продолжала слышать голос Сонечки, ее интонации, ее смех. Это помогало ее перу. В одном из московских архивов сохранились письма Голлидэй, обращенные к В. И. Качалову, — они редкостно совпадают по интонациям и характеру, в них отраженному, с образом, встающим со страниц цветаевской прозы.

Когда настало время возвращения из Лакано, повесть была почти закончена и даже заочно «сватана». Ее обещал взять для недавно возникшего журнала «Русские записки» один из его редакторов И. И. Бунаков-Фондаминский. Цветаева сблизилась с Ильей Исидоровичем (названным Набоковым «человечнейшим из людей») в последние годы; изредка она посещала собиравшееся в его доме литературно-философское объединение «Круг».

...С океана они вернулись 20 сентября. Перешагнув порог своей квартиры в Ванве, Цветаева не могла знать, как круто за этот последний месяц повернулось колесо ее судьбы. Жизнь ее переломилась в последний раз — она приехала к разбитому корыту. Удар, который ждал ее теперь, не мог присниться и в самом страшном сне.

Через два дня после ее приезда французские и эмигрантские газеты сообщили о таинственном исчезновении из Парижа генерала Миллера, возглавлявшего эмигрантский «Общевойсковой союз». У всех еще было на памяти бесследное исчезновение предшественника Миллера на том же посту — генерала Кутепова, в начале 1930 года. Естественно, что сообщение встревожило всю русскую эмиграцию. Но не Цветаеву: письмо, которое Марина Ивановна написала своей чешской приятельнице



Ванв, улица Ж.-Б. Потэн, 65

27 сентября, кажется неподдельно спокойным. О сенсационном событии в нем нет ни слова — и хотя издателем писем Цветаевой к Тесковой здесь отмечены пропущенные строки, скорее всего они относятся к внутрисемейным отношениям. Катастрофой в этом письме, сколько можно судить, не пахнет.

Между тем с момента исчезновения генерала Миллера французская полиция энергично занялась расследованием связи этого дела с другим загадочным событием, происшедшим незадолго до того в Швейцарии. Четвертого сентября в окрестностях Лозанны было совершено убийство некоего Игнатия Рейсса. Довольно скоро полиции удалось установить несколько важных фактов. Именно: что



Рейсс в течение последних двадцати лет проживал в Голландии и Франции и был видным сотрудником ГПУ — НКВД. А также — что убийство его было делом рук нескольких человек, сразу же после совершения преступления пересекших франко-швейцарскую границу. Швейцарская полиция располагала несколькими конкретными именами подозреваемых и обратилась к своим французским коллегам с просьбой о немедленном их розыске и задержании. Однако историей Рейсса французы не слишком обеспокоились. И только когда Париж облетела весть об исчезновении Миллера, сюрте насьональ, заподозрив, что в преступлениях участвовали одни и те же лица, начала активные поиски. Нити следствия в обоих случаях вели к некоему Кондратьеву и далее — к парижскому Союзу возвращения на Родину.

В начале октября в полицейском участке Исси-ле-Мулино был допрошен близкий друг Эфрона Н. А. Клепинин. На следующий день туда же был вызван на допрос и Сергей Яковлевич. Сохранилось свидетельство М. С. Степуржинской (урожденной Булгаковой) о том, что сразу после возвращения Эфрона из сюрте семья покинула квартиру в Ванве и переселилась к Степуржинским. А спустя примерно неделю все вместе, на машине Степуржинского, работавшего таксистом, направились в Руан. Там Сергей Яковлевич простился с женой и сыном и уехал на машине дальше, по направлению к Гавру. Марина Ивановна и Мур вернулись в Париж на поезде.

22 октября в семь часов утра Цветаеву разбудила полиция, предъявившая ей ордер на обыск. Но предоставим здесь слово газете «Последние

новости». 24 октября на ее страницах появились репортаж об обыске, произведенном полицией в Союзе возвращения на улице де Бюси, — а также интервью, взятое газетчиком в Ванве. «Дней 12 тому назад, — сообщила М. И. Цветаева, — мой муж, экстренно собравшись, покинул нашу квартиру в Ванве, сказав мне, что уезжает в Испанию. С тех пор никаких известий о нем я не имею. Его советские симпатии известны мне, конечно, так же хорошо, как и всем, кто с мужем встречался. Его близкое участие во всем, что касалось испанских дел (как известно, Союз возвращения на Родину отправил в Испанию немалое количество русских добровольцев), мне так же было известно. Занимался ли он еще какой-либо деятельностью и какой именно — не знаю.

22 октября около 7 часов утра ко мне явились четыре инспектора полиции и произвели продолжительный обыск, захватив в комнате мужа его бумаги и личную переписку. Затем я была приглашена в сюрте насъональ, где в течение многих часов меня допрашивали. Ничего нового о муже я сообщить не могла».

В воспоминаниях нескольких людей, близких Цветаевой, сохранились подробности ее поведения на допросе. Марк Слоним — и не он один — утверждает, что Марина Ивановна была уверена в трагическом недоразумении, которое должно скоро разъясниться. Он пишет: «... во время допросов во французской полиции (сюрте) она все твердила о честности мужа, о столкновении долга с любовью и цитировала наизусть не то Корнеля, не то Расина (она сама потом об этом рассказывала, сперва М. Н. Лебедевой, а потом мне).

Сперва чиновники думали, что она хитрит и притворяется, но когда она принялась читать им французские переводы Пушкина и своих собственных стихотворений, они усомнились в ее психических способностях и явившимся на помощь матерым специалистам по эмигрантским делам рекомендовали ее — «эта полоумная русская»... В то же время она обнаружила такое невежество в политических вопросах и такое неведение о деятельности мужа, что они махнули на нее рукой и отпустили с миром...» З. Шаховская добавляет к этому эпизоду фразу, сказанную Цветаевой следователю, когда тот привел доказательства причастности Эфрона к преступлению: «Его доверие могло быть обмануто, мое к нему остается неизменным».

Обращает на себя внимание сама стилистика цветаевского интервью газете — это характерная стилистика свидетельских показаний: не знаю, не имею, другого сообщить не могу... Что вполне естественно на следующий день после допроса; да и отчего бы Цветаевой доверять газетчикам больше, чем полиции? Но и без этого мы замечаем, что Марина Ивановна отнюдь не откровенна ни с теми, ни с другими. Она ни словом не обмолвилась о том, что провожала мужа, и говорит только то, что, видимо, велел ей говорить Сергей Яковлевич. Из Гавра шли пароходы в Советский Союз, и, скорее всего, Цветаева твердо знала, что муж ее едет вовсе не в Испанию...

Сразу же после появления в газетах имен Цветаевой и Эфрона в Ванв примчался встревоженный Фондаминский. Позже он рассказывал друзьям, что Марина Ивановна в отчаянии повторяла ему одно и то же: «этого не может быть», она

готова была поклясться, что Сергей Яковлевич не мог быть замешан «в кровавом деле»...

В чем же обвинялся Эфрон?

Главные показания против него дала одна из участниц лозаннского преступления Рената Штейнер. История ее была достаточно характерной. В 1934 году во время туристской поездки в Москву она вышла замуж за советского подданного, сотрудника НКВД Малиенко. Вернувшись в Париж, обратилась в советское посольство за помощью — она хотела теперь уехать к мужу навсегда. Посольство направило ее в Союз возвращения — под надзор и в распоряжение С. Я. Эфрона. Терпеливо и приветливо Эфрон разъяснил ей то, о чем много раз писал редактируемый им журнал «Наш Союз». То есть что СССР принимает в число своих граждан не всех, кто захочет, а только тех, кто делом подтвердил свою преданность советскому режиму. Штейнер согласилась на эти условия и в 1936 году, а также в начале 1937-го выполняла поручения Эфрона: занималась слежкой за некоей супружеской парой. Только позже она узнала, что это был сын Троцкого Лев Седов с женой. Но летом 1937 года она получила новое задание: участвовать в розыске скрывавшегося советского резидента Рейсса.

Подробности о самом Рейссе прояснились позже. Они оказались прямо связанными с тем, что после ареста Ягоды в апреле 1937 года в Советской России начались массовые репрессии среди сотрудников НКВД: Ежов менял кадровый состав, уничтожая «шпионов Ягоды» в собственных рядах. К лету 1937 года в Москву из Европы было отозвано около сорока сотрудников иностранного

отдела НКВД, возглавлявшегося А. А. Слущким (Маркосом). Однако пятеро отказались вернуться, понимая, что вернутся на смерть или — в лучшем случае — в застенки. 14 июля 1937 года один из этих пятерых Рейсс (его настоящее имя было Ян Порецкий) написал в Москву, в Центральный Комитет партии большевиков письмо. Он заявлял в нем о своей решимости порвать с режимом Сталина, запятнавшим себя убийствами людей, преданных делу революции. «Я шел вместе с Вами, — писал Порецкий, — ни шагу дальше. Наши дороги расходятся! Кто теперь еще молчит, становится сообщником Сталина и предателем дела рабочего класса и социализма... Близок день суда международного социализма над всеми преступлениями последних десяти лет. Ничто не будет прощено... Процесс этот состоится публично, со свидетелями, многими свидетелями, живыми и мертвыми; все они еще раз заговорят, но на сей раз скажут правду, всю правду. Они явятся все — невинно убиенные и оклеветанные — и международное рабочее движение их реабилитирует, всех этих Каменевых и Мрачковских, Смирновых и Мураловых, Дробни-сов и Серебряковых, Мдивани и Окуджава, Раков-ских и Нинов, всех этих «шпионов и диверсантов, агентов гестапо и саботажников» <...>. Я больше не могу. Я возвращаю себе свободу. Назад, к Ленину, его учению и делу...»

Однако письмо Рейсса, переданное им через друзей в отдел НКВД при советском посольстве в Париже, было вскрыто здесь же. И с этого момента начала свою работу специальная оперативная группа. В нее вошел и Эфрон. Спустя несколько

недель ей удалось обнаружить Рейсса в Лозанне.

Дабы сказать все, что может иметь значение для оценки роли мужа Цветаевой в этой истории, добавлю пояснение, которое я услышала в начале 70-х годов от Ариадны Сергеевны Эфрон (не помню, по какому поводу, но без всякого вопроса с моей стороны — я на это никогда бы не решилась): «Сергей Яковлевич не предполагал, что



С. Я. Эфрон, 1937 (?) г.

Рейсс будет убит. Но он считал, что Рейсс должен предстать перед справедливым советским судом, — ведь нельзя было допустить, чтобы человек, знавший слишком многое, передал то, что он знал, недругам Советской власти...»

На ту же чашу весов ложится и фраза Эфрона, сказанная им своей близкой приятельнице Вере Трайл в самый канун побега из Франции: «Меня запутали в грязное дело...» Вере Трайл Эфрон мог довериться, она знала о его сотрудничестве с Москвой. И все же нельзя сказать твердо, где кончалась его откровенность и вступали в силу соображения конспирации. Убийство Рейсса было не первым и не последним: за полгода до того был

убит невозвращенец Навашин, спустя несколько месяцев, в Бельгии, другой невозвращенец Агабеков. Прямая причастность Эфрона несомненна лишь в случае с Рейссом — но и здесь он был лишь одним из организаторов преследования. Аналогичная роль принадлежала ему, видимо, и в истории похищения генерала Миллера. Бывший евразиец Вадим Кондратьев, которого полиция уверенно называла как участника обеих акций (убийство Рейсса и похищение Миллера), был, по некоторым сведениям, в прямом подчинении у Эфрона.

В процессе дознания появилось, как мы видели, имя еще одного преследуемого. Это сын Троцкого Лев Седов, талантливый математик, учившийся в Сорбонне. Он умер в феврале 1938 года (то есть когда Эфрона уже не было в Париже) в одной из парижских больниц при подозрительных обстоятельствах, вскоре после удачно прошедшей операции по поводу аппендицита. Возникает мысль и о возможности участия Эфрона в похищении архива Троцкого (осенью 1936 года) с парижской улицы Мишле, где располагался французский филиал Амстердамского архива истории социалистических учений. Пятнадцать пакетов архива Троцкого были доставлены на улицу Мишле совсем незадолго до похищения.

Был ли Эфрон в Испании? Адъютант Матэ Залка Алексей Эйсер решительно отрицал это. Приезжая из Испании на короткое время в Париж, Эйсер встречал там Эфрона, с которым был дружен, они много говорили об испанских делах — но и только. Существуют, однако, и другие свидетельства. Так, сосед Эфрона по Ванву Кирилл Хенкин в своей книге «Охотник вверх ногами»

приводит один очень уж конкретный факт: когда на вербовочном пункте в Париже, на улице Матюрен Моро, Хенкина отказались без рекомендации зачислить в ряды добровольцев, уезжавших в Испанию, Сергей Яковлевич сумел ему быстро помочь. И тут же предложил заняться в Испании делом «поинтереснее, чем просто стрелять из окопов». По поручению Эфрона через несколько дней Хенкин встретился уже в Валенсии в восьмиэтажном отеле «Метрополь» с неким Орловым, руководителем оперативной группы НКВД в Испании. Эта группа была занята выявлением «троцкистов» и «врагов народа» на испанской территории. Уже сам по себе факт такой связи Эфрона с Орловым указывает во всяком случае на то, что в 1937 году Сергей Яковлевич был человеком, облеченным доверием сотрудников иностранной службы НКВД. Эпизод знаменательный...

Имея это в виду, можно прислушаться и к другим, теперь уже невозможным для проверки свидетельствам: так, знакомый Эфрона Ян Артис (ныне покойный) утверждал, что не раз встречал его в Испании и что тот мог бывать там с заданиями достаточно секретными, о которых он не стал бы распространяться при встречах в Париже даже с самыми близкими друзьями.

## 2

В эмигрантских кругах, и прежде не баловавших Цветаеву своими симпатиями, естественно, не мог не возникнуть вопрос, насколько она была осведомлена о характере деятельности своего мужа. Пример любимицы «русского Парижа» популярнейшей певицы Н. В. Плевицкой вызывал невы-



годные для Цветаевой ассоциации. Дело в том, что жена генерала Скоблина, сыгравшего роль пособника в похищении Миллера, Плевицкая, вызванная на допрос, упорно пыталась обеспечить своему мужу алиби. Вскоре, однако, обнаружилась ложность ее показаний, и Плевицкая была арестована.

Только очень близкие семье Цветаевой — Эфрона люди знали, насколько их союз был в последние годы прежде всего данью семейному мифу о «чуде встречи», данью долгу, соединенному, впрочем, с несомненным болевым чувством привязанности.

То был союз совместной крыши над головой, хотя и это требует оговорок. Ибо были периоды, когда Сергей Яковлевич подолгу жил самостоятельно, вдали от жены и сына.

Конечно, Цветаева знала то, чего не знать было нельзя: об активной работе мужа в Союзе возвращения, о контактах его с советским посольством, через которое шли все хлопоты об отъездах на Родину. Знала, может быть, в самой общей форме — о его участии в испанских делах. «Испанские дела», скорее всего, и позволяли Сергею Яковлевичу удобно прикрывать все остальное секретностью, в которую Цветаева не имела никакой охоты вникать. Куда он уезжал, с кем встречался — это было его дело, и можно быть уверенным, что Эфрон, превосходно знавший жену, ни о чем большем с ней и не пытался откровенничать. Ему наверняка памятна была та яростная вспышка гнева, с какой обрушилась Марина Ивановна на «правого» евразийца Н. Н. Алексеева, когда тот, еще в 1929 году, обвинил Эфрона в связях с чекистами. И

конечно, он знал о возмущенной реакции Цветаевой на похищение генерала Кутепова в 1930 году. («А у нас украли Кутепова, — сообщала тогда она Ломоносовой. — По мне — убили».)

Потрясение, испытанное Цветаевой, когда она узнала об обвинениях, выдвинутых против ее мужа, отмечено всеми мемуаристами. Марк Слоним пишет: «Все, что ей пришлось пережить этой страшной осенью, надломило М. И., что-то в ней надорвалось. Когда я встретил ее в октябре у Лебедевых, на ней лица не было, я был поражен, как она сразу постарела и ссохлась. Я обнял ее, и она вдруг заплакала, тихо и молча, я в первый раз видел ее плачущей. <...> Меня потрясли и ее слезы, и отсутствие жалоб на судьбу, и какая-то безнадежная уверенность, что бороться ни к чему и надо принять неизбежное. Я помню, как просто и обыденно прозвучали ее слова: «Я хотела бы умереть, но приходится жить ради Мура; Але и Сергею Яковлевичу я больше не нужна».

Она ошибалась в этом последнем утверждении, продиктованном чувством отчаяния и покинутости. Осенью 1939 года она уже стояла в очередях к тюремному окошку, где принимали передачи для заключенных; переводами и распродажей вещей добывала деньги, позволявшие делать эти передачи, доставала теплую одежду на этап, писала прошение на имя Берии, составляла текст телеграммы Сталину, отправляла ободряющие письма дочери в лагерь...

По неписаному закону притяжения беды к беде, через неделю после обыска и допроса Цветаева узнала о том, что умер ее давний друг князь Волконский. Умер в далекой Америке, в городе

Ричмонде, штат Вирджиния, куда судьба занесла его в середине 30-х годов. Внук декабриста и бывший директор Императорских театров был преданным другом Марины Ивановны, некогда вдохновившим ее на создание прекрасного поэтического цикла «Ученик»; его воспоминания она переписывала от руки чуть не целый год в революционной Москве.

Во Франции они встречались не часто, но каждая встреча была праздником для обоих. Он приезжал навестить ее и в Медон и в Кламар, и, едва перешагивал порог, все горести и неурядицы отступали куда-то в разряд несущественностей. Сергей Михайлович был неоценимым собеседником, они понимали друг друга с полуслова, и, пока он в передней еще только снимал пальто и, разматывая свой длинный шарф, произносил первую фразу, оба будто попадали в какой-то особый, невидимый другим людям пласт реальности, где не было места пустякам.

Волконский был известной фигурой в «русском Париже», его театральные обозрения и рецензии регулярно печатали в газетах, две книги его воспоминаний получили в свое время хорошую прессу. И потому 31 октября 1937 года на панихиде в католической церкви Святой Троицы собралось много русских, пришедших почтить его память. Н. Берберова в книге «Курсив мой» вспоминает, как одиноко и отчужденно среди других стояла Цветаева, сложив руки на груди. Ее обходили как чумную — но вряд ли она сама это замечала...

Этой осенью ее едва можно было узнать. Лицо ее потемнело — будто обуглилось, в глазах появи-

лось холодно-отчужденное выражение, не исчезающее даже когда она была в кругу самых близких друзей. Что думала она теперь о своем муже, человеке, который в течение четверти века был спутником ее жизни?..

Благородство и бескорыстие — в этих чертах Сергея Яковлевича она была неколебимо уверена при всех разногласиях и конфликтах, какие между ними возникали. «В его лице я рыцарству верна», — писала она еще совсем юной, в первых стихах, посвященных мужу. «Если бы Вы знали, — сказано в ее письме В. В. Розанову 1914 года, — какой это пламенный, великодушный, глубокий юноша!» В годы гражданской войны она называла его «белым лебедем» и воспела в образе святого Георгия, спасающего людей от злого змия. Не разделяя «евразийских» увлечений Эфрона в 20-е годы, она все же с гордостью напишет Тесковой в 1929-м, что его называют «совестью евразийства», — и нам сейчас неважно, так ли это было на самом деле. В благородстве и рыцарстве Сергея Яковлевича она не усомнилась даже тогда, когда — это уже 30-е годы — отчетливо осознала его неспособность к трезвым оценкам процессов, развивавшихся в Советском Союзе. Там, где ему упрямо виделось торжественное шествие справедливости, сама она явственно различала лик зла. Но не в ее силах было снять бельма с его глаз...

Письма Эфрона, его статьи, а также отзывы людей, хорошо и долго его знавших, рисуют облик человека, по-своему незаурядного и разносторонне одаренного. Его ранняя книжка «Детство», удостоившаяся одобрительной рецензии Михаила Кузмина, два его рассказа, созданных на материале

гражданской войны, и превосходный документальный очерк «Октябрь» не оставляют сомнений в его литературной талантливости. Наделен он и хорошими актерскими данными: в Праге, в ансамбле с профессиональными актерами, успешно сыграл роль Кудряша в «Грозе» Островского, а в дружеском кругу с блеском пародировал знакомых, изображая забавные сценки. Превосходный организатор издательских начинаний, он в Чехии и во Франции участвует в создании и выпуске журналов «Своими путями» и «Версты». Его неумная энергия, абсолютное бескорыстие и контактность приводят к тому, что он постоянно — и с видимым удовольствием — тащит на себе груз самых разнообразных общественных должностей: от казначея русского студенческого союза в Праге до председателя «Евразийского клуба» в Париже.

Красивый, мягкий, жизнерадостный, мастер веселой шутки, и импровизационных розыгрышей, он привлекает к себе симпатии самых разных людей; его человеческое обаяние бесспорно. Его охотно зазывают в гости, приглашают вместе путешествовать на машине по Франции, помогают устроиться в санаторий, когда он заболевает. С ним легко и с ним интересно. Но привлекает к нему не просто легкость характера, остроумие и доброта, привлекает его искренняя одержимость благородными альтруистическими идеями.

В нем нет ничего от «светского» остроумца и болтуна. Обилие друзей и знакомых не мешает осуществлению одной из важнейших потребностей его натуры — потребности действия. В какой бы период зрелой жизни Эфрона мы ни взгляделись — он всегда на службе той или иной благо-

родной (в его глазах) «идеи». В московские студенческие годы — идет первая мировая война — он уходит добровольцем в санитарный поезд, братом милосердия, несмотря на крайне слабое здоровье. В самые первые дни гражданской войны он уже в рядах Добровольческой белой армии. В 1926 году в Париже (политические взгляды его к этому времени претерпели крутую эволюцию) он радуется, что выход первого номера его детища — журнала «Версты» — вызвал настоящую бурю в кругах правой русской эмиграции. Лучше всего он чувствует себя, оказываясь в эпицентре кипучей деятельности, тяжелее всего переносит «тихие» периоды, когда приходится думать о зарплатке, служебном устройстве и бытовых проблемах.

Но сказать об Эфроне — «деятельная натура» — еще не значит назвать главную пружину его личности. Его энергия всякий раз на службе острейшего чувства высокого долга. И чем больше требуется от него личных усилий и жертв, тем, кажется, тверже он уверен в верности избранного пути.

Его недостатки, как это часто случается, были продолжением его достоинств. Ибо он торопился предложить свои силы, энергию и самоотверженность, *не успев взглядеться* в смысл схватки, в которую ввязывался. Жажда действия всегда опережала в нем осознание мотивов действия, она явно сильнее его способности к трезвому анализу ситуации. Он чересчур доверчив — и политически недальновиден, а тянет его все время как раз к активному участию в открытой (или скрытой) политической борьбе.

Для характеристики Эфрона немаловажно то обстоятельство, что вырос он в семье народовольцев. Героическая биография его матери, Елизаветы Дурново, юной девушкой покинувшей обеспеченную жизнь дворянской семьи ради подпольной революционной деятельности, несомненно, оказала на Сергея Яковлевича могучее влияние. То ли в шутку, то ли всерьез он рассказывал друзьям, что еще в семь лет «прятал бомбу в штанах». Прятал ли он бомбу на самом деле — неизвестно, но достоверно, что маленьким мальчиком уже ходил в тюрьму на свидания с матерью и знал множество романтических и опасных эпизодов ее нелегкой судьбы. Так, почти генетически, он нес в себе наследие народовольческой российской интеллигенции — с ее политическим максимализмом, жертвенной самоотреченностью и тем комплексом, который Юрий Трифонов емко называл «нетерпением».

В начале 1930-х годов из Франции в Россию стали один за другим уезжать его друзья-эмигранты, у которых биографии были более спокойными. Он радовался за них, провожал — и уходил с вокзала с болью в сердце. Он подал прошение о советском паспорте в июне 1931 года. Но тут-то, видимо, и натолкнулся на жесткое напоминание о своем белогвардейском прошлом — и на требование искупления. Он счел это справедливым. Тем более что поначалу речь шла о чисто культурной работе в Союзе возвращения. Легко себе представить, как горел он желанием убедить тех, от кого зависела его судьба, что он уже не тот, не прежний...

Так вступил он на первую ступеньку, которая привела его в западню. Вербовщики иностранного

отдела НКВД вели свою работу с тонкостью профессиональных психологов. Одно из первых предложений Эфрону было сделано неким обаятельно мягким интеллектуалом из числа советских служащих в Париже. Он предложил помощь в субсидировании какого-нибудь «евразийского» издания, — о, конечно, без всякого вмешательства в дела редакции... Постепенность, неторопливость в плетении и затягивании паутины, продуманный выбор «случайных» собеседников — кто сочинял все эти спектакли-ловушки, кто обучал лицедеев, кто разрабатывал режиссуру? Исторически несправедливо, что до сих пор остаются неизвестными имена московских виртуозов, сумевших одурманить не только доверчивого Сергея Эфрона, но и таких маститых волков политики, как Шульгин или Савинков...

Прекраснодушные Эфрона, соединенное с острым чувством вины перед родиной, незаметно вывело его на путь нравственного разрушения. Чем дальше, тем больше его способность к независимым суждениям сдавала свои позиции. Можно было бы сказать, что это лишь доказало невысокий уровень его независимости и слишком управляемое нравственное чувство. Конечно, это так. Но этим и интересен нам феномен Эфрона. Мы размышляем, вглядываясь в его судьбу, не просто о муже Цветаевой. Проследивая перипетии его эволюции, думается о многих и многих людях, позволивших уговорить свою совесть — и незаметно, шаг за шагом, отучавшихся трезво оценивать происходящее, ступенька за ступенькой спускавшихся по лестнице оправдания зла — вплоть до соучастия в нем.



За полгода до страшной осени 1937 года Цветаева написала эссе «Пушкин и Пугачев». Посвящено оно теме как будто совсем сторонней: речь идет здесь (поначалу, во всяком случае) о Пугачеве — герое пушкинской «Капитанской дочки». Но меня не перестает занимать вопрос, чем именно вызвана к жизни эта цветаевская работа, почему из всего пушкинского наследия оказалась выбрана для размышлений эта неожиданная проблема? Сама Цветаева обозначила ее как тему «чары», застилающей сознание, «чары», заставляющей *сквозь все злодеяния видеть в предмете любви лишь «оборот добра»*. Так с детских лет она сама любила пушкинского Вожатого, с его «загадкой злодеяния и чистого сердца». Зло с добрым ликом и добро со злыми проявлениями — это сочетание, утверждает Цветаева, есть великая обольщающая сила, сопротивляться которой чрезвычайно трудно. Цветаевские ассоциации всегда придают ее наблюдениям объемную многозначность, они тяготеют к размышлениям над закономерностями самого бытия. Но, поглядывая на дату написания эссе, трудно отделаться от впечатления, что в «Пушкине и Пугачеве» нашли свое отражение и раздумья автора над тем, что происходило вокруг — в середине 30-х годов XX века.

Авторитет Страны Советов среди «левой» интеллигенции Запада в эти годы необычайно высок. Успехи социалистического строительства многим представляются неоспоримыми, а главное — СССР видится единственным надежным оплотом в борьбе с наглежащим год от года фашизмом. Правда, в Москве уже прошел не один процесс над «преступниками», в преступление которых *трез-*

тому человеку трудно поверить. Процессуальные странности бросались в глаза. Публиковавшиеся в московских газетах коллективные письма-требования трудящихся «стереть с лица земли» «врагов народа» были чудовищны. Но даже милюковские «Последние новости» писали, что обвинения против Каменева и Зиновьева при всех нелепостях звучат убедительно.

Что же говорить о тех русских эмигрантах, которые жили мечтой о возвращении на свою землю! «С. Я. с головой ушел в Советскую Россию, а в ней видит только то, что хочет», — писала Цветаева о муже. И таких, как он, множество: в приемные дни в советском посольстве на улице Гренель с середины 30-х годов не протолкнуться, число прошений о возвращении растет с каждым днем.

«Иллюстрированная Россия» публиковала фотографии вымерших от голода украинских деревень, статья в другом эмигрантском журнале приводила данные о числе заключенных, погибших на строительстве Беломорского канала; из России шли сдержанно-кислые письма от ранее уехавших... Но чара любви и веры броней закрывала от сомнений русских, истосковавшихся на чужбине. Не возымела сколько-нибудь убедительного воздействия и предостерегающая книга Андре Жидда «Возвращение из СССР», написанная после трехмесячного пребывания писателя в Москве во второй половине лета 1936 года. В ней Андре Жид, еще недавно горячий энтузиаст сближения с СССР, резко сменил свои оценки и попытался отрезвить западных «левых», предостеречь от идеализации процессов, происходящих в России. «Клевета! Предательство! Он ничего не понял!» — так говорят о

книге в кругу ближайших друзей Сергея Эфрона. Зато неизгладимое впечатление производят на них советские фильмы — «Чапаев», «Путевка в жизнь», «Семеро смелых». А еще — гастролы приехавшего из Москвы ансамбля песни и пляски Красной Армии, а еще — замечательные перелеты советских летчиков через океан, и, конечно, крепнущая мощь новой советской индустрии... Собираясь вечерами вместе на улице де Бюси, 12, в Союзе возвращения, они поют советские песни. Одна из самых популярных в эти годы — «Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звеня, страна встает со славою на встречу дня...» — из кинофильма «Встречный», музыка Шостаковича.

В августовском номере журнала «Наш Союз» за 1937 год было опубликовано письмо из СССР, подписанное одним именем: «Аля». Письмо было большим, но главная информация, которую оно несло, была не фактографическая, а эмоциональная. Это — ликующее письмо человека, опьяненного свершением самой сокровенной своей мечты. «Великая Москва, сердце великой страны! <...> Как я счастлива, что я здесь! И как великолепно сознание, что столько пройдено и что все — впереди! В моих руках мой сегодняшний день, в моих руках — мое завтра, и еще много-много-много, бесконечно много радостных «завтра»...»

Можно с уверенностью сказать, что строки эти написаны Ариадной Сергеевной Эфрон. К совпадению сроков и имени добавим еще то, о чем мы уже знаем: в редакции журнала в это время играет виднейшую роль Сергей Яковлевич Эфрон. Пройдет всего два года, и 27 августа 1939 года Аля станет первой в семье жертвой сталинских безза-



Советское полпредство в Париже на улице Гренель

коний — она будет арестована в поселке Болшево под Москвой, на глазах матери и отца...

Коротко проследим теперь за судьбой Эфрона после его отъезда из Франции.

Пароход из Гавра прибыл в октябре 1937 года в Ленинград. Здесь Сергей Яковлевич пришел на Саперный переулок, 13, в квартиру своей старшей сестры Анны Яковлевны. Они сразу вышли на улицу и разговаривали, гуляя. Сестра Эфрона не хотела, чтобы о приезде брата узнали ее дочери и больной муж: в 30-е годы ее уже не однажды вызывали в НКВД, интересуясь посетителями дома. Вечером того же дня Эфрон уехал в Москву. Здесь он поселился вначале в гостинице «Метрополь», в прекрасном номере, через некоторое время

его перевели в другую гостиницу, более скромную, «Центральную». Он встретился с дочерью и другой сестрой, Елизаветой Яковлевной Эфрон. Племянница, приехавшая из Ленинграда спустя несколько месяцев, запомнила его невеселым. Сергей Яковлевич был приветлив, но сказал странную, запомнившуюся ей фразу:

— Скоро я, наверное, уеду — далеко и надолго...

В декабре 1937 года в Москву приехал И. Г. Эренбург. Он пробыл тут несколько месяцев и описал позже в мемуарах ту атмосферу всеобщего страха и растерянности, которую застал на Родине. Виделся ли он с Эфроном? Привез ли в мае 1938 года, когда возвращался в Испанию через Париж, какие-нибудь сведения о муже и дочери для Марины Ивановны? Этого мы не знаем.

В феврале 1938 года газеты сообщили о внезапной смерти начальника иностранного отдела НКВД А. А. Слуцкого. Гроб с его телом был выставлен для прощания в клубе НКВД — и, как сказано в одном из мемуаров, опытному глазу чекистов пятна, проступившие на лице их бывшего начальника, выдали насильственную смерть: действительно, Слуцкого заставили выпить цианистый калий в кабинете заместителя Ежова Фриновского.

Весной 1938 года здоровье Эфрона резко ухудшилось. Его помещают в больницу, а затем отправляют в санаторий. Один из диагнозов — кардионевроз, но, видимо, присоединились и другие болезни. Приступы стенокардии будут мучить его и перед самым арестом осенью 1939 года. Но пока, судя по всему, он достаточно обеспечен и числится на службе в НКВД.

С октября 1938 года Эфрон поселяется под Москвой в Болшеве — в том самом доме, где в августе 1936 года застрелился оклеветанный бывший председатель советских профсоюзов М. П. Томский. Аля хлопочет, наводя уют в жилище, — у них с отцом, как и во Франции, самые нежные отношения. «Здесь прелестно, — пишет Эфрон 12 октября в Москву Елизавете Яковлевне. — Все совершенно в твоём духе — сплошная «сельскость». Аля все очень мило и трогательно приготовила. Она из кожи лезет, чтобы мне во всем помочь...» И 13 ноября 1938 года: «Живу тихо — так тихо, что словно и не живу...»

## 3

Теперь, когда Эфрона во Франции уже не было, Цветаевой предстояло единолично решать вопрос — оставаться или уезжать в Советскую Россию. Единолично — но не свободно. В Россию по-прежнему жарко рвался сын, вынужденный уйти из гимназии из-за враждебного отношения к нему как учителей, так и соклассников. Но и вообще, считала Цветаева, у него не было будущего во Франции. Не видела она будущего и для себя. После всего случившегося оставаться во Франции было невозможно.

Прошение о визе на въезд в СССР она подала в начале зимы 1937 года. Пора было готовиться к отъезду. И главное — разобраться с рукописями — с архивом. Когда Слоним увиделся с Цветаевой в начале 1938 года, Марина Ивановна уже владела собой. Лицо ее было по-прежнему осунувшимся, измученным, но она была собранна — никаких следов внешней растерянности. Почти ни с кем не

встречаясь, избегая даже близких знакомых, она с головой ушла в свое главное дело, неизменно спасавшее ее при всех жизненных потрясениях.

Она приводила в порядок свой архив — как перед смертью. Собирала все публикации в журналах; аккуратно надрезала ниточки, сшивавшие номер, и вынимала свой текст. Если чего-то не находила в Париже, просила друзей из Чехословакии прислать недостающее. И не просто собирала — а и внимательно перечитывала, чтобы решить, что можно взять с собой в Россию, а что нельзя. Перечитывала и сортировала не только публикации, но и переписку. «Тяжелое это занятие, — писала она одному из своих друзей, — строка за строкой — жизнь шестнадцати лет, ибо проглядываю — все. (Жгу — тоже пудами!)»

В начале 1938 года стало окончательно ясно, что местожительство надо менять. Ванв оказался последним предместьем Парижа, в котором Цветасвой довелось жить. За четыре года, которые здесь прошли, она успела полюбить тихую улицу, каштан перед окнами, куст бузины, воспетый в ее стихах. Но на ванвских улицах все это время соседи провожали ее косыми взглядами, а бывшие одноклассники Мура в лицо выкрикивали оскорбления. Предвидеть все это было нетрудно, и благоразумнее было уехать еще раньше. Но в том шоке, который пережила Цветаева в октябрьские дни прошлого года, кто смог бы хладнокровно предусмотреть все последующее? Разве что тот, кто заранее знал о пороховой бочке, врытой под фундамент их дома.

Враждебность ванвских соседей постоянно по-

догревалась эмигрантской прессой — та настойчиво возвращалась к «делу Рейсса» и похищению генерала Миллера. В июне 1938 года еженедельник «Новая Россия» публикует в двух номерах статью Зензинова «Мокрое дело в Лозанне». В июле появился огромный подвал в «Последних новостях» под названием «Агенты Ежова за границей». Имя Эфрона постоянно фигурировало в этих публикациях...

Через пять дней после выхода в свет номера журнала с окончанием статьи Зензинова Цветаева перечитывала присланный ей из Праги старый номер журнала «Воля России» за 1927 год. Она читала там свою прозу «Октябрь в вагоне», составленную из дневниковых записей осени 1917 года. События двадцатилетней давности вставали в ее памяти. Тогда она возвращалась из Крыма в Москву в мучительной тревоге за судьбу Сергея Яковлевича, участвовавшего в московских боях. Прочтя в газете, купленной на одной из южных станций, сообщение о девяти тысячах убитых в Москве, она принялась писать в свою тетрадку письмо к мужу. Ей казалось, что пока она говорит с ним, пишет ему, — он будет жив. Ничего не зная достоверно, она уверена была, что он не остался в стороне от событий. «Главное, главное, главное — Вы, Вы сам, Вы с Вашим инстинктом самоистребления. Разве Вы сможете сидеть дома? Если бы все остались, Вы бы один пошли. Потому что Вы безупречны. Потому что Вы не можете, чтобы убивали других. Потому что Вы — лев, отдающий львиную долю: жизнь — всем другим — зайцам и лисам. Потому что Вы беззаветны, самоохраной брезгуете, потому что «я» для Вас не важно, потому что я



все это с первого часа знала. Если Бог сделает это чудо — оставит вас в живых — я буду ходить за Вами как собака!»

Отчеркнув теперь эти абзацы, Цветаева вписала рядом, на полях:

«Вот и пойду как собака! — 17.VI.1938 г.» Помета звучит многозначно. Можно прочесть в ней простое подтверждение верности обету, данному в страшные часы октябрьских событий в Москве. Но не слышнее ли здесь интонация подневольной обреченности?.. Свободного выбора — идти или оставаться — у Марины Ивановны больше не было. Сказав свое первое «да» искуителям с улицы Гренель, ее муж определил не только собственную судьбу. Он предрешил судьбу всей своей семьи.

## 4

На последние месяцы последнего лета во Франции они уехали в Див сюр Мэр, департамент Кальвадос, на западное побережье. Здесь была суровая и прекрасная природа — дюны, скалы, ровная линия морского побережья. Удалось ли тут Цветаевой хотя бы на время сбросить душевный гнет или хотя бы ослабить его? Хочется думать, что так. Запасы могучей витальности ее натуры даже теперь были далеки от оскудения. «Меня хватит еще на сто пятьдесят миллионов жизней», — писала она Юрию Иваску весной 1935 года. Ее достало с тех пор, во всяком случае, еще на шесть с лишним лет. И каких! Необычайная сила духа, черпавшая обновление, кажется, из чистого воздуха, упрямо выталкивала ее на поверхность жизни, как бы ни был чудовищно тяжел камень, сбрасывавший ее раз за разом на дно. В этой способности к воскре-

шению и самообновлению было что-то сродни умиранию и воскрешению жизни в круговороте времен года. Это сравнение мы находим и в цветаевской лирике: «Невозвратна как время, но возвратна как вы, времена года», «Невозвратна как вечность, но возвратна как первые дни вёсен...»

Ее поэтические самохарактеристики в зрелые годы точны и глубоки, в них нет ничего от позы и все — от трезвого (часто беспощадного к себе) знания.

Как это ни парадоксально, но Цветаева представляется подчас чуть ли не эталоном жизненной цепкости — несмотря на трагический конец. Рок отнимал у нее год за годом — ребенка, Родину, читателя, семью, веру в близкого человека, а теперь даже надежду на возможность дальнейшего поэтического творчества. Легче спросить, что он ей оставил к осени 1938 года, кроме сына? И однако — оставил. Оставил то, что у нее можно было отнять только — не говорю «с жизнью», говорю — с ясностью ее сознания. Столп, на котором она стояла, как столпник, все свои зрелые годы, теперь,



Декабрь 1911 г.  
За несколько недель  
до свадьбы

к концу ее жизни, стал прочнее прочного: «нерукотворные ценности и недоказуемые угоды духа» — так она сама это назвала в эссе «Кедр».

Одно место из цветаевского письма, написанного уже в начале 1939 года, помогает сказать об этом более отчетливо. В письме Марина Ивановна поздравляла с Новым годом Тескову, разделяя вместе с ней горе всей униженной Чехословакии: «Дай Бог — всего хорошего, чего нету, и сохрани Бог — то хорошее, что есть. А есть — всегда — хотя бы вот моральный закон внутри нас, о котором говорил Кант. И то — звездное небо!» В этих строках — приоткрывшееся окно в тайную сокровищницу цветаевской духовной стойкости. Так живет она сама. Так справляется с жизненными бедами и катастрофами, ускользая, едва ослабнут тиски «обстоятельств», в тот мир, который она зовет «иным» — но о котором однажды (в письме к Пастернаку) внятно сказала, что «он уже весь в нас». Сколько бы ни терзала ее сердце земная боль, это богатство всегда остается с ней: просторное измерение духа, в котором поместились тайны бытия и усилие человека, устремленное к их постижению.

Она рано выбрала для себя эту «среду обитания» как главную: вне эмпирических «обстоятельств». Да и выбирала ли? Эта среда была для нее органичной. Неприспособленная к житейским сложностям, неумелая, а иногда и нелепая в практических делах и отношениях, здесь она чувствовала себя дома, и именно в этом доме, а не в тех — медонском или ванвском, — ощущала себя повелевающей и свободной хозяйкой. Если она и «романтик» (определение, надоедливо, а часто и бес-

смысленно кочующее по страницам статей и книг о Цветаевой), то не «головной», не «литературный», а прирожденный, — и, может быть, в конце 30-х годов это очевиднее, чем когда-либо. Ибо в тех испытаниях, какие выпали теперь на ее долю, не оставалось уже ни сил, ни воздуха для «фразы», маски или игры.

Много раз она повторяла — в стихах, прозе, письмах, — что не умеет жить «в днях», обозначенных на календаре, в минутах, фиксируемых часовой стрелкой на циферблате, они всегда были ей враждебны, дробя жизнь души, мешая внутренней работе духа. В этом можно видеть ее слабость — она и в самом деле не была образцом «таланта жить» в сегодняшнем мгновении. Но обратной стороной этой слабости и неумелости являлась ее поразительная способность обновляться и воскресать — в ситуациях, которые раздавили бы насмерть человека, не имевшего ее запаса духовной прочности. Ибо она легко обходилась без многого и дышала тем особым кислородом, запасы которого меньше зависели от людских бед.

Природа всегда помогала ей в душевном обновлении. Вечное и прекрасное отодвигало временное и удушающее, долгие прогулки восстанавливали внутреннее равновесие. Море, холмы, старые деревья, старые фермы, вечно юная зелень с вечно жующими коровами... Она воспринимала теперь все это как дарованную судьбой последнюю передышку. И все же ужас перед будущим не покидал ее и здесь ни на минуту. В одном из писем, отправленных из Див сюр Мэр, она прерывает вдруг спокойную интонацию письма неожиданной

скобкой: «О боже, боже, боже, что я делаю!!!»

Тем не менее она продолжает свою работу над приведением в порядок всего, что ею создано. Переписывает в тетрадь с твердой обложкой поэму «Перекоп», так и оставшуюся при ее жизни неопубликованной. И в ту же тетрадь — другую неизданную книгу — «Лебединый стан», стихи 1918—1920 годов. Но работа над архивом — это не только переписка набело. Марина Ивановна дописывает множество поэтических вещей, оставленных в разные годы с пропусками строк, слов, рифм, меняет редакции некоторых ранних стихотворений, а кое-какие снабжает комментариями. Допишет она и вторую часть «Повести о Сонечке»...

И вот заканчиваются последние дни у моря. Во второй половине сентября Цветаева с сыном поселяются уже в Париже, в отеле «Иннова», неподалеку от той самой станции метро, где под колесами поезда в конце 1934 года нелепо погиб друг Цветаевой поэт Николай Гронский.

Комнаты отеля расположены по обе стороны длинного темного коридора, насквозь пропахшего невытравимым запахом кошек и жареного лука. Двери номеров тонкие, и в коридоре постоянно слышны громкие голоса ссорящихся соседей. Здесь, на шестом этаже в комнате № 36, Цветаевой суждено прожить до самого отъезда в Россию. Редкие гости, навещающие ее в это время, с трудом пробираются между ящиками и кухонной утварью, загромоздившей номер, — сразу видно, что для его обитателей это что-то вроде перевалочного пункта: в любой момент они готовы сняться с места, чтобы ехать дальше. Однако жизнь на чемоданах затянется еще на целых девять месяцев.

Хаос, впрочем, может царить в комнате, но не на рабочем столе, за которым Цветаева долгими часами сидит, склонившись над рукописью.

Немногие уцелевшие письма Цветаевой этого времени заставляют понять, что уже с лета 1938 года она живет в постоянном ожидании известия о дне отъезда. Она не сама его выбирает, как не выбирает и маршруты возвращения — все решается в советском полпредстве на

улице Гренель. А может быть и в Москве. «Я давно уже не живу, — признается она в одном из сентябрьских писем, — потому что такая жизнь — не жизнь, а бесконечная оттяжка: затянувшаяся оттяжка или бессрочная отсрочка. Приходится жить только сегодняшним днем — без права на завтра; без права на мечту о нем! А я всегда жила «перспективой»...» И далее: «ненавижу гостиницу, в такой жизни для меня что-то позорное, точно я другого не заслужила! Пусть изба (как годы было в Чехии) — но не «chambres meublées»<sup>1</sup>!

Прошел год с момента, когда почва под ее



Бульва Пастер, отель  
«Иннова»

<sup>1</sup> Меблированные комнаты (фр.).

ногами, казалось, навсегда потеряла надежную твердость. Под грузом бед естественно было бы оглохнуть и ослепнуть, по крайней мере, к тому, что происходит вокруг нее во внешнем мире. Или — видя и слыша — отстраниться. Атрофия активных реакций на то, что не затрагивает лично, вряд ли могла бы нас удивить.

Но как раз этой осенью Цветаева снова взрывается стихами, разбивающими в прах предположение о продолжающейся депрессии. То были «Стихи к Чехии».

Еще в мае 1938 года в письме к Тесковой она горячо отозвалась на известие о частичной мобилизации, которую чешское правительство вынуждено было объявить в ответ на непрекращавшиеся угрозы со стороны Германии. «Думаю о Вас непрерывно, — писала Цветаева, — и тоскую, и болею, и негодную — и надеюсь — с Вами. Я Чехию чувствую свободным духом, над которым не властны — тела. А в личном порядке я чувствую ее своей страной, родной страной, за все поступки которой — отвечаю и под которыми — заранее подписываюсь. Ужасное время».

И все-таки, несмотря на тревогу, Марина Ивановна еще надеялась, вплоть до последних чисел рокового сентября, что здоровые силы европейского общественного мнения сумеют удержать свои правительства от предательской сделки. Для нее, всегда отстранявшейся от сиюминутных политических страстей, было совершенно ясно, к чему может привести тактика «частичных» уступок ненасытному аппетиту фашистских режимов. К этому времени Абиссиния уже проглочена войсками Мус-

солини, аншлюс Австрии Гитлером сочтен почти «домашним» соглашением; генерал Франко в Испании получает все более открытую и возрастающую помощь Германии и Италии. До последнего дня Цветаева ждет, что французское правительство, все еще называющее себя правительством Народного фронта, сумеет защитить интересы Чехословакии, — разве не ясно,



А. А. Тескова

что последует за отторжением Судет, то есть очередным попустительством? «Ты предал — предадут и тебя, — напишет она Тесковой. — Кому предал — тот и предаст. Только жаль, что платить будут — невинные, знавшие и не могшие ничего предотвратить». Даже в самый канун Мюнхенского соглашения ей трудно поверить, что несколько слепцов сумеют повести за собой зрячих. Но ее провицательность спотыкалась в оценке настроенности французского обывателя. «Вчера, — радостно сообщала она Тесковой 24 сентября, — наше жалкое Исси ле Мулино (последнее предместье, в котором мы жили<sup>1</sup>) выслало на улицу четыре тысячи манифестантов. А нынче будет — сорок — и кон-

---

<sup>1</sup> Парижские предместья, опоясывая Париж, переходят одно в другое. Противоположная сторона улицы, на которой Цветаева жила в Ванве, относится уже к Исси ле Мулино.



чится громовым скандалом и полным переворотом».

Но правительство Даладье, время от времени раздражавшееся заверениями о готовности защитить Чехословакию от германских притязаний, имело свои представления о том, чего именно ждут от него французы. Страх войны, пропитавший европейский воздух второй половины 30-х годов, успешно вытравлял остатки зрячести, отнимал способность к здравому смыслу и элементарному предвидению. «Какое нам дело до чехов, мир любой ценой!» — этих выкриков, звучавших повсеместно в уличной толпе, Цветаева упорно не слышала — или не хотела слышать. Напряженность, неподадельность боли за край, ставший родиной ее сына, заставляли ее цепляться за надежду. В том же письме, написанном за пять дней до Мюнхенского соглашения: «День и ночь, день и ночь думаю о Чехии, живу в ней и ею, чувствую изнутри нее: ее лесов и сердец...»

И вот «безумие и преступление», как она это называет, свершится. Поначалу Цветаевой еще кажется, что не все потеряно, еще исправимо. Чуть ли не впервые в жизни она жадно читает этой осенью и зимой газеты — и находит там строки, под которыми подписалась бы обеими руками, «изнутри лба и совести», как она говорит. Это голоса ее единомышленников, заполнивших левую прессу возмущенными протестами. Среди них Цветаева, ликуя, выделяет имена Ирэн и Жюлио Кюри. «Лучшая Франция: толпы и лбы — думают и чувствуют, как я», — пишет она Тесковой.

Однако день идет за днем, и ей приходится убедиться в том, что «лучшая Франция» и мало-

численна и бессильна. В Париже повторяют слова Леона Блюма: «Мое сердце разрывается между стыдом и чувством облегчения». Городской муниципалитет публикует постановление о переименовании одной из парижских улиц в «Улицу 30 сентября». Правые газеты объявляют подписку на подарок «миротворцу» Чемберлену. В ноябре «миротворец» посетит столицу Франции, и Цветаева с презрением опишет в очередном письме к Анне Антоновне благодарную встречу, которую ему здесь приготовили. «Дамы в голом и мужчины в черном» лебезят перед старым благодушным господином, не способным и мухи обидеть... «Волки и лисы» предали Чехию, формулирует Цветаева, «малодушие, косность и жир <...> сделали то, что сделано».

Письма к ее чешской приятельнице теперь особенно учащаются. И это не просто акт дружбы и сочувствия в тяжкий момент испытаний. Это связано еще и с тем, что чем дальше, тем меньше находит Цветаева вокруг себя людей, чья реакция на происходящее вызывала бы ее уважение. Теперь ее уже раздражает «словесность», как она это называет: нужна действенность в сочувствии, последовательность в оценке и поведении, а не ахи и охи, приправленные восклицаниями: «Какой ужас!» «Но отсутствие выводов не только свойство народов и народа, а и так называемых «культурных людей», — пишет Цветаева.

Страстность цветаевской реакции на чешский «инцидент» может удивить тех, кто одномерно толковал ее отстраненность от «злобы дня» и ненависть к политике. По сути же в этой реакции нет ничего, что можно было бы счесть «выпадением из

образа». Наоборот, в очередной раз Цветаева обнаруживает цельность и действенность своей натуры. Любить кого-либо или что-либо в ее глазах всегда значило — помочь, вызвать из беды, подставить плечо, протянуть руку. Возмущение и сочувствие, не подкрепляемые поступками, она презрительно именovala «словесностью». «Никогда не жалела, что мне не двадцать лет, — пишет она теперь Тесковой. — И вот, в первый раз — за все свои не-двадцать — говорю: Я бы хотела быть чехом — и чтобы мне было 20 лет: чтобы дольше драться...»

Кажется, впервые она горюет о том, что у нее нет «имени», чтобы ее протест прозвучал весомо; нет какого-нибудь отличия, чтобы «швырнуть» его в лицо правительству, запятнавшему честь страны. «Чувство опозоренности за Францию», о котором она пишет в эти дни Анне Антоновне, предельно обострено ощущением почти соучастия: «точно я, живя во Франции, — соубийца».

Да, отличий, которые можно было бы «швырнуть в лицо», нет, нет «имени» — но в распоряжении Марины Цветаевой есть свое оружие. И она обращается к нему. «Стихи к Чехии», созданные в ноябре и продолженные затем в трагическом марте 1939 года, — не уступают по страстности лучшим образцам цветаевской любовной лирики. Гражданское чувство гнева и попранной справедливости слилось в них с бескрайней благодарностью щедрому краю, ставшему «родиной всех, кто без страны»; любовный гимн чешскому народу, чешским горам и долам слился с презрением к «сытости сытых», отдавших страну в руки преступников.

Только край тот назван  
Чешский — дождь из глаз!

Жир, аферу празднуй!  
Славно удалась.

Жир, Иуду чествуй!  
Мы ж, в ком сердце — есть:  
Есть на карте место  
Пусто: наша честь

Уже 24 ноября первые три стихотворения цикла (позже они будут объединены под названием «Сентябрь») отосланы в Прагу.

Цветаева просит Тескову показать ее стихи чешским поэтам и вообще всем, кому сочтет нужным, «чтобы знали, что есть один бывший чешский гость, который добра — не забыл». Скоро она получит известие, что стихи ее уже переводятся на чешский.

Все оставшиеся до отъезда месяцы над рабочим столом Цветаевой в убогой комнатке убогого отеля висит увеличенная фотография ее любимого «пражского рыцаря», стерегущего Влтаву под Карловым мостом в Праге. Стройный воин, воплощение благородства и мужества, он для нее теперь — символ несломленного духа Чехии. Цветаева собирается писать о нем поэму. Она жадно читает чешские легенды и вообще — чешских прозаиков и поэтов. Просит Тескову прислать ей книжки по чешской истории и географии. И еще — выпрашивает ожерелье из богемского хрусталя, чтобы носить его, не снимая. У случайного встречного выменивает картонную коробочку для булавок, отдавая за нее добротный кожаный кошелек, только из-за того, что на коробочке вытеснено: «Ргаһа». «Все это, конечно, чепуха, — признается она Анне Антоновне, — но такую чепухой любовь — живет...»

## 5

Во второй половине декабря в Париж приехал на две недели из Эстонии поэт и критик Юрий Иваск. Они увиделись с Цветаевой впервые, но переписывались уже пять лет. Иваск был автором довольно обстоятельной статьи о Цветаевой, появившейся в 1935 году в эстонском журнале «Новь». «Романтическое в классическом, стихийное в логическом, эрос в логосе, стихия в системе» — так характеризовал критик своеобразие цветаевского поэтического творчества. Статья Марину Ивановну в целом порадовала. «Во всяком случае, — написала она автору, — Вы первый, кто (за 25 лет печатания и добрых 30 непрерывного писания) отнесся ко мне всерьез». Иваск намеревался расширить статью до книги и даже успел уже многое написать, но книга так и не вышла: рукопись ее странным образом затерялась. Переписка же оказалась необычайно содержательной (цветаевские письма Иваск опубликовал в 1956 году): эстонский корреспондент неутомимо задавал Цветаевой множество конкретных вопросов, касавшихся ее творческой и личной биографии, литературных и личных пристрастий, — и она охотно и терпеливо отвечала, иногда, правда, вступая в довольно резкую полемику.

Теперь они встретились. И сразу почувствовали себя друг с другом просто и свободно, будто век были знакомы. Иваска поразила поначалу ее манера беседовать, глядя вбок, как бы мимо собеседника, удивили ее странные угловатые жесты, которые он назвал «птичьими» (совершенно независимо от Иваска точно то же сравнение употре-

бил и Харджиев, рассказывавший мне о встрече с Цветаевой в 1941 году), сильная проседь в волосах и почти мертвенная бледность. Резким контрастом рядом выглядел розовощекий пухлый тринадцатилетний Мур.

Они виделись в заставленной вещами комнатке отеля, но кроме того, много гуляли по парижским улицам, подолгу сидели в маленьком кафе «Бель Эр» на авеню дю Мэн. В декабре стояла тогда необычная для Франции морозная погода. Собор Парижской богородицы тонул в снежных сугробах. Замерзнув на улицах, они заходили отогреться в парадные. На Цветаевой было легкое пальто с поднятым вязаным воротником и странная шапочка: колпачок с кисточкой. Говорилось легко, о чем придется. Марина Ивановна много вспоминала — и о своем детстве, и о свадебном путешествии 1912 года, и о последних годах в Москве. По просьбе Иваска охотно читала стихи. Возник и вопрос, который Марина Ивановна в эти месяцы задавала всем: где, как сохранить ее архив? Не возьмет ли Юрий Павлович с собой один из пакетов? Но Иваск не считал надежным место, где он теперь



Ю. П. Иваск  
(публикуется впервые)

жил — Печоры, — и посоветовал отдать книги, оттиски и рукописи на хранение Е. Э. Малер, профессору русской культуры в швейцарском городе Базель. Незадолго до встречи с Цветаевой Иваск как раз виделся с Елизаветой Эдуардовной и уже знал от нее, что с Цветаевой они знакомы с лета 1935 года, проведенного обеими в Фавьере. Совет Иваска оказался лучшим из всех: пропала часть архива, переданная Цветаевой в Амстердамский архив социальной истории; погибла во время войны и другая, переданная на хранение М. Н. Лебедевой; в Базельском университете все сохранилось в целости.

Говорили они с Иваском, разумеется, и о предстоящем возвращении Цветаевой в Россию. И хотя вопрос был для Марины Ивановны как будто уже решен, Иваску все же показалось, что она ждала, чтобы кто-нибудь энергично переубедил ее, отговорил, привел непреложные аргументы — и даже увез в какую-нибудь совсем другую сторону...

Новый, 1939 год, принесший миру начало второй мировой войны, а Цветаевой вместе с возвращением на Родину арест мужа и дочери, — наступал в обстановке, далекой от праздничности. В декабре из Испании возвращались бойцы интербригад; до победного парада войск генерала Франко на улицах Мадрида оставалось немногим более двух месяцев.

Из России пришло известие о новом человеке, сменившем Ежова на его посту. Его имя было — Берия, и спустя год оно будет написано рукой Цветаевой — на прошении о свидании с арестованными дочерью и мужем. К концу декабря в Париже

стало известно об аресте в Москве Михаила Кольцова. Сердце Марины Ивановны не могло не сжаться при этой новости: с Кольцовым был хорошо знаком Сергей Яковлевич; Кольцов возглавлял «Жургаз», где работала Ариадна Эфрон. Развязка судеб семьи резко приблизилась.

Под самый Новый год от Али пришла поздравительная телеграмма. Мать и сын нарядили маленькую пышную елочку, немного скрасившую неуют гостиничного номера, сделали друг другу рождественские подарки.

С кем довелось им провести эту последнюю во Франции новогоднюю ночь? Сведений об этом нет — сохранилось очень мало писем Цветаевой 1937—1939 годов...

Круг друзей предельно сузился. И все же мы можем назвать тех, кто не оставил Марию Ивановну в период тяжких испытаний: семья Лебедевых и семья Андреевых, Елена Извольская, Марк Слоним, поэтессы Алла Головина и Ариадна Берг. По свидетельству Извольской, сердечную и деятельную заботу о Цветаевой как раз в это время постоянно проявлял Николай Александрович Бердяев — они сблизились в пору их соседства в Кламаре. Извольская пишет: «Он относился к Марине Ивановне с глубоким состраданием, оберегал ее как больную...»

В литературных собраниях Цветаева больше не показывается. Ее имени нет в газетных отчетах о вечере стихов Ходасевича, состоявшемся в январе; а при дружеском расположении Марины Ивановны к поэту в эти последние годы она — в других обстоятельствах — непременно здесь бы присутствовала.



Мартовские события 1939 года потрясают ее с новой силой: торжество фашизма в Мадриде, окончательное поглощение Чехословакии фашистской Германией. «Чехия для меня не только вопрос справедливости, — пишет Цветаева в одном из писем этого времени, — но и моя живая любовь, сейчас — живая рана...» «Точно тот (Гитлер. — И. К.) по мне в нее вошел...» И с конца марта начинается новый ливень цветаевских стихов; он прекратится всего за двадцать дней до отъезда из Франции. Как всегда, у Цветаевой под каждым стихотворением — точная дата. Но под текстом одного из них — дата «долгая»: 15 марта — 11 мая. Почти два месяца работает Марина Ивановна над последним своим поэтическим шедевром. Стихи еще будут, но шедевр — последний. Его пафос далеко выходит за рамки «чешской» темы, хотя стихотворение и включено в цикл «Стихи к Чехии».

О, слезы на глазах!  
Плач гнева и любви!  
О, Чехия в слезах,  
Испания в крови!

О, черная гора,  
Затмившая — весь свет!  
Пора — пора — пора  
Творцу вернуть билет...

Трагедийное начало впервые ворвалось в цветаевскую лирику еще в годы первой мировой войны. Своего апогея оно достигло в этом стихотворении тридцать девятого года. Мироощущение человека конца 30-х годов, не желающего ни утешать себя иллюзиями, ни отворачиваться от кошмара, разраставшегося на глазах, как морская

язва, выражено здесь с мощью и последнего противостояния.

...Отказываюсь — быть,  
В Бедламе нелюдей  
Отказываюсь — жить.  
С волками площадей  
Отказываюсь — выть.  
С акулами равнин  
Отказываюсь плыть —  
Вниз — по теченью спин.

Не надо мне ни дыр  
Ушных, ни вещей глаз.  
На твой безумный мир  
Ответ один — отказ.

«Безумный мир» — мир рабски согнутых спин, все более подчиняющийся диктату «нелюдей». Это слово часто звучит теперь в стихах и письмах Цветаевой. Кажется, что она уже не по газетным сообщениям, а изнутри самой себя ощущала неотвратимое наполнение зловецей тени, и ужас, который охватывал ее, был сродни тому, который задолго до солнечного затмения заставляет метаться даже самого сильного зверя. До начала второй мировой войны оставалось меньше четырех месяцев.

Двадцать третьего апреля она записывает в своей тетрадке длинный странный сон, который ей привиделся. Сон, поражающий воображение, даже если не придавать ему пророческого смысла, — понятно, что Цветаева торопится его зафиксировать: «Иду вверх по узкой горной тропинке — ландшафт Святой Елены: слева пропасть, справа отвес скалы. Разойтись негде. Навстречу — сверху лев. Огромный. С огромным даже для льва лицом. Крещу трижды. Лев, ложась на живот, проползает

мимо со стороны пропасти. Иду дальше. Навстречу — верблюд, двугорбый. Тоже больше человеческого, верблюжьего роста, необычайной даже для верблюда высоты. Крещу трижды. Верблюд перешагивает (я под сводом: шатра: живота). Иду дальше. Навстречу — лошадь. Она — непременно собьет, ибо летит во весь опор. Крещу трижды. И — лошадь несется по воздуху — надо мной. Любуюсь изяществом воздушного бега.

И — дорога на тот свет. Лежу на спине, лечу ногами вперед, голова отрывается. Подо мной города... сначала крупные подробные (бег спиралью), потом горстки бедных камешков. Горы — заливы — несусь неудержимо, с чувством страшной тоски и окончательного прощания. Точное чувство, что лечу вокруг земного шара, и страстно — и безнадежно! — за него держусь, зная что очередной круг будет — вселенная: та полная пустота, которой так боялась в жизни: на качелях, в лифте, на море, внутри себя. Было одно утешение: что ни остановить, ни изменить: роковое...»

Два года и четыре месяца оставалось земной жизни Цветаевой, когда она увидела этот сон. Но всего четыре месяца — до ареста дочери, всего полгода — до ареста мужа, а еще через три недели увезут на Лубянку и друзей, с которыми она оставалась жить в подмосковном Болшеве. Почему саму ее миновала тогда та же участь? Логического ответа нам ждать не от кого. Не приходится сомневаться, однако, что трагедия семьи расчистила и для нее дорогу на тот свет. Но в апреле 1939 года «ни остановить, ни изменить» уже ничего было нельзя...

Важные для характеристики Цветаевой строки мы находим в ее письме от 15 ноября 1930 года Ломоносовой: «Г-жа Крылова говорила мне о трудности Вашего выбора: либо с мужем в Америку, либо с сыном в Лондоне. Как это ужасно. В таких случаях помогает только одно: СЛУХ. (Wer ist dein nächster? — Der am nothwendigsten braucht<sup>1</sup> — толкование ближнего на протестантском уроке Закона Божьего в моем детстве. Видите — не забыла, хотя с этого уже больше двадцати лет прошло.) Я в жизни всегда выбирала так».

К лету 1939 года почти полностью сменился состав советского посольства в Париже; это не могло не настораживать. Может быть, и еще одно обстоятельство не прошло мимо Цветаевой: в мае в Париж приехал Ф. Ф. Раскольников, до недавнего времени советский полпред в Болгарии. Он приехал в Париж в то время, когда Москва уже год требовала его немедленного выезда в СССР. Однако к этому времени он отчетливо понимал, что его там ждет, и вскоре принял окончательное решение о невозвращении. В Париже Раскольников встречался, в частности, с Эренбургом, — а значит, о его настроениях, опасениях и фактах, которыми он располагал, могла узнать и Цветаева.

Наконец в самом конце мая приходит известие, которого Марина Ивановна со страхом ждала уже целый год: их отъезд назначен на начало второй декады июня, когда из Гавра в Ленинград пойдет советский теплоход. Эзопов язык в письме к Тесковой от 31 мая понятен без специальных расшиф-

<sup>1</sup> Кто твой ближний? — Тот, кто больше других в тебе нуждается (нем.).

ровок: «Дорогая Анна Антоновна! Мы, наверное, тоже скоро уедем в деревню, далекую. и на очень долго. Пока сообщаю только Вам <...>. У меня сейчас много заботы и работы: не хватает ни рук, ни ног, хочется моим деревенским друзьям привезти побольше, а денег в обрез, надо бегать — искать «окказионов» и распродажу и одновременно разбирать тетради — и книги — и письма — и пришивать Муру пуговицы — и каждый день жить, т. е. готовить — и т. д. Но — я, кажется, лучше всего себя чувствую, когда вся напряжена...»

Посреди этих хлопот она выкраивает время для последних встреч с друзьями. С одними ей удастся провести несколько часов вместе, другим она пишет прощальные письма, а с Тесковой прощается в трех письмах подряд. Смогла ли она перед отъездом навестить тяжело больного Ходасевича? Он умер через день после того, как Цветаева покинула Париж.

Из Лондона специально приезжает проститься Саломея Андроникова-Гальперн, неутомимо поддерживавшая Марину Ивановну душевно и материально на протяжении многих лет. При всех опасениях за будущее Гальперн вполне понимает решение своей приятельницы ехать к мужу и дочери. Но находятся и те, кто еще и теперь пытается отговорить.

— Подумайте, Марина Ивановна, — говорит Цветаевой Зинаида Шаховская, — живя за границей, вы можете еще мечтать, что где-то, в России, вам будет хорошо, а приехав туда, и мечтать будет больше не о чем и не на что надеяться. Ну как вы с вашим характером, с вашей непреклонностью можете там ужиться?

— Знайте одно, — отвечала Цветаева, — что и там я буду с преследуемыми, а не с преследователями, с жертвами, а не палачами.

В начале июня Цветаева с сыном — в гостях у Марка Слонима. Их дружба испытана семнадцатилетним сроком: впервые они встретились в Берлине, летом 1922 года, вскоре после приезда Цветаевой из Москвы, подружились в Праге,

часто виделись в Париже. Теперь предстояла разлука и — пожизненная, ни один из них не обольщался на этот счет. «После ужина, — вспоминает Слоним, — мы начали вспоминать Прагу, наши прогулки и как однажды, засидевшись у меня до полуночи, она опоздала на поезд, я повез ее в деревню Вшеноры на таксомоторе по заснеженным зимним дорогам, и она вполголоса читала свои ранние стихи.

Она задумалась и сказала, что все это было на другой планете. Мур слушал со скучающим видом и этот разговор и последовавшее затем чтение М. И. ее последней вещи «Автобус». Я пришел в восторг от словесного блеска этой поэмы и ее чисто цветаевского юмора и не мог прийти в



Двадцатые годы

себя от удивления, что в эти мучительные месяцы у нее хватило и силы и чувства комического, чтобы описать, как

Препонам наперерез  
Автобус скакал, как бес.

М. И. на мой вопрос ответила, что ей сейчас хочется написать как можно больше, ведь неизвестно, что ее ждет в Москве и разрешат ли печататься. Тут зевавший Мур встрепенулся и заявил:

— Что Вы, мама, Вы всегда не верите, все будет отлично. <...>

Мы засиделись допоздна. Услыхав двенадцать ударов на ближней колокольне, М. И. поднялась и сказала с грустной улыбкой:

— Вот и полночь, но автомобиля не надо, тут не Вшеноры, дойдем пешком.

Мур торопил ее, она медлила. На площадке перед моей квартирой мы обнялись. Я от волнения не мог говорить ни слова и безмолвно смотрел, как М. И. с сыном вошли в кабину лифта, как он двинулся и лица их уплыли вниз — навсегда.

С героем «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца» последняя встреча вышла случайной: Родзевич догнал их с Муром на какой-то парижской улице и, подхватив их под руки, пошел посредине.

На следующий день они уезжали. Никто их не провожал — «не позволили», поясняет Цветаева в одном из последних писем. «Едем без проводов: как Мур говорит, *«ni fleurs ni couronnes»*<sup>1</sup> — как собаки — как грустно (и грубо) говорю я». Только близкие друзья знали о часе отъезда и могли проводить уезжавших мысленно. Ехать предстояло

<sup>1</sup> Ни цветов, ни венков (фр.).

вначале поездом до Гавра, дальше — пароходом, который увозил в СССР последние партии испанских беженцев.

«До свидания! — в последний раз писала Цветаева Тесковой в Прагу, сидя уже в вагоне поезда. — Сейчас уже не тяжело, сейчас уже — судьба...»

Как раз в один из тех дней, когда Цветаева с сыном на борту парохода приближалась к берегам Родины, Борис Леонидович Пастернак зашел в «Жургаз», нашел там Ариадну Эфрон и предложил ей немного прогуляться. На улице стоял теплый июнь, они сели на скамейку пустынного бульвара. Разговор, состоявшийся на этой скамейке, надолго врезался в память дочери Цветаевой. Она пересказала его мне в сентябре 1971 года.

Пастернак был в подавленном состоянии и не пытался этого скрыть. Он сказал Ариадне Сергеевне, что только что узнал об аресте Мейерхольтца.

— Как все-таки ужасно, Аля, — сказал он, — прожить целую жизнь и вдруг увидеть, что в твоём доме нет крыши, которая защитила бы тебя от злой стихии...

— Крыша прохудилась, это правда, — отвечала Ариадна Сергеевна убежденно, — но разве не важнее, что фундамент нашего дома крепкий и добротный?..

До ее ареста оставалось два с половиной месяца.

18 июня 1939 года Марина Ивановна Цветаева вернулась в Москву.



## ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора . . . . .	3
<i>Глава первая.</i> Берлин, лето 1922 . . . . .	9
<i>Глава вторая.</i> Чехия, 1923 . . . . .	38
<i>Глава третья.</i> Париж — Вандея, 1926 . . . . .	106
<i>Глава четвертая.</i> Москва — Сен-Жиль — Сьер, 1926 . . . . .	152
<i>Глава пятая.</i> Медон, 1931 . . . . .	190
<i>Глава шестая.</i> Кламар — Ванв, 1934 . . . . .	244
<i>Глава седьмая.</i> Ванв — Париж, 1937—1939 . . . . .	316

Ирма Викторовна Кудрова

ВЕРСТЫ, ДАЛИ...

МАРИНА ЦВЕТАЕВА 1922—1939

Редактор Е. З. Абоева

Художественный редактор А. А. Сафонов

Технические редакторы Г. О. Нефедова и В. А. Преображенская

Корректоры Л. В. Конкина, Л. В. Дорофеева, Л. М. Логунова

ИБ № 5646

Сдано в набор 25 04 90 Подп. в печать 13 02 91 Формат 70×100/32 Бум. офс.  
 № 2 Гарнитура обыкновенная новая Печать офсетная Усл. печ. л. 14,95  
 Усл. кр. отт. 15 28 Уч. изд. л. 14 66 Тираж 100 000 экз. Заказ № 1176  
 Цена 3 р. 80 к. Изд. инд. НА-188

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Министерства печати  
 и массовой информации РСФСР 103012 Москва, проезд Сапунова, 13/15

Книжная фабрика № 1 Министерства печати и массовой информации РСФСР  
 144003, г. Электросталь Московской области, ул. Тевосяна, 25

Зр. 80 к.



«Советская Россия»